Русанов Н.С.

Из моих воспоминаний.

Берлин, 1923

2 экз.

ИМЛ—Библиотека
ЦР
Р 912

№ 4117
194
Р 27

ОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 13

Н. С. РУСАНОВ

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

БИБЛИОТЕКА
ЦК ВКП(б)
ИСТПАРТА

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
1 9 2 3

ΚΤΗΜΑ
ΕΙΣ
ΑΕΙ

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Н. С. РУСАНОВ

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЛЕНИНА

(006
29)

1872
56 С1.

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

БЕРЛИН

1 9 2 3

ЦР
Р912

Н. С. РУСАНОВ

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

КНИГА ПЕРВАЯ

БИБЛИОТЕКА
(ЦКВКП. б)
ИСТПАРТА

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН
1 9 2 3

2-экз

ЦР
Р 912
БИБЛИОТЕКА
Ин-та марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС
1087796

Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes, vorbehalten

Copyright 1923 by Z. J. Grschebin Verlag Berlin

Набор типографии Г. Гольдберга

Печатано у Гемпеля и Ко., общ. огр. отв., Берлин.

2012

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ НА РОДИНЕ

1859—1882

К ЧИТАТЕЛЯМ

«Я — вещь ненавистная», — с этой мыслию Паскаля пишущий эти строки согласен не только умом, но и чувством. Выдвигание своего я на первый план, постановка его в центре всего окружающего, мнение, что именно от нашей личности зависит будто бы столь многое в ходе событий, представляется ему не только логической иллюзией, но и нравственною болезнию нашего чересчур индивидуалистического времени, в атмосфере которого человеку трудно понять, и того труднее почувствовать, что сам по себе он значит очень мало, и что даже так называемые великие люди в конце концов оказывались лишь относительно великими и лишь постольку, поскольку они опирались на людей-братьев и вместе с ними и через них работали на пользу человечества.

И, однако, когда пишешь не общую статью, а свои личные воспоминания, приходится говорить о себе, приходится рассматривать людей и события по отношению к себе и, стало быть, ставить себя по необходимости в центре вспоминаемых вещей. Кто-то вспоминает что было, и этот кто-то — ты. Но это — лишь неизбежная позиция повествователя, который должен при этом только стараться со всею искренностью и правдивостью передать то, что он видел вокруг себя, что делали другие, что делал и чувствовал он сам. Не более того . . .

Какова же позиция автора этих воспоминаний? Без всякой смешной гордости, но и без ложной скромности

он считает себя одним из представителей того поколения русской социалистической и революционной интеллигенции, которое начало свою сознательную жизнь около половины 70-ых годов прошлого века и продолжает существовать и действовать до сих пор, оставаясь верным идеалам личной свободы, общественной справедливости и международной солидарности всех физически и умственно трудящихся.

Люди этой категории приходили к таким идеалам с разных концов горизонта и разными путями, но приходили неизбежно, несмотря на все различие окружавших каждого из них условий. Было, значит, в самом воздухе России что-то, определявшее такое направление интеллигенции. Что касается автора предлагаемых вниманию читателя воспоминаний, его детство и отрочество протекали в сравнительно мало знакомой обстановке провинциального зажиточного купечества. Для более цельной обрисовки в культурном отношении этой среды воспоминания начинаются с двух глав, уже напечатанных автором под псевдонимом Н. Кудрина в «Образовании» за 1909 г. и помещаемых здесь с небольшими изменениями. Эти главы изображают не только «детей», но и «отцов», и даже «дедов». Таким образом можно лучше понять рост бессмертной идеи, проходящей через ряд смертных поколений. И личность повествователя приобретает значение лишь постольку, поскольку является самомалейшей частицей развивающегося, несмотря на все препятствия, сознания великой русской интеллигенции.

В этом первом томе воспоминания доведены до марта 1882 года, т. е. до того момента, когда автор уехал в первый раз за границу, чтобы возвратиться на родину лишь 24 года спустя, во время революции 1905 года, во дни закатывающейся свободы ...

Из воспоминаний сознательно исключено все то, что могло бы касаться чисто интимной жизни повествователя и изображаемых им лиц и не имеет общественного значения.

Автор.

Берлин, 26 марта 1923 г.

I.

Первые впечатления. — Отец.

...Мне очень больно: меня жестоко ущипнул гусак, взбежавший за мной по ступенькам каменной лестницы, и я кричу, стараясь отбиться от стада шипящих и гогочущих чудовищ, которые мне кажутся ужасно большими и страшными. Вот мое первое впечатление. Начало этой детской драмы скрывается по ту сторону сознания: что делало с гусями мое «бессмертное я», прежде чем попасть на лестницу и противопоставить себя внешнему миру, так больно заявлявшему о своей реальности, я решительно не помню. Дразнило ли оно их, или сами гуси решили напасть на меня, чтобы заставить меня своими щипками совершить первый акт философа по Фихте — различить «я» и «не я», — о том не осталось никакого следа в мягкой пока, как воск, душе ребенка...

Во всяком случае, я кричу, стало быть, я существую.

Но кто это я? Где я?

Я — маленький мальчик, лет трех-четырех. Зовут меня «Коля». Так меня зовут почти все большие люди и такие же, как я, маленькие дети. Некоторые большие, — я скоро узнаю, что это «прислуга»: няня, кухарка, горничные, приказчики, — называют меня также иной раз и «Миколай Сергеичем». Но мне это неприятно, и я прошу всех звать меня «Колей»: мне пока очень не хочется быть большим. Но когда другие большие, которых я зову «папой», «мамой»,

«бабушкой», «дядей», «тетей», называют меня Николаем Сергеевичем, я уже прямо в отчаянии. Я знаю, что тогда они мною недовольны, что они сердятся на меня — и при этом, случается, бьют.

Бьют — это, может быть, сказано чересчур сильно. Скорее, делают больно: подерут за волосы, ущипнут за ухо, иногда крепко ударят по щеке. Больнее всех мне делает тот, кого я зову «папой». Порою он делает это так больно, что про него можно сказать: «бьет». Но его останавливает кто-нибудь из больших, близких мне людей, чаще всего бабушка.

Папа бьет меня: ударит меня раза два-три по обеим щекам, по голове, вытянет иной раз палкой, если она случится у него в руках, но розгами меня и он никогда не стегает. Вообще специальной экзекуцией детей с обнажением телес и т. п. никто у нас не занимается. Ни плеток, ни чего-либо подобного нет. «Учат» больше простым рукоприкладством.

Папа бьет меня, но я люблю его. Люблю и боюсь. Боюсь не столько потому, что он бьет меня и делает мне больно, — мои приятели из уличных мальчишек и приказчиков рано и с успехом убеждают меня, что «мальчику» стыдно бояться боли, а еще стыднее плакать от нее, — но потому что я никак не могу в точности сообразить, когда папа будет бить меня, и когда нет. Порою, конечно, и мой детский мозг может разобраться в этом роковом вопросе, но часто, чересчур часто «ученье» обрушивается на меня совсем неожиданно. За что вчера мне папа ничего не сказал, за то я получил сегодня ряд пребольных щелчков. И я глубоко и искренно недоумеваю. Мое недоумение укрепляют и раздражительные вопросы, обращаемые в таких случаях моей бабушкой, матерью отца, к отцу:

— Ну, с чего ты на ребенка-то наскочил? Точно круженый! Велика беда, что он к тебе на колени прыгнул, когда ты не в духе сидел! Разве он знал, что у тебя с приказчиком нелады вышли? А ономеднись сам же мальченку

швычками забил, что не скоро здороваться бросился! Эх, Сережа, Сережа, вспомни, чего сам ты от покойника Митрия Иваныча натерпелся... Сам прибегал ко мне потихоньку: вместе с тобой плакивали...

— Ах, отстаньте, маменька, — резко отвечал отец, но минуту спустя уже брал меня на руки, целовал крепко мои щеки, на которых краснелся еще пятилистный узор его пальцев, и шумно сбегал со мною по большой каменной лестнице на двор, крича «ребятам» поскорее запрягать лошадь в дрожки.

Мы ехали с отцом кататься. Но еще чаще ходили пешком: в противоположность большинству своих рыхлых, сырых собратов по купеческому сословию, мой отец очень любил гулять; и я так скоро втянулся в эти «моционы», — отец не иначе, как этим иностранным словом называл наши прогулки, — что уже лет в пять-шесть уходил с отцом далеко за город и часами бродил с ним по соседним лугам и рощам. Отдыхали мы обыкновенно на возвратном пути за оградой старого и наиболее поэтического городского кладбища — «Троицы-Сергия».

Солнце по большей части в это время уже садилось. И его косые огненные лучи пронизывали купы берез, осин и тополей, играя на изжелта-зеленой плесени полуразвалившихся деревянных крестов, торчавших в разные стороны на могилах обывательской бедноты, и наводя слегка багровые тоны на немногие каменные памятники городской аристократии и купечества. Густая высокая трава, питавшаяся соками целых поколений, бушевала на могилах и среди них. Тонкая спираль повилики посылала свои простые изящные цветы вверх по крестам и стволам деревьев. Мириады комаров и мушек серо-золотыми кучами плавали в солнечных лучах и тянули свой немолчный концерт на высоких-высоких нотах.

Отец любил читать надписи, особенно те, которые казались постарее. Он раздвигал нетерпеливой рукой могучие стебли травы, поднимал нависавшие ветки плакучей березы

и, близко-близко придвинувши лицо к какому-нибудь выветрившемуся камню или почерневшему кресту, — отец был близорук, — разбирал стершиеся буквы, читал и смеялся. Смеялся и я...

Смеялся, пока сам, годам к шести, не выучился читать, потому что тогда чтение могильных надписей превратилось для меня в урок. И отец своими грозными «ну», «а дальше» и более ощутительными симптомами нетерпения бросал в жар и холод молодого Шампольона...

И возненавидел же я эти надгробные иероглифы, которые не особенно искусная рука мастера и неумолимый зуб времени превращали действительно в какие-то ребусы. Деревянно-напыщенный пафос некоторых эпиграфий в стихах вызывал во мне трепет отвращения: я не умел путем разбирать этих превыспренних виршей, и не раз рука отца скандировала размер кладбищенской поэзии на затылке неопытного чтеца. Знай я в то время знаменитое восклицание Лютера, вырвавшееся у него во дни туги на кладбище Вюрцбурга, я сам бы неоднократно исторгнул вопль из груди: —

Завидую, ибо они успокоились!..

Мертвые, мертвые, вы, отставные штабс-капитаны, и вы, почетные потомственные граждане, и вы, купцы всех трех гильдий, — тогда было еще три гильдии, — зачем вы мучите своими эпитафиями живого мальчика?

Но вот осмотр надписей кончен: уж почти ничего не видать меж деревьями. Заря погорела. И скоро темные и тихие летние сумерки надвигаются все больше и больше с востока и захватили своей быстро расширяющейся дугой все небо. У меня словно свалилось что с души. Покойтесь, милые прахи, до радостного утра, и мир духу вашему в обителях горних! Виновник моих дней и моих горестей уже не будет больше, не будет по крайней мере на сегодня, давать мне урок выразительного чтения на могилах. И знаю я, что в эти моменты первого торжественного наступления почи отец становится всего нежнее, совсем нежным со мною на этих традиционных прогулках.

Мы выходим из ограды кладбища и садимся на горном берегу реки. Ее уже почти теперь не видно, а чуть-чуть слышатся удары о камни и щебень нашего высокого берега, да шелест луговой травы на низком противоположном. Зажигались все быстрее и гуще звезды на небе. Зажигались и огоньки в убогих избах слободы. Вдали, влево от нас, красноватые пятна на небе отмечали места, где город, оставленный нами верстах в двух за собой, освещался ярче мерцанием редких фонарей, которые лишь в двух-трех наиболее «аристократических» пунктах, на главной улице, возле губернаторского дома, у входа в общественный сад, сдвигались ближе и робко боролись с густой темнотой, словно смоляной вар заливавшей в безлунные ночи рано засыпающий губернский город Орел.

Сидя на откосе крутого берега, отец декламировал приличествующие положению стихи, например:

Над пенистым Днепром рекой

из «Громобоя» Жуковского, или:

За Волгой, ночью, вкруг огней

из пушкинских «Братьев-Разбойников».

Вообще, декламированье стихов передавалось у нас главами семьи из поколения в поколение и порою, как увидит читатель, превращалось в мучительство и издевательство «активных», если я могу так выразиться, домочадцев над «пассивными». Но при описанной обстановке я страстно любил эти поэтические упражнения отца. Темнота ночи смягчала резкий, нервный, зачастую бешеный характер отца. Она словно опрокидывала стену между взрослым и, в сущности, добрым по природе, но страшно исковерканным условиями воспитания и среды человеком и маленьким мальчиком, естественные порывы которого на каждом шагу тормозились бестолковыми вспышками гнева со стороны отца, воображавшего, что глава семьи должен прежде всего не «распускать» своих домочадцев.

Я тесно прижимался в это время к отцу. И мое детское сердце трепетало от сдерживаемой среди будничных коло-

тушек и окриков потребности любить его, этого то гордого, то прямо жестокого, то внезапно смягчавшегося и ласкового, порою чувствительного властелина моей и всех окружающих судьбы. Отец зажигал папироску и, попыхивая, рассказывал мне, как «батюшка Дмитрий Иванович» посылал его еще подростком в далекую Украину по разным торговым делам.

Мирная, чуждая и потому, может быть, вдвойне очаровательная для меня картина малорусской жизни развертывалась передо мною по мере того, как отец разматывал клубок своих воспоминаний, — отец, когда был в ударе, был замечательным рассказчиком. И я живо представлял себе с его слов тамошних и парубков в смушковых шапках, и дивчат в ярких костюмах; и одинокие хутора у степной балки, утонувшие в вишневых садах; и нестерпимую галду маленьких сельских ярмарок; и величественную степь, растянувшуюся на сотни верст без тени, без малейшего деревца, ранним утром всю дымящуюся от росы, всю гремящую звонкими трелями жаворонков, ночью то там, то сям мигающую дымными звездами чумацких обозов, направлявшихся с солью в «нашу сторону».

Не забывал в своих рассказах отец и эту нашу сторону, нашу родную центральную Великороссию, — наполовину предстепье, наполовину полесье, — которую он всю исколесил в своей молодости простым приказчиком своего грозного бешеного отца, с радостью спасаясь от его тяжелого нрава «в уезде»; «под дорогой» (термины прасольской раз'ездной деятельности, раннею весною обращенной на скупку пеньки, летом — сена, осенью — хлеба, зимой — конопляного масла и т. п.). Эти места были мне, конечно, гораздо знакомее полумифической Малороссии. Но и они выходили поэтичными в изображении моего отца.

Как мне хотелось во время этих рассказов быть на его месте, повсюду раз'езжать одному, лишь в сопровождении мальчишки-приказчика, на тележке или в санях, с неизменной толстой вычерненной кожей, прикрывающей повозку; с не-

изменным «кантырем» или «калантырем» (безменом) в ногах, который столь же служил для взвешивания покупаемой пеньки, льна, шерсти, сколько для защиты от недобрых людей; со старым кремневым, но дальнобойным дробовиком, на 80 шагах «срезавшим» зазевавшуюся крякву...

Отец говорил о прежней веселой, бестолковой жизни дворянства, всего лишь несколько лет перед тем лишившегося крепостных крестьян. А в 40-х и 50-х годах, когда отец проводил все время в торговых раз'ездах, эта жизнь катилась еще широкой, многоводной рекой. Один за другим в рассказах отца выступали передо мною образы то комичных, то ужасавших мое детское воображение помещиков, запарывавших людей до смерти за пережаренную индейку, за разбитую вазу, а под веселую руку, в день своих или жениных именин, даривших по гривне всем крестьянам и крестьянкам, носившим одно имя с господами.

Многое я не понимал из повествований отца своим младенческим умом. Многое мне подсказывало чутье. Уж одно то, что отец разговаривал со мною в эти минуты, как со взрослым, быстро способствовало развитию моего понимания. И как мне хотелось тогда броситься отцу на шею и изо всех сил закричать: «папа! ведь ты милый, ты добрый! отчего же ты не хочешь быть всегда таким?»

Но я знал, что я жестоко поплатился бы за такой порыв. Прежде всего, отец пришел бы в ужас и негодование от оскорбления его родительского величия фамильярным «ты»: он всем домочадцам говорил «ты», но почти от всех требовал «вы». Затем он не допустил бы никакой критики своих действий в устах его семейно-верноподанных. Его бы страшно раздражила, кроме того, мысль, что его могли счесть «добрым». Он старался быть «справедливым, но строгим», и, привыкнув к мысли о законности, о необходимости своей патриархальной власти, с каждым годом превращался все более и более и окончательно превратился в настоящего деспота.

Эту идею безграничного авторитета в семье он и старался, правда не очень последовательно, проводить в жизнь.

Позже я коснусь условий развития отца, и многое об'яснится этим. Пока же я передаю из его мнений то, что я мог хоть с грехом пополам понимать в раннем детстве, и что в полубессознательной форме глубоко проникало в мою душу. Так во время этих живых, интересных рассказов отца о крепостном праве я скоро, лет с семи, начал чувствовать, что отец, питавший сословную неприязнь к дворянам, вовсе однако не основывал этой нелюбви к ним на том, что они владели крепостными. Его раздражало лишь, что они пользовались этим экономическим и политическим преимуществом «безалаберно». Он находил даже, что освобождение крестьян было слишком преждевременно, а, главное — проведено чересчур повсеместно. Он нередко говаривал: «Оставь пока мужика у хороших помещиков, а отбери его у ф и а л о к».

Этим, не без остроумия притянутым сюда словом «фиалка», отец обозначал всех непрактичных праздных людей, которые могут без труда прожить жизнь, не заботясь ни о своем будущем, ни о своих детях. «Разве это люди? Это — цветы, фиалки! Они хорошо пахнут, но и только. Какой кому от них толк?» — развивал, все больше и больше горячась, отец свою теорию ценности людей. Конечно, я плохо понимал суть этой психологии, но, странное дело, всякий раз, когда к отцу приходил какой-нибудь нарядный, изящно одетый господин, «барин», — как титуловала его наша дворня, — я замечал, что от него действительно пахло хорошими духами; и по уходе его отец неизменно повторял, громко хохоча над наивными деловыми предложениями гостя: «фиалка, фиалка...»

— Да, отбери мужиков у фиалок, но оставь их пока у хороших хозяев!.. Вот в прежнее время приедешь, бывало, к настоящему помещику. У крестьян избы крепкие, большие-пребольшие. Отцы, сыновья, внуки, и женатые и неженатые, все вместе живут: барин не пускает делиться...

— Лобаны, папа? — спрашиваю я робко, в сотый раз надеясь услышать давно знакомую, но никогда не надо-

едавшую мне историю о знаменитой мужицкой семье «Лобанов».

— Лобаны, — почти с восхищением подтверждал отец, — отец с матерью еще не старые, а у них двенадцать сынов, двенадцать Лобанов, все как капля воды в отца, с широченным лбом, словно украинские быки. Старшему тридцать лет, младшему — восемнадцать... Настоящие богатыри, первые в косьбе, первые в страде, и в кулачных боях первые, а впереди сам Лобан... Сам помещик все время старался их от рекрутчины избавлять, других посылать. А как наступила крымская кампания, все Лобаны и с отцом пришли на двор к помещику: батюшка-барин, отец родной, отпустите француза воевать, все в ополчение идем!.. Народ сбежался, все дивятся на лобановскую гвардию... У помещика гости были, ура стали кричать. Барин прослезился, снял икону с позлащенной ризой, благословил Лобанов и икону им же отдал: идите, братцы, идите, воды мои! И пошли... Все, кто видел, навзрыд рыдали... Начальник ополченского отряда доложил эстафетой Государю Николаю Павловичу. Об'явлена была высочайшая благодарность помещику, а Лобану-отцу шитый кафтан был прислан.

— А Лобанов, папа, не побили на войне? — спрашиваю я, заранее зная благополучный, столько раз уже слышанный мною конец истории.

— Все целы пришли. И до Севастополя не добрались. Государь Николай Павлович умер, новый император вступил на престол, а там скоро и война кончилась... Да, уж таких Лобанов теперь не найдешь, — вздыхал отец, погружаясь в воспоминания. — А нынче мужики от рук отбились. Каждый бредет в свою сторону. Большими семьями жить не хотят. Отцов не слушаются. Не даром батюшка Дмитрий Иванович говаривал: без отцовской власти дому не держаться... Кто может идти против воли старшего?..

Отец постепенно раздражался, развивая эту тему. Я ужасно не любил, когда разговор заходил о таких материях. Сама речь отца становилась какой-то странной, в

2680

БИБЛИОТЕКА
Ин-та марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС

очень многом непонятной для меня, испещренной то иностранными, то библейскими словами и целыми книжными фразами, — словно он читал какую-то заученную проповедь.

— Сам Бог, сам царь не могут отнять у меня власти над сыном... Не покорствует, — отруби зараженный член семьи. В Сибирь его, в солдаты! — уже гневно и громко кричал кому-то в темноту отец, говоря, что в прежнее время глава семьи имел будто бы право, с разрешения начальства, так расправляться со своими детьми.

Но я уже знал, что после этой вспышки отвлеченного, неизвестно к кому обращенного негодования, отец как-то сразу осекался, на несколько минут смолкал, сначала ожесточенно, а потом все спокойнее и задумчивее затягиваясь папиросой, и, наконец, словно пробуждаясь от кошмарного сна, заговаривал уже почти совсем тихо:

— Но, конечно, по прежним временам, были и лишние строгости... Вот и батюшка Дмитрий Иваныч, — не хочу судить покойника, но могу сказать, что и в тридцать лет я дрожал перед ним, как малый ребенок... Отправляет в уезд, принимаешь бывало от него деньги по счету, и при этом должен стоять вытянувшись у притолки, пока не кончит своих приказов. Так бывало и последнюю чашку выпьешь стоя, а руки трясутся, весь изожжешься... Потом велит сесть, и сам сядет: «Ну, с Господом, Сергей, завтра выезжай чуть свет по Нугорской и ступай, как тебе было сказано... Молись... Целуй руку». Помолюсь с батюшкой, положим по два земных поклона, в пояс ему поклонюсь, руку поцелую, он меня перекрестит, тут только, как выйдешь за дверь, в себя придешь... Долго колотишься, как осиновый лист.

Отец умолкал, снова погруженный в воспоминания и, видимо, страдая от них:

— Да, горяч был покойник... Трудно было мне... Очень трудно... Порою хоть руки накладывай на себя... Только после большого пожара 48-го года, когда весь город почти выгорел, да мы чуть не нищими остались, понял батюшка,

что не ребенок я... На себе я вынес все заботы, все хлопоты... С кредиторами рассчитывался, новые пути находил... вступил в прямые сношения с Ригой, Петербургом, даже в Кенигсберге посредников нашел... Но и после женитьбы моей, до твоего рождения, покойный не давал мне полной воли...

Отец говорил уже упавшим голосом, все грустнее и грустнее. Но вдруг словно встряхивался, словно устыжался своего малодушия и измены своим принципам и почти совсем весело кончал уже на другой лад:

— Да, по строгим временам и люди были строже. Батюшка не желал, вот, как я, допускать в детях разумной свободы... Ведь ты чувствуешь, ты понимаешь, что пользуешься у меня свободой, но свободой разумной? — обращался ко мне отец, нетерпеливо ожидая утвердительного ответа.

Эта ненавистная книжная фраза всегда приводила меня в крайнее волнение — и тогда, когда я не знал, что она означает, и несколько лет спустя, когда мне стал понятен ее истинный смысл, ускользавший от самого отца, взгляды которого представляли удивительную помесь на веру взятых обрывков двух-трех мировоззрений, и который в жизни поступал в сущности так, как подсказывали ему импульсивный характер и воспоминания о жестоком тридцатилетнем тиранстве «покойного батюшки Дмитрия Иваныча.»

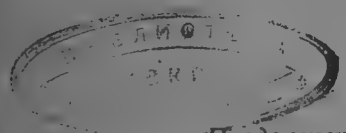
Ибо если эти окрики, эти щелчки, эти подзатыльники, эти пощечины, хотя и шедшие вперемежку с ласками, с нежными словами и прочими нервными проявлениями неуравновешенной любви к своим домочадцам, если все это — «разумная свобода», то что же называть деспотизмом, и что называть «самодурством»? И я помню, какой жаркою злобою я возненавидел «разумную свободу» во всех областях и личной и общественной жизни, как только стал мало-мальски сознательно относиться к окружающему...

Но голос отца, вопрошающего о моем ощущении «разумной свободы», звучит повелительно, и я в семь лет запинаясь отвечаю:

— Да, папа, по-о-онимаю, чу-у-увствую, — чтобы в четырнадцать лет, во время первого резкого столкновения пробудившегося чувства достоинства с беспощадным самодурством, бросить, бледнея от идейной злобы, в присутствии оцепеневшей семьи и прислуги, в лицо отцу:

— Папа, зачем вы говорите постоянно о разумной свободе? Вы — деспот и фразер!..

Звон разбившейся, сброшенной со стола вместе со скатертью посуды, бешеный крик отца, робкий плач матери и рыданья младших детей, и торопливый топот убегавших в разные двери нянек и горничных до сих пор раздаются у меня в ушах. Но я — триумфатор. Меня даже не коснулись на сей раз родительские кулаки. К вечеру, после пароксизма трехчасового гнева, самим отцом, неожидавшим отпора и, видимо, сбитым с толку необычайной резкостью ответа, была вынесена конституция: отныне у меня, пока у меня одного из всей семьи, была уже не «разумная», а простая, настоящая свобода. Я мог ходить к товарищам, мог приглашать их к себе, вообще более или менее свободно располагать своим временем, — вещь неслыханная в нашем большом трехэтажном доме, ворота которого и калитки запирались громадными висячими замками с девяти часов вечера, и где, казалось, повсюду витала грозная тень наблюдающего и с того света за порядком «покойного батюшки Дмитрия Иваныча»...



II.

Продолжение первых впечатлений. — Мои родные: старое и молодое поколение их.

Я, однако, забежал вперед, увлеченный воспоминаниями о первом проблеске свободы, из-за которой—увы!—мне еще и после того придется довольно долго вести упорную борьбу с октроировавшим конституцию семейным самодержцем. Воз-

вращаюсь назад, настолько назад, что буду говорить о своем деде с отцовской стороны. Ибо «Дмитрий Иваныч», как уже видел читатель, играет все время слишком большую роль, если не прямо, то косвенно, в нашем житье-бытье, чтобы я мог молчать о нем.

Я не застал его уже в живых. Он умер за несколько лет до моего рождения. Но его портрет масляными красками висел в крошечной комнатке «мезонина», где жила моя бабушка. Полный, румяный, благообразный мужчина, с правильными, но суровыми чертами лица, большой русой бородой, сердито смотрел с растрескавшегося полотна своими острыми серо-голубыми глазами из-под нависших густых бровей. Когда мы, дети, бывало разыграемся в горнице бабушки, нам стоило только взглянуть в сторону деда, насупившегося на стене, и мы сейчас же с'еживались и затихали. Нас пугал этот грозный человек, который словно и после смерти командовал всем домом.

И грозным он был, — или, точнее сказать, стал, — в действительности, судя по рассказам близких и чужих людей, знавших его. Родился он в начале XIX века в состоятельной торговой семье, которая очень давно переселилась в Орел из Углича, и чуть не с самого основания «гильдий» вносила купеческий капитал. Живой, подвижной, способный ребенок прошел полный незатейливый курс тогдашнего «уездного» училища и задумывал даже перейти в гимназию. (Я не могу теперь припомнить, имелась ли такая по рассказам тогда в Орле, или надо было ехать в какой-нибудь другой губернский город). Его отец решил иначе и женил двадцатилетнего юношу против воли на доброй, но крайне простой и еле грамотной девушке, дочери богатого хлебного торговца Паршина, который сплавлял зерно по реке на своих же барках: тогда Ока в наших местах была и без запруды судоходна во время весеннего половодья.

Дед возненавидел навязанную ему жену чуть не с первых дней. Но вначале, пока были живы старики, он еще

сдерживался. А там с каждым годом его неприязнь стала усиливаться и, жертва отцовского произвола, дед, через десять-пятнадцать лет, превратился сам в жестокого, сумбурного, раздираемого внутренними противоречиями, но тем более беспощадного палача. Чем робче, покорнее, безответнее становилась бабушка, тем бешенее, тем лютее надругался над нею дед.

Натура, повидимому, далеко незаурядная, он мучился своим превосходством над нею и приходил в сугубую ярость именно тогда, когда не встречал с ее стороны никакого отпора. «Дура», «раба», «немая немыка» — не сходило у него с языка. Годам к тридцати пяти этот красивый силач совсем забросил бабушку, как жену, пристрастился к вину, завел любовниц и начал разгульный период бесконечных кутежей и амурных похождений, когда «крали» и попойки составляли его единственный отдых от хлопотливой стяжательной деятельности большого купца. Ибо дед жег, что называется, свечу с обоих концов... Часто после бессонной ночи, проведенной в компании местных актрис и «образованных» приятелей, — он презирал своих товарищей по ремеслу, купцов, и тянулся к «передовым» дворянам, учителям гимназии, «университантам», — дед, едва забывшись двухчасовым тяжелым лихорадочным сном, в пять часов утра уже был на ногах, обходил амбары, конюшни, каретные сараи, трепальные корпуса, заходил в находившуюся рядом с домом мелочную лавку, спускался в подвал, в винный погреб, короче сказать, делал смотр всем своим владениям, повсюду наводя страх на приказчиков, прислугу и домочадцев.

Но еще страшнее для близких были те вечера, когда дед оставался дома «фантазировать». Это слово означало на его своеобразном жаргоне выпить за день четверть водки и, сохраняя вид совершенно трезвого человека, делиться до поздней ночи своими бешено бегущими мыслями и переливами отравленного алкоголем воображения с домашними, требуя

от них лишь присутствия при этих излияниях его непонятой, как он выражался, души.

Всего больше он тиранил ими свою безропотную жену. Позвольте, читатель, восстановить перед вами одну из таких сцен, рассказы о которых, подрастая, я слышал из уст дяди, теток и самого отца.

Дмитрий Иваныч, окончив денные труды, кейфовал с бутылью в беседке густого пышно разросшегося сада, где плодовые деревья мирно и без особого порядка стояли бок о бок со старыми липами, березами и кустами сирени. Вечереет. Из становящихся таинственными сумерек несутся то острые, то пряные запахи липового цвета, недавно политых жирных гряд, душистого гороху, свежих берез. Из-за высокой крыши бани, в которой перед праздниками мылась и парилась вся купеческая семья и дворня, но которая ночью кажется таким причудливым, почти романтическим зданием, сквозь ветви гигантской наклонившейся над ней осины выкатывается яркий круг луны. Весь сад оживляется трепетной игрой голубого света и теней, кроме стороны, обращенной к широкому двору, от которого сад отделяют огромные корпуса двухэтажных «трепален». Здесь пока все темно, и большие деревья кажутся какими-то заснувшими великанами. Но беседка теперь ярко освещена, и в богатырской, сентиментально настроенной груди деда, сидящего за столом, закипает чувство чего-то сладкого, томительно манящего и куда-то досадно исчезающего.

О, ночь неги, ночь любви и страсти... Погодите, «страсть» будет, любезный читатель, но в ином, более простонародном смысле. Она уже началась...

— Лиза, Лизавета, — раздается сильный баритон деда, обращающегося в противоположную сторону беседки, где на кончике скамьи, робко перебирая плети разросшегося хмеля, сидит приглашенная Дмитрием Иванычем для участия в «фантазировании» верная жена, в то время уже мать нескольких детей... Видишь, какая прелесть, какая поэзия! Знаешь, как у Пушкина:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не может воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет. . .

По всему саду разносится голос деда. Разносится и умолкает. И снова тишина. Дед тяжелыми шагами ходит по влажному песку беседки. Бабушка тихо вздыхает, украдкой зевает и торопливо крестится. За забором, на соседской пустоши сиплым лаем заливается собака.

— Что же ничего не скажешь? Не нравится? — допрашивает дед бабушку. — А чувства-то сколько! А?.. Ты только слушай... Я снова:

Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет,
И пышных гетманов сады,
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом. . .

Не знает бабушка, что сказать. Не знает, а главное, не понимает, к чему все это хождение по беседке, это гляденье на луну, это чтение наизусть каких-то «стихов», — добро бы божественных, — и, главное, когда все добрые люди давно спят.

Но она не хочет раздражать мужа, старается угодить ему и, цепляясь за единственное, оставшееся в ее памяти из «фантазий» деда слово «луна», покорно произносит:

— Да уж нонче никак полный месяц.

Дед вдруг перестает ходить и, как-то хрустнув всем телом, разом повертывается в сторону бабушки и на минуту застывает на месте огромной статуей, белея полотняной рубашкой и чернея окладистой бородой, — весь залитый лунным светом, весь охваченный негодованием. На лбу налились жилы, водка и гнев горят в глазах огнем безумия. Губы трясутся.

— Нонче никак полный месяц! — гремит бешеной иронией голос деда, передразнивающего бабушку. — Догадалась? Сообразила? А может новолуние? Может, совсем темно?.. Посмотри хорошенько!.. Я тебе Пушкина декламирую, душу перед тобой раскрываю, читаю стихи об украинской ночи... А ты: «полный месяц»! Что мне луна? Мне душа нужна... Дура, дура Лизавета! Сколько живешь со мной, а все не выдурилась...

Бабушка не знает, чем умилостивить искателя души, но все-таки делает усилия и тихой скороговоркой начинает лепетать первые, приходящие в ее бедную, совсем сбитую с толку голову слова:

— Митрий Иваныч... Простите мне... Ну что с меня взыскивать... Сами сказали: дура я!..

— Нет, ты не только дура, ты — раба! Ты — раба, Лизавета!.. Ну хоть бы раз, единый раз ты мне по человечески ответила! Ну, хоть бы невзначай обмолвилась, спросила: «за что?» За что, мол, меня мучаете?.. А! тебе хочется знать за что? — развивал дед уже новую «фантазию». — А за что ты меня мучаешь? Сколько лет с тобою маюсь, а знаешь ты меня? Понимаешь ты, кто я?.. Я тебя не жалею... А ты меня, Лизавета, пожалела? Полюбопытствовала, что у меня на сердце? Приласкала во время?..

Бабушка не выдерживает и начинает причитать сквозь слезы:

— Головушка моя горькая!.. Митрий Иваныч, уж это вы напрасно... Я ли не жена вам, я ли не стараюсь во всем потрафлять?.. Вы же сами мной и гребуете... По закону христианскому с вами жила, детей растила — выхаживала... Уж лучше сразу убейте...

— Не то что убивать, а и бить-то тебя не хочу, и не бивал, — сама знаешь, — а учить тебя хочу и буду учить... На колена, на колена! — бешено начинал снова дед. — Стой здесь и слушай, а я тебе буду стихи читать...

И покамест не кончу, не смей подыматься... Это из «Полтавы», дура, знай наперед, что это из «Полтавы»!..

Начиналось дикое истязание «словесностью». Полчаса из могучей груди деда, вместе с отравленным водкой дыханьем, вылетает в голубую прохладу сада рифма за рифмой, строфа за строфой. И полчаса, стоя на коленах у скамейки, положив голову на обвитый хмелем край доски и тихо всхлипывая, поневоле вслушивается бабушка в свирепую декламацию разгулявшегося деда. Ломит ей спину. Затекли поддерживающие голову кисти рук, дрожь бежит по ногам, охваченным холодной сыростью росы. И шепчут губы бабушки:

— Мати Пресвятая Богородица, Всех Скорбящих Утешение, помози мне, грешнице!..

Молитва, надо полагать, оказывала свое действие, — правда, гораздо позже, чем о том усиленно просили отекшие колена бабушки. За алкогольным под'емом организма у деда следовала реакция. Ему становилось стыдно. Было жаль жены, а еще жальче себя. И, тяжко опускаясь на скамью, дед склонял свою пылающую голову на стол и горько и смутно задумывался. В груди закипали полупьяные рыдания.

— Вставай, вставай, Лизавета, — почти ласково говорил он. — Прости меня... Ну, да и тебя пусть Бог простит... Да, да, уходи скорее спать... Пусть и тебя простит Бог, пусть простит, пусть прости-и-ит, — уже с новым оттенком раздражения напутствовал дед медленно удалявшуюся по дорожке жену. И снова, но уже устало и машинально, полузасыпая, посылал ей в догонку:

— Дура... раба...

Сеанс «фантазирования» приходил к обычному концу. Густой храп наполнял беседку.

Этот-то страшный, неуравновешенный, но, повторяю, и незаурядный человек, наложил свою железную руку на всю семью. Сам беспутно прожигавший жизнь вне дома, а в доме угощавший от времени до времени своих близких сценами в роде только что описанной, он требовал однако

от домочадцев примерной правильной жизни, соблюдения всех традиций. Все должны были вставать в определенное время, иные вместе с ним, а иные раньше, — часов в пять летом, часом позже зимой, — пить утренний чай, идти по делам, обедать в полдень, пить вечерний чай в четыре, ужинать в восемь и ложиться спать в девять. Сам повидимому скептически относившийся в душе к религии, а в своих попойках с «университантами» говоривший «кощунства», о которых среди купцов ходили ужасные слухи, он однако, когда дело заходило об исполнении церковных обрядностей, был неумолим с семьей и дворней.

Заговины, посты, и розговины; поднимание икон и хождение на «Ердань»; заутрени и всенощные; родительские субботы и двенадцать Евангелий; — вся буква, весь формализм официального православия должны были разыгрываться, как по нотам, в доме сурового владыки, который, однако, когда ему приходил в голову каприз, лично нарушал преспокойно весь этот ритуал.

По теперешней терминологии его можно было бы назвать «сверх-человеком». Он стремился жить во всю и хладнокровно давил все, что становилось ему на дороге. Слабых он презирал и словно пробовал на них, докуда можно безнаказанно простирать издевательства над людьми. Сильных он уважал. В обществе тех, кого считал ровнею себе, он, говорят, был очарователен. Даже внутри самой семьи у него были разные градации чувства и отношений к домочадцам.

Так, из четырех детей, доживших до взрослого возраста, он всегда замечательно ровно и хорошо относился к старшей дочери, которая отличалась удивительной жизнерадостностью и подкупала всех своим до комизма романтическим взглядом на вещи и неистощимым весельем. Она очень любила, но совсем не боялась страшного отца, и не только не принимала трагически, но даже просто в серьез бешеных угроз главы семейства, словно понимая, что кое-что тут нужно отнести и на счет алкогольной риторики,

несомненно входившей видным элементом в потребность «фантазирования». Дед как-то не мог выдерживать своей грозной роли в присутствии взбалмошной, всегда слегка восторженной «Моти» (Матрены) и избегал с ней своих лицедейств то по Домострою, то по Пушкину. Шутя, любимая дочь добивалась для себя, а частью для других, существенных уступок со стороны ревнивого ко власти повелителя. Так, в несколько часов она успела отвоевать у отца позволение ей, 16-тилетней девушке, выйти замуж за богатого, влюбившегося в нее пожилого вдовца, который обещал ей полную свободу и ежегодно несколько поездок в Москву.

За то своего старшего сына, моего отца, дед крепко не взлюбил чуть не с самого дня его рождения и в течение более, чем трех десятков лет, проделывал над ним всевозможные физические и душевные опыты. Почему это так вышло — трудно сказать. Может быть, будучи первым ребенком, отец мой был для него и первым осязательным напоминанием, что он связан на век с нелюбимой женой. Кроме того, дед мой, как я уже сказал, был воплощением мужественной красоты, отец же мой родился слабым, хилым существом, и если впоследствии, благодаря своему трезвому и в общем умеренному образу жизни, выработался в очень выносливого и очень здорового человека, то вид всегда имел тщедушный и, зная это, как-то всегда стеснялся и конфузился перед своим могучим отцом.

Последний злоупотреблял этим. Зная, что отец походил на него живостью ума, энергией, импульсивностью переходов от одного настроения к другому, но физически мало напоминал его, дед видел в моем отце словно каррикатуру, словно неудачное подражание своей рельефной во всех смыслах личности и жестоко преследовал его, — зачастую ни за что, ни про что, — уступая чувству вечной раздраженности на сына. А отец мой на несчастье обожал деда, обожал не только за его, как казалось ему, редкие душевные силы, но и за физическую мощь, за непомерную ширину плеч, даже за ухарские похождения и казнился этим сравнением. Дед

же словно нарочно подчеркивал эту сторону и зло издевался над сыном, и без того сознательно стушевывавшимся перед капризным виновником своих сумрачных дней.

— Ты разве человек, Сережа? — даже в веселые минуты трунил дед над отцом. Ты — цыпленок!.. А грудь- то, грудь... Право птичья...

В гневные минуты было и того хуже. Дед, который не бил собственно никого из домочадцев, а довольствовался тем, что терроризировал их окриками или свирепыми взглядами, по отношению к отцу делал исключение. За простую оплошность, за легкое «упущение по делу», он давал ему жесточайшие затрещины, от которых ребенок, а потом юноша, а потом взрослый человек падал как сноп на землю.

Дед словно боялся даже, чтобы сын не стал его соперником хотя бы в умственном отношении, и ревниво всматривался в быстрое развитие мальчика... Сам дед, я уже сказал, кончил курс в уездном училище, но, несмотря на все желание поступить в гимназию, угодил вместо скамьи среднеучебного заведения под венец. За то он страстно продолжал заниматься грамматикой, арифметикой, историей, географией по учебникам пресловутого Михаила Меморского, а вскоре расширил круг своего самообразования и, благодаря подбору знакомых в тогдашнем образованном кругу, стал очень начитанным и по тогдашнему сведущим человеком.

У деда, кстати сказать, в этом отношении была двойная, резко разграниченная жизнь. С купцами, в практическом обиходе, он был купцом, выл с ними по волчьи на ярмарках, в трактирах, в трепальном заведении, в лавке, возле амбаров и «терезей» (весов), в точности изучив все достойные краснокожего хитрости и уловки тогдашней патриархальной, наполовину плутовской русской торговли. Вне деловых сношений он не любил встречаться с собратами, гордо заявлял во всеуслышание: «я выше этого» и часы отдыха и развлечения, к несчастью все больше и больше переходившего в кутежи, любил проводить в кругу культурных людей.

Он, видимо, кичился своим знанием орфографии и особенно уменьем проставлять, где надо, букву «ять». Тогдашние газеты, «Северную Пчелу», «Сын Отечества», «Русский Инвалид», он читал не иначе, как с большой «Генеральной картой» Европы на столе и упорно доискивался до малейшего местечка, упоминавшегося в газетных новостях. Сочинял даже стихи, хотя в рифмачестве дальше силлабического размера не пошел. И я помню начало его обличительного против собратьев-купцов стихотворения, которое красовалось на первой странице нашей любопытной торгово-семейной книги, в своем роде домашней летописи, заключавшей рядом с аккуратно подведенными за каждый год итогами приходов и расходов, упоминания о важнейших событиях нашей жизни:

Красна весна пришла. И пенiошны торговцы
Взбѣгались взадъ и впередъ, какъ очумѣлы овцы.

За то он читал и знал наизусть много мест из тогдашних поэтов и даже прозаиков. В громадном кованом сундуке, на манер тех, где купцы помещают «божье милосердие», свои шубы и женины салопы, штофные одеяла и допотопные «муаровые» платья, от деда осталась целая библиотека книг, которую отец пополнил лишь очень слегка, — о чем речь будет, впрочем, ниже. Там были Державин и Фонвизин, Карамзин и Жуковский, Хемницер и Крылов, а затем все наши романтики и сочинители исторических романов, Марлинские, Лажечниковы, Загоскины, Полевые; издания Свиньина и Смирдина, и «Сто русских литераторов», и «Иван Выжигин» Булгарина, и «Библиотека для чтения» барона Брамбеуса. Было даже первое издание сочинений Пушкина, понять и полюбить которого было действительной заслугой со стороны моего деда, как никак, а затерянного, несмотря на свои «образованные» знакомства, в русской провинций 30-х и 40-х годов. Но Пушкин был, очевидно, последним и кульминационным пунктом в развитии моего деда. После Пушкина дед не признавал никого, гордился тем, что не читал ни

Лермонтова, ни Гоголя и жестоко ругал их, не прочитав из них ни строчки. Эту курьезную идейную ненависть он внушил к этим писателям и моему отцу, который считал своим долгом почти во всем повиноваться «батюшке Дмитрию Иванычу».

Но как ужасна была эта 30-тилетняя карьера повиновения! Как она измучила, как исковеркала отца! Вообразив, что если его сын робеет и молчит в его присутствии, то это лишь потому, что в душе не признает его власти, исполнен тайного непочитания и критически относится к словам и жестам главы семьи, «батюшка Дмитрий Иваныч» с каким-то веселым злорадством старался обезличить старшего сына, на корню затоптать ростки несомненно живой мысли и свежего чувства. А частые приступы меланхолии у отца, — да и не от чего было предаваться особому веселью — заставляли деда придумывать только более обидные формы измывательства, с целью сломить внутреннее непокорство сына.

Дикая мысль помешать моему отцу, который физически во всем уступал деду, взять реванш в умственном отношении только и могла толкнуть «батюшку Дмитрия Иваныча» на ряд безобразных поступков, больно задевавших уже самое душу живу старшего сына. Так, Дмитрий Иваныч не только не давал сыну даже такого образования, какое получил сам в уездном училище, но взял ему в учителя приходского дьякона, почти с удовольствием видел, что если способный мальчик быстро выучился читать и писать, то по части правописания был очень слаб, а в географии далее первых вызубренных строк учебника «вид земли шарообразный, ибо, став на большой равнине» и т. д., не пошел. Правда, дед очень напирал на то, чтобы сын его тем усерднее занимался арифметикой. Но у него был тут свой умысел: сделать из сына специально торговую машину, каковая, кстати сказать, была очень полезна деду, все больше и больше забрасывавшему из-за кутежей свои дела.

Затем, когда несмотря ни на что, быстро пробуждавшийся ум мальчика потянул его в сторону чтения, и даже

сеансы «фантазирования» превращались для него в своеобразный, хотя и связанный с тяжелыми ощущениями курс литературы, «батюшка Дмитрий Иваныч» и тут постарался наложить свою руку на развитие молодой души. Он в бесподобно резкой форме заявил сыну, что считает его неспособным выбирать себе книги для чтения, а потому будет сам выдавать из сундука вещи, которые считает удопонятными для «цыпленка Сережи». А цыпленку Сереже было в то время около двадцати лет. Мало того. Когда дед заметил, что его «образованные» друзья, встречаясь порой с сыном, стали интересоваться вдумчивым, зачастую грустным юношей, то он увидел в этом чуть ли не нарушение своих отцовских прав и решил почаще посылать сына в уезд, подальше от города, в роли заурядного приказчика. Сын, впрочем, остался скорее доволен этой переменой. Проводя большую часть весны, лета и осени в раз'ездах, вдали от наводившего на него страх отцовского глаза, он понемногу развертывался, крепчал и мужал телом и душой.

В барских имениях, кроме дворян-скопидомов и дворян-«фиалок», — как он называл их позже, — встречались с моим отцом порою и симпатичные и гуманные помещики. В разговорах с ними отцу открывался новый мир. Иной раз ему приходилось присутствовать на спектаклях в крепостных театрах, и эти зрелища производили на него глубокое впечатление. Возвращаясь на зиму под негостеприимный отцовский кров, молодой человек старался возобновлять знакомства с понравившимися ему помещиками, многие из которых на зимний сезон покидали свои «дворянские гнезда» для города. Отец пристрастился потихоньку ходить в театр, начало которому в Орле, если не ошибаюсь, было положено полукрепостной, полу-вольной труппой знаменитого меломана, графа Каменского.

«Батюшка Дмитрий Иваныч», узнав о новом времяпрепровождении сына, сначала пробушевал несколько часов, грозил «непокорному члену семьи» всевозможными страшными карами, но в конце концов решил, что взрослому сыну можно

теперь, пожалуй, и отпустить немного возжи. Отцу моему в то время было под тридцать лет.

Отныне «Сереже» было позволено ходить в театр, правда не больше двух раз в месяц. Порою отец брал его даже с собою на свои попойки, из тех, что были поскромнее. Но сын, пьяневший от одной рюмки, сидел как на угольях под насмешливым взором отца, пропустившего не одну бутылку, и рано собирался домой. Иной раз, среди кутежа в трактире, заканчивавшего выгодную сделку, «батюшка Дмитрий Иваныч» передавал сыну толстую пачку ассигнаций, милостиво шутя над от'езжавшим «наследником»:

— Деньги матери свези, да смотри не потеряй: для тебя стакан Тенерифского не свой брат!..

Однако, это некоторое расширение прав взрослого сына вскоре сопровождалось периодом сугубого мучительства со стороны капризного владыки. Я уже сказал, что дед все больше и больше запускал дела и сваливал теперь почти все на плечи старшего сына, но на каждом шагу врывался в его распоряжения и взял манеру осыпать его самыми оскорбительными ругательствами в присутствии посторонних: покупателей, знакомых, приказчиков, иногда целой улицы соседей, сбегавшихся смотреть на дикую сцену. И бледнея, и краснея, тот, кто через 7—8 лет должен был сделаться моим отцом, лепетал несвязные слова извинения перед все более и более бесновавшимся «батюшкой Дмитрием Иванычем».

Отец крепился, еще усерднее принимался за дело, быстро приобретая у коммерческих людей репутацию «головы малого», но по-прежнему служа мишенью свирепого издевательства «батюшки». Наконец, не выдержал — и в глухую зимнюю ночь, после особенно безобразного бушевания деда, забрался на сенник и всунул голову в прилаженную к балке петлю... На его счастье, не успел он уйти навсегда от «батюшки», его «фантазий» и его «учений», как кто-то из приказчиков пошел давать корм лошадям и, сбрасывая в конюшню через дыру в потолке, над яслями, сено, увидал еще

трепетавшее тело молодого хозяина. Веревка была вмиг срезана. «Цыпленок Сережа» упал на пол, пришел в чувство, стал отбиваться, кричать, как малое дитя, по простонародному: «предайте смерти, предайте, братцы, смерти... моченьки не стало... никому-то не нужна моя бесталанная головушка». Его отходили и ночью, в двенадцать часов, когда дед вдали от дома пировал в веселой компании, принесли «на верх» — не помню хорошо, к кому, — кажется, к одной из сестер...

Отец всю ночь, то громко рыдая, то тихо плача, пролежал головой на коленях сестры, и женские родные слезы падали сверху на его лицо и сливались с его слезами, а женские родные пальцы, искусившиеся в рукодельи, ловко «искали» у него в голове, — старинный русский обычай, к которому у нас часто прибегают и в горе, и в радости... Отец дал обещание, что не будет налагать на себя руки, а лучше уйдет, куда глаза глядят...

Историю эту домочадцы думали было скрыть от деда. Но скандал вышел на весь город: прислуга быстро разнесла весть о случившемся по всему околотку. Дед узнал, был крайне поражен втечение нескольких дней, а затем решил, что сына, которому было теперь за тридцать, пора женить. На сей раз он уже дал ему полную волю: выбирай кого хочешь. Выбор отца пал на маленькую, довольно миловидную, здоровую, румяную, чернобровую, с косой до пят девушку, балованную дочь разорившегося, еще недавно очень богатого подрядчика Пирожкова, умершего потомственным почетным гражданином, и оставившего, кроме властной, богомольной жены, с полдюжины сыновей и дочерей, привыкших к привольной жизни и беззаботно «транжиривших» последние крохи...

Моя мать, — живые рассказы которой о вступлении в новый дом до сих пор припоминаются мне до мельчайших подробностей, — при самом входе в этот своеобразный дантовский ад семейного деспотизма была поражена обстановкой и действующими лицами развернувшейся теперь перед ней

драмы. Она сразу потеряла половину своего веселья, как-то оцепенела и стала быстро прятать одну за другой в глубине своей души все свои черты и особенности, чтобы как-нибудь примениться к этой ужасной семейной обстановке, где только один дед выступал могучей и зловещей фигурой, оставляя на долю других домочадцев роль бледных теней.

Первым впечатлением моей матери было, — говаривала она, — что она попала в «царство Ивана Грозного», о котором много слышала от своих, получивших хорошее по тому времени воспитание, братьев. Она никогда не знала, как кончится день, начинавшийся иной раз очень мирно и даже весело: дело, разумеется, идет о мире и веселье самого повелителя. Из-за самых ничтожных пустяков начиналась вдруг невероятная «баталия».

Мой отец очень любил мою мать и, пока не подросли дети, и не возникла борьба двух поколений, был даже нежен с ней. В противоположность своему отцу, он был примерным мужем. Так что с этой стороны моей матери жаловаться было не на что. Очень ласков был с нею и грозный свекор, сам, видимо, довольный появлением молодого, приветливого, пока еще не вымуштрованного им существа. О забитой свекрови и толковать нечего: она души не чаяла в невестке. Милы с нею были и брат, и сестры мужа. И все же у ней никогда не было сердце на месте. Твердо решившись не подавать со своей стороны никакого повода к семейным распрям и даже усмирять поминутно вспыхивавшие у свекра подозрения в непочтительности семьян, моя мать употребляла чудеса дипломатии, чтобы добиться мира под кровом негостеприимного дома. Но эта постоянная тактика уступок страшно обезличивала ее. Она становилась — нельзя сказать, чтобы прямо лицемерною, — но чересчур легко поступающейся самыми своими дорогими и вполне законными желаниями. Сама того не замечая, она подготовила почву для деспотизма отца и повторения, правда, в гораздо более мягких формах, супружеской трагедии свекра и свекрови.

Лучшей порой существования молодой пары, да и вообще всей как-то оживившейся теперь семьи, были, по воле Немезиды, последние месяцы жизни деда и первые годы после его смерти, — чего уже я почти не захватил, так как родился четвертым, после того, как умерли три старших ребенка у отца и матери. Сначала деда расшиб паралич: более четверти века грандиозных попоек и гремевших на всю округу любовных похождений не могли пройти даром. Однажды, бросившись в безумной ярости на кого-то из провинившихся домочадцев, дед вдруг грохнулся, как огромная, чугунная статуя, на пол и не поднялся. К нему подбежали. Он не двигался. Его подняли, с трудом положили его шестипудовое тело на постель. Он очнулся, но оказался без языка, без глаз и с парализованной левой стороной. Железный организм, однако, не сдался сразу. Возвратился язык. Снова стали двигаться, как прежде, могучие руки и ноги, но зрение уже не вернулось.

Можете себе представить, как страшен и беспомощен был он теперь! Привыкший к деятельной жизни, веселой компании, чтению, гульбе, он страдал теперь невыразимо в темнице своей вечной ночи. Но он становился временами тем опаснее для окружающих. Порою, когда ему начинало чудиться, что над ним семейные смеются, показывают ему язык и т. п., он вдруг после долгого и напряженного прислушивания, бросался, рискуя расшибиться, туда, где ему слышались голоса, и если захватывал кого-нибудь, то начинал неистово трясти его и осыпать ругательствами. Особенно доставалось от него отцу, которого он по старой памяти жестоко бил.

С ужасом рассказывала мать в особенности одну сцену, которая навсегда врезалась ей в сознание. Дед напал на отца за какую-то, как ему казалось, неудачную торговую операцию и по обыкновению сейчас же перешел в ругань, но вдруг внезапно смягчился и попросил отца подойти ближе к нему и повторить громче и подробнее некоторые детали дела. Не успел отец путем приблизиться к его креслу, как

вдруг слепой дед взвился с места, как огромная пружина, схватил отца за плечо, за грудь, за горло и стал наносить ему ужасные удары по чем попало. Отец стонал, молил о пощаде, задыхался. Мать подняла нечеловеческий крик. Сбежалась вся семья, прислуга, но никто не решался подойти к обезумевшему от гнева силачу...

Вдруг издали, через гулкое пространство просторных комнат нашего дома, донесся проворный топот чьих-то ног. И на пороге столовой, где происходила эта дикая сцена, показался, весь запыхавшись, младший сын деда, Александр, физически страшно напоминавший своего могучего отца, кроме разве того, что тот был шатен, а этот блондин, по части же души бывший добрым, легкомысленным, порою вспыльчивым, но всегда симпатичным весельчаком.

Сначала он, видимо, не мог сообразить, в чем дело. И вдруг звонкий юношеский голос прорезал весь этот ад криков, плача, стука передвигаемой мебели, воплей, охов и ахов:

— Довольно мудровать, отец! Я не позволю брата бить! Прочь! Пустите Сережу!..

В то же время бешеный удар кулака, который мог бы, кажется, убить лошадь, ухнул, как в пустую бочку, в богатырскую грудь деда. Тот зашатался и тяжело шлепнулся на старинный кожаный диван, увлекая в своем падении отца... Поднялась невообразимая суматоха. Полумертвого отца еле вытащили из рук деда, у которого в свою очередь временно отшибло сознание. Мать, рыдая, обнимала отца. Дед, придя в себя, начал всхлипывать, как ребенок, приговаривая странным, тонким, не своим голосом:

— Саша, отца-то за что же? За что обидел отца? Э-э-эх, Саша, Сашенька!..

Но Саша еще втечение нескольких минут не походил на обыкновенного, доброго, румяного, веселого Сашу. Он был исполнителем велений судьбы, исполнителем, который хоть на время низвергал его же оружием ненавистное царство «кулачного права», висевшего над злополучной

семьей. Бледный, он твердо сказал своим высоким, звонким голосом в упор хныкавшему отцу:

— Вот что, батюшка, будемте-ка жить с этих пор, как живут добрые люди в семье... Мы не на надругание вам достались... Больше этого не будет, вот как Бог свят!..

Александр повернулся к стоявшему в углу киоту с тремя иконами в золотых ризах и с вечно теплившейся граненой лампадкой из зеленого стекла и набожно перекрестился. Повернулся и вышел...

Древний период истории нашего дома кончался этим жестом. Начинался новый, увы, недолго блиставший своим новшеством.

Дед вскоре умер. Последние месяцы его гнет, впрочем, уже почти не чувствовался. Были еще с его стороны вспышки, были попытки снова терроризировать семью. Но, выражаясь возвышенно, скипетр самодержца выпал из его рук. Первые годы свободы все домочадцы как-то развернулись. Каждый проявлял теперь более или менее свою личность, тогда как прежде всех давил один.

Этот новый период в жизни нашей крошечной семейной ячейки любопытным образом совпадал с новым же периодом в жизни всей земли русской. Даже и там, и здесь грань между двумя периодами особенно резко отмечалась однородным событием: исчезновением представителей старого режима. Великая страна просыпалась после смерти царя Николая Павловича. Схоронив деда, свободнее вздохнула наша оставшаяся семья. Кроме того, струи широкого общественного движения, которое все выше и выше поднималось по всей России, подмывая старые устои, проникали и в наш маленький мирок.

Свежие веяния, конечно, больше всего должны были бы отразиться на тех домочадцах, которые представляли собою идейную силу, и прежде всего на моем отце. Но, к сожалению, этот, действительно, умственный элемент в нашей ячейке был вместе с тем и наиболее искалечен тридцатилетним режимом деспотизма. Целые куски дедовского миро-

воззрения остались в голове отца. А так как, несмотря на все жестокости деда, он питал к нему искреннее уважение, почти обожал его, то как раз наиболее заскорузлые идеи старика окружались для моего отца каким-то особым ореолом неприкосновенности: в крайнем случае их можно было смягчать, об'яснять в более примирительном с новыми идеями смысле, но отвергать их было нельзя, по глубокому убеждению оставшегося главы семьи.

Любопытно, что все то, что прежде не запрещалось прямо дедом, допускалось теперь моим отцом крайне охотно, как бы «либерально» ни было по существу. Поэтому здесь выходили курьезы, которые для непосвященного могли казаться верхом непоследовательности. Так отец сохранил забавную антипатию к Лермонтову и Гоголю, которых не признавал дозировавший чтение своего сына дед. С другой стороны, дед ничего не слышал или не считал нужным упоминать о Герцене, не мог, конечно, знать еще совсем неизвестного в его время Чернышевского. И вот отец, ничто же сумняся, сделался усердным чтецом и поклонником Искандера, — как он во вкусе той эпохи называл великого публициста — издателя «Полярной Звезды» и «Колокола». Не менее усердно он читал статьи по крестьянскому вопросу Чернышевского.

Этих двух писателей ему указал его старый приятель, первой гильдии санкт-петербургский купец Григорий Афанасьевич Богданов, бывший коммерческим агентом для центральной России старой английской фирмы «Альфред Вишау и Ко.» Он же снабжал отца во время его деловых поездок в столицу столь характерными желто-коричневыми томами «Полярной Звезды» — и зеленоватыми «Современника». Первые в особенности возбуждали мое детское любопытство, когда я еще не умел читать, а ограничивался тем, что подолгу всматривался в знаменитую виньетку с пятью словно отрубленными профилями голов великих мучеников 14-го декабря. Эти книги и клались особо, не в известный уже читателю громадный сундук, оставшийся после деда, — куда

отец положил теперь несколько лет «Искры», несколько лет «Современника», стихотворения Розенгейма и т. п. недавние приобретения, — а на нижнюю, завешенную зеленой тафтой полку об'емистой, наполненной старинною посудой «горки». А когда читались, то отец или кто-нибудь другой из взрослых членов семьи высылал прислугу из комнат, порою даже меня, так что мне эти желтоватые с отрубленными головами томы казались чем-то грозным и таинственным.

Легко представить себе, какой сумбур царил в голове моего отца на рубеже 50-х и 60-х годов, когда он наиболее увлекался «новыми» идеями, но в то же время не имел духу отрешиться от многих, казавшихся ему священными, традиционных взглядов, перешедших по наследству от школившего его втечение тридцатипяти лет отца. Отсюда его странные воззрения на «разумную свободу» детей, т. е. в сущности пустые фразы о свободе, опровергаемые каждую минуту окриками и колотушками. Отсюда же и его недовольство резкой и повсеместной отменой крепостного права и сожаление о громадных мужицких семьях, так нравившихся ему сквозь призму патриархальных идей деда.

Впрочем, «либералом», хотя и сумбурным, я отца уже не мог знать. Ибо впервые эти хитрые разговоры о «разумной свободе», о «помещиках-фиалках» и о «правах отца» я стал мало-мальски понимать лишь в половине 60-х годов, когда отец проделал общую с громадным большинством русских «культурных» людей эволюции в сторону катковщины и муравьевского патриотизма. И в нашей сравнительно мирной провинции много говорилось, напр., о поляках-поджигателях еще года два-три после подавления восстания. Им приписывались лета два сподряд пожары в слободе Монастырской, где начальство поселило с десяток легко замешанных повстанцев. Я сам содрогался, когда моя няня, со слов неистово вравших возвратившихся с «польской войны» солдат, рассказывала, будто поляки выпускали кишки русским

пленным и, гоняя их вокруг деревьев, заставляли их «выматывать свои же черева» на ствол...

А когда прогремел каракозовский выстрел, причинивший много горя мне, бедному 7-летнему мальчику, — читатель узнает позже, каким странным рикошетом, — отец во многом стал напоминать деда, правда, встречая довольно сильный отпор со стороны некоторых членов семьи. Тут, однако, уже сказывалась не столько общая реакция, сколько эволюция самого отца, который долгие годы сжимался, как стальная пружина, под гнетом страшного дедовского деспотизма, а, выпрямившись с его устранением, в свою очередь больно нажал на других по линии наименьшего сопротивления.

Увы! в этом довольно быстром превращении отца из наковальни в молот значительная доля вины падала на мать, которая, как я уже сказал, своей податливостью и желанием избежать самомалейшего столкновения со своим мужем, сама давала повод моему отцу все больше и больше видеть в своих желаниях, зачастую простых капризах, чуть не священные заповеди. Мать моя настолько стушевалась и настолько быстро обесцвечивала свою привлекательную натуру, что как сильно я ни любил ее в свое время, но вот никоим образом не могу припомнить ни одной яркой сцены, где бы она явилась моему воображению с чертами действенного материнства, охраняющею первые шаги своих детей. Отец неизменно закрывает ее в моих воспоминаниях своей ярко выраженной личностью. Помню я казавшееся мне очень красивым лицо матери, ее добрые глаза, ее приятный голос, ее косу чуть не до полу, которой я опутывал свои детские пальцы, когда она одевалась, и тихонько целовал. Помню ее ласки, поцелуи, песни, которые певала она мне, ее интересные поветствования о деде, которые она рассказывала, впрочем, пугливо озираясь по сторонам. Но не помню ни одного обстоятельства, где бы с ее фигурой у меня было связано какое-нибудь глубокое, врезавшееся в память действие. Несколько раз она пыталась, правда, отстоять нас от все легче и легче раздражавшегося отца.

Но при первом же нетерпеливом жесте его так быстро уходила в свою скорлупу податливой кротости, что все время оставляла нас, детей, под прямыми ударами отца, — выражаясь и буквально, и переносно.

Иначе вела себя бабушка, мать отца, которая из забитой, оглупленной дедом женщины довольно быстро превратилась после его смерти в деятельную, хлопотливую, добродушную брюзгу, скрывавшую под напускной угрюмостью золотое сердце. Она часто и с успехом останавливала безумные порывы отца, умело напоминая ему о том тяжелом общем «кресте», который ей приходилось нести с сыном в страшные дни господства «Митрия Иваныча». Для нас, детей, она была лучшей защитой от вспышек и капризов своего сына, восполняя то, чего не доставало в нашей матери.

Была у нас и другая бабушка, мать нашей матери, собственно не злая, но строгая старуха, важной гостьей появлявшаяся на нашем горизонте с «божественным» разговором на устах, вечными четками в руках и окончившая жизнь в монастыре.

Было еще несколько братьев и сестер родительской четы с обеих сторон, наших дядей и теток. Наибольшую роль в нашей жизни играли две сестры отца и уже знакомый читателю младший брат отца, Саша. Старшая сестра была та самая веселая, романтическая «Мотя», которая рано вышла замуж за пожилого вдовца, обещавшего быть ей «отцом». Он сдержал свое обещание, любуясь бескорыстно своей высокой, стройной, сероглазой, темнорусой красавицей-женой и снисходительно смотря на ее довольно многочисленные сердечные истории, в которых большую роль играло местное офицерство с «самим» полковником во главе.

Бесконечно добрая, восторженная до седых волос, она рано овдовела, скоро отцвела, сохранив, однако, черты прежней красоты и, будучи бездетной, переселилась жить к нам в нижний этаж, окружив себя реликвиями прошлого: альбомами с «Демоном» Лермонтова и другими стихотворе-

ниями, переписанными рукой ее поклонников; дагерротипами особенно близких из них; прядью волос, присланных ей одним смертельно раненым при штурме Карса в 1855 г. капитаном; ленточками и бантиками; резными из слоновой кости ящичками; крошечными книжечками в красивых переплетах, в роде изящного издания Беранже в переводе Курочкина, и т. п.

По старой памяти она умела успокаивать отца, как успокаивала деда, своими чувствительными обращениями, трагическим всплескиванием рук и громкими ахами: «Ах, Сереженька, да что это с вами? Не могу видеть своего брата в таком азарте. Сереженька, милый мой, успокойтесь... Ведь так и батюшка не кричал... Сереженька, с вашим-то умом и сердцем... Ай-ай-ай». И «Сереженька», досадливо махнув рукой, в виду полной невозможности остановить этот поток реторических, но от всей души идущих, восклицаний, фигур удивления и умолчания, уходил из комнаты, прекращая наказание жертв его капризного гнева. А так как этими жертвами были мы, дети, то мы ужасно любили нашу восторженную, романтическую тетечку.

Находили мы приют и у другой тетки, небольшой, подвижной, смуглой, как цыганка, «тети-Кати», которая вышла замуж за мелкого торговца, жила недалеко от нас и энергично управляла своим добродушным, беззаботным, остроумным супругом, побаивавшимся своей жены и вознаграждавшим себя в обществе плясом, прибаутками и легкой выпивкой...

Но когда отец ходил совсем тучей, и мы каждую минуту могли ждать самой свирепой бури, у нас оставался последний оплот: дядя Саша, к которому отец, особенно после ужасной сцены с дедом, питал большую нежность. Инстинктивно он перенес на него с деда восхищение физической силой. Дядя Саша в то время, как я стал его помнить, был рослым, уже начинавшим быстро полнеть холостым мужчиной лет тридцати, любил хорошо пожить и не особенно прилежал торговым делам. Он довольно флегматически носил свою ве-

ликую силушку, редко раздражался, хотя, когда его выводили из терпения, становился страшен. Охотно читал переводные романы, лежа на своей кровати в соседней с сестрой Мотей комнате, нехотя ходил в город по делам, но охотно ездил по гостям и в театр, весело напевал песни и насвистывал арии, удачно ухаживал за дамами, изредка же ощущал потребность кутнуть. Но в жизни его были два-три случая, когда этот кутеж принимал гигантские размеры в соответствии с его могучим организмом.

Так как до сих пор я чересчур часто рисовал читателю мрачные картины из жизни нашей семьи, то я позволю себе закончить эту главу трагикомическим, забавно кончившимся эпизодом из дядиной жизни. Дело было в половине 60-х годов, когда отец и дядя жили еще «не разделенными», как выражаются в купеческом быту. В качестве главы семьи и руководителя торговыми операциями отец отпустил своего младшего брата на Нижегородскую ярмарку с поручением «собрать деньги» по векселям и с усиленной просьбой опасаться воров, дурных знакомств и... цыганок из «развеселого Кунавина», как пелось в популярных тогда куплетах о ярмарке:

Купцу песенку цыганка пропоет, —
Он ей тотчас депозитную дает...

Дядя Саша уехал, напутствуемый благословениями всей семьи, сто раз перекрещенный и в лоб, и в богатырскую грудь старушкою матерью, сестрами и даже отцом, и дав клятвенное обещание возвратиться к своим именинам, на Александра Невского. Но именины пришлось отпраздновать без него. Тогда железной дороги от Москвы до Орла еще не было. Приходилось ехать на почтовых, и запоздания были делом обычным...

Но прошли три сентябрьских больших праздника, Рождество Богородицы, Воздвиженье, Иоанн Богослов, а Саши нет как нет. С погожими днями о Покрове, когда в воздухе носились последние нити паутины, в богоспасаемый град Орел вернулись и последние гуляки. Кинулись расспрашивать

их: не видали ли Александра Дмитрича? Ответ привел в ужас нашу семью: дядю не видали на ярмарке с самого Успения...

Прошел еще месяц. Грустно справили именины знакомых Михайлов, и начались «Филипповки». На Введенье в этот год стал санный путь, и домочадцы мучительно думали о бедном «Сашеньке», отправившемся в легком летнем пальто и изящных штиблетах. Полетели от отца телеграммы и письма к знакомым купцам в Тулу, Белев, Москву: ради Бога, не слышали ли чего о брате? Никто не мог сказать ничего верного. Ходили слухи, что встретился какой-то дальний родственник одного из вопрошаемых с Александром в Царицыне. Но с какой стати очутиться ему так далеко в стороне от пути на родину?

Пришли Саввы с мостом и Варвары с гвоздем, и Никола Мирликийский, которого, несмотря на обилие именинников среди родных и знакомых, проводили с великой тугой и унынием в сердце. Семья отчаялась: убили злые недруги Сашу-богатыря. Ни полицейские розыски, ни поездка отца в Москву, взявшая у него на разведки больше двух недель, не пролили бальзама в исстрадавшееся сердце домочадцев: нет как нет желанного. В трех этажах дома, — в «мезонине» у бабушки, у отца с матерью во втором этаже, у сестры Моти в нижнем, — и на кухне, и по двору раздавались рыдания...

Наступил сочельник. Бабушка постила до «вечерней звезды». Отец с матерью и мы, трое детей в возрасте от 7 до 3 лет, уныло сидели в полдень за пустыми щами в нашей осиротелой столовой. Вдруг, несмотря на строгий приказ отца никого не допускать по делу в обеденное время, дверь в коридор тихонько приотворилась, и в щель просунулась вся черная от сажи и копоти, столь знакомая нам, рука кухарки «Гарафены», выразительно помавая грязным же перстом.

Взбешеный нарушением запрета, отец громко закричал:

— По делу? Гони, гони к черту!..

— Никак невозможно, Сергей Дмитрич, — был тревожный ответ, — там вас человек по очень важному секрету желает видеть...

Отца и мать разом что-то подняло со стульев, и они бросились вниз по холодной лестнице в кухню, за ними стоявшая в коридоре прислуга, няньки и горничныя, за прислугой мы...

В старинной, с закопченными сводами кухне уже много столпилось народу: приказчики, посторонние мужики, приехавшие «сливать» конопляное масло, какой-то весь запушенный снегом незнакомый возница. А возле стола, повернувшись к нам прямо лицом, стояло и тяжело пыхтело какое-то огромное, странное существо, как будто не мужчина, но и не совсем женщина, в изорванной меховой душегрейке, из под которой торчала тоже какая-то женская грязная-прегрязная кофта, в широких шароварах, в полуразвалившихся, кое-как стянутых бичевкой валенках. На голове и лице громадной чалмой была наверчена огненно-красная тряпка, повидимому, изорванная юбка... Перед нами была не то турчанка, не то самоедка... Но, — о ужас! — под еле-еле видным из-за тряпок носом странной дикарки торчала щетина плохо оттаявших усов...

Огромное, странное существо вдруг грохнулось перед отцом на колена и завопило:

— Сережа, брат, прости, прости злодея!..

Минута молчания... Вдруг отец зарыдал и бросился поднимать усатую турчанку:

— Бог тебя простит, Саша...

. . . . . .

Через два часа размотанный и накормленный, сходивший в баню, отмытый, и свеже выбритый, «дядя Саша» сидел в кабинете и со слезами раскаяния, нанося себе чудовищные удары в молодецкую грудь и теребя красивые усы, вел скорбный рассказ, — «исповедывался брату как на духу», — о том, как цыганки и нижегородские гурии иных националь-

ностей зло надругались над его доверчивым сердцем, «путались» с ним по всей Волге, лишили его всех денег, векселей, документов, а также перстня, запонок, золотых часов с цепочкой — и наградили его лишь тем, в чем видел его в кухне отец...

А «Сережа» любовно утешал блудного брата и от времени до времени смахивал слезу с своего худощавого, жесткого, гладко-выбритого лица.

— Какой папа нынче милый, — умилялся я, — зарывшись низко-низко в широкий диван кабинета, откуда наблюдал происходившее. — А какие злые цыганки... Да и сильные же: даже дядю Сашу забили...

. . . . . .

Никогда еще не было у нас такого веселого Рождества Христова...

III

Купеческая среда. — Дворня и двор.

Этими первыми впечатлениями об отце и ближайших родственниках не исчерпывалась, конечно, та среда, которая разными путями проникала в мое сознание и вместе с унаследованным от предков организмом создавала мое я, — то, что называется «я». Но меня интересует здесь не столько то, что воздействовало на меня лично, чем я отличался от других, сколько то, чему я был подвержен вместе с другими своими родственниками и знакомыми, в чем выражалось влияние общих условий.

Таких, как я, было много в том городе, где я родился и жил, и, конечно, много повсюду. Мою ближайшую обстановку составляла купеческая среда, в то время сохранившая еще много старинного, патриархального, варварского, может быть, даже более варварского, чем изображали хотя бы замоскворецкие драмы Островского, но с некоторых сторон

уже подвергшаяся влиянию новых, проникавших в нее понятий.

С того самого времени, как я начинаю помнить себя, я был окружен такими же, как наша, купеческими семьями, родственными, а то и просто знакомыми, и целой уймой кормившихся около нас клиентов: мещан, тоже порою из родственников, приказчиков моего отца и работавших на него прасолов; толпами прислуги. Рабочий класс был представлен трепачами и прядильщиками (пеньки и пакли). Первые даже принимали невольное, но живое участие в нашей жизни, стукая с раннего утра до поздней ночи своими треплами в находившихся тут же на нашем обширном дворе огромных двухэтажных, сначала деревянных, а потом, после пожара, каменных трепальных сараях.

То было сытое, как будто расчетливое и все же в общем безалаберно ведшееся хозяйство. Отец мой принадлежал к старшей, но сравнительно захудалой ветви Русановых, и никогда не хотел «вносить капитала по первой гильдии». Младшая же, пошедшая в гору ветвь, получила еще при Николае I потомственное почетное гражданство, была представлена сначала Елецким городским головою и крупным писчебумажным фабрикантом (Русановская бумага пользовалась известностью в центральной России), а затем его сыном, обучавшимся в московском пансионе, раз'езжавшим по заграницам, построившим в компании с Самуилом Поляковым Орловско-Елецкую железную дорогу и закончившим свою карьеру в роли директора Орловского коммерческого банка. Так как одно время младшая ветвь обуревалась честолюбивым желанием попасть в дворянство — мечталось даже о графском достоинстве, ибо у строителя дороги была серьезная поддержка при дворе в лице министра финансов Рейтерна, благоволившего железнодорожным дельцам, — то стараниями отечественных специалистов по гербоведению было даже составлено некое родословное древо, из которого явствовало, что шесть (?) поколений тому назад Русановы, по тому времени будто бы уже знатные люди, участвовали в угличском

бунте 1591 года и приняли сторону убиенного царевича Димитрия, за что Годунов их наказал, разжаловал и сослал в Орел.

Моя бабушка по отцу, связавшая свою судьбу со старшей ветвью Русановых, скептически относилась к этому аристократическому мифотворчеству младшей ветви и любила говорить, покачивая своей седой в черном повойнике головой: «А, да какое там знатные люди! Просто кузнецы: и до сих пор в Угличе много кузнецов Русановых... Выдрали их и выслали сюда: знамо дело, не бунтуй, тебя не спрашивают, так и сиди...»

В торжественных случаях отец и мать приглашались младшей ветвью на обеды с коммерческой и административной знатью, и мои родители, обладавшие уменьем наблюдать и не без юмора передавать виденное, картинно описывали, как на длинном-предлинном столе всю середину занимал какой-нибудь замечательный осетр пудов этак от двенадцати, а вокруг сего Левиафана трудились, запивая его шампанским, кроме самого радушного хозяина и его жены, бонтонной дамы из богатой белевской семьи Сорокиных, компаньон моего родственника по строительству Орловско-Елецкой железной дороги, Самуил Соломонович Поляков; тогдашний местный Гарун-аль-Рашид, губернатор Николай Васильевич Левашов, дослужившийся после до чина помощника шефа жандармов; местный же архиерей (владыко Орловский и Севский) Макарий; и заезжавший порою в Орел граф Рейтерн. Этот союз крупного христианского капитала с крупным еврейским капиталом при просвещенном содействии представителя царской администрации и с благословения иерархов православной церкви был довольно типичным для дней моего детства, которое не знало еще еврейского вопроса, так как у нас в Орле в то время евреев было очень мало, и они принадлежали почти все к категории крупных представителей немецких и английских фирм, начавших наезжать в Орел из столицы в конце 60-х и начале 70-х годов.

Но если через младшую ветвь Русановых наша семья соприкасалась с верхами коммерческого мира, то обыкновенный круг наших знакомых составляли такие же средние купеческие семьи, а в некотором почтительном отдалении родственники из мещан, слившиеся с людьми, которые непосредственно зависели от отца и кормились различными делами и делишками, входившими в сферу торгового притяжения нашего дома.

Казалось бы, довольно разнообразная коллекция лиц! Но в ней особенно интересных индивидуальностей было мало, и вся она делилась на несколько групп, соединенных поразительно общими чертами. Большинство средних купеческих семей состояло из скопления людей разного пола и возраста, связанных между собою почти исключительно интересами хозяйства и питания да некоторыми старинными традициями, которые к тому времени были уже отчасти попорчены просочившимся «новым духом».

Тон каждой такой семье задавал ее глава, по большей части мужчина, но порою и женщина. От характера этого главы зависел и весь склад семейной жизни. Там, где темперамент и прочие личные свойства главы создавали атмосферу добродушия, и всей семье жилось легче; но там, где самодур-отец или «злыдня»-мать держали в капризных руках бразды правления, вся жизнь домочадцев была одним сплошным мучением. Богатство или бедность не играли сравнительно большой роли в культурном обиходе этих семей. Люди лишь слаще ели и больше пили, катались на рысаках, а не тряслись на клячах, задавали пиры, а не ограничивались скромными вечеринками, жили в просторных домах, а не ютились в домиках, одевали себя и детей в соболя и лисицы, а не прикрывались барашком и зайцем. Но и те и другие были очень мало культурны. Сыновья в лучшем случае кончали курс в гимназии, а когда завелись реальные училища, то в этих заведениях. Дальше «по ученой части» их не пускали, а брали из училища и помещали за прилавок или определяли приказчиками на покупку хлеба, пеньки, конопл-

ляного масла. Большая часть еле-еле добиралась до четвертого класса, или кончала уездные училища. Наука пошла в гору лишь с половины 70-х годов, когда новый устав о всеобщей воинской повинности дал большие льготы по образованию (первое время полагался всего год службы для окончивших гимназию при пятилетнем, если не ошибаюсь, общем сроке). Многие получали частное образование сначала у дьякона, затем для усовершенствования у семинариста (гимназисты считались дорогими и брались лишь по нужде в репетиторы).

Из купеческих же дочерей разве одна на сто поступала в гимназию: «образованною хочет быть», «в дворянки лезет», — негодовало женское общественное мнение почтенной коммерческой среды. Остальные обучались кое-как или дома, или у ближней «мастерицы» — по большей части дьяконицы, — и в самом исключительном случае поступали для шлифовки на два-три года в какой-нибудь частный «пансион». Так назывались небольшие школки под руководством благородных старых девиц и дам, почему-то всего чаще вдовполковниц, или немок, бывших экономок, неизменно обучавших начаткам довольно странного языка, носившего у них название французского — «же-ву-зан-при, перметте-муа, донк дежа ассе», — и более или менее ритмическому стучанью на «фортопьянах» до «Молитвы девы» и до «Что-ж он не приходит, мой неверный друг» включительно.

Пробелы образования пополнялись чтением. И купеческие сыны и дочери любили почитать, но что-нибудь эффектное, потрясающее сонную душу, что могло бы выбить их из обычной колеи монотонной и в то же время бестолковой, сытой и полупраздной жизни. В годы моего детства и отрочества старые отечественные писатели романтической школы, Марлинские, Лажечниковы, Загоскины, отступили на задний план перед нашествием иноплеменников, преимущественно французов. Дюма-отец читался, однако, тоже уже только старшим поколением. А мои сверстники и сверстницы зачитывались уголовными романами Габорио и переживали с за-

миранием сердца все воплощения «Рокамболя» и «Воскресшего Рокамболя», которому лишь кой у кого из наиболее передовых составляли конкуренцию туземные герои «Петербургских тайн» Всеволода Крестовского: все эти Рамзи, графы Каллаши, и князья Шадурские, и княгиня-проститутка Чуха.

Купеческое молодое поколение попроще, под влиянием приказчиков и горничных из «образованных» (служивших у дворян или выходивших из духовной и мелкой чиновничьей среды), усердно читало рыцарские романы, эти странные литературные перекати-поле, Бог знает где впервые выросшие, перенесенные на русскую почву и здесь акклиматизировавшиеся в чудовищных переводах и переделках. Совсем ребенком среди окружавших меня читателей постарше и я отдал дань этому направлению и годами помнил наиболее примечательные места в прозе и стихах из «Гуака» и «Францыля Венециана». Чего стоило хотя бы одно заглавие: «Гуак, или непреоборимая верность. Рыцарская повесть». Ах, как хороши и интересны были и сам Гуак, и его возлюбленная Велеума, вечно лиющая слезы, и верный друг Гуака Великосил, и даже злая фея Зевеса, воспылавшая преступной страстию к самому герою романа и заставляющая своих прислужниц — нимф — пением соблазнять добродетельного юношу, силясь обратить внимание его на «неувядающие прелести» Зевесы:

От любви она страдает,
Огнь в очах ее пылает. . .
Князь Флоридский, не стыдись,
И любить ее решись!

А что уж говорить о добродетельном волшебнике Жеонго, посылающем с неба на помощь своему другу копье его доблестного предшественника, несравненного Вирстона, с энергичной надписью, — теперь бы непременно сказали «директивой»:

Геройство с мужеством, Гуак, соединяй,
Вирстоновым копьем стрельцов сих поражай!

А любовное свидание героя и героини «Франциля Венециана»: «И сев под древом широковетвистым, они стали со великою приятностью трактовать о материях разных»... — «Советуется, значит, насчет материй, какую выбрать получше возлюбленной-то», — вставит бывало пояснительный комментарий к этому трудному месту какая-нибудь «образованная» горничная.

Вообще прислуга, мужская и женская, приказчики (их занятия по тому наивному времени еще не были раздифференцированы, и от конторки служитель Меркурия несся выбивать хозяйскую перину), сидельцы, кучера, мальчики на побегушках, кухарки, горничные, швеи, няньки-старухи и подняньки-девченки, — вся эта чересчур многочисленная даже в самых бедных семьях толпа домашней челяди наполняла купеческий дом, двор и сад, вставала ни свет ни заря, и в то же время зачастую не находила работы, довольно сносно ела, но как попало и на чем попало спала, сшибалась лбами и б е г а л а, непременно б е г а л а, повсюду, переплетаясь между собою во всевозможных степенях родства и свойства, любила и ненавидела, сходилась и расходилась, дружила и ревновала, приживала детей и Бог знает куда «сплавляла» их, — словом, составляла обычную, можно сказать ближайшую интимную и педагогическую среду купеческих детей.

Какова была эта среда, читатель увидит из одной-двух сцен. Надо сказать, наиболее интересная часть нашей детской жизни проходила на кухне, которая помещалась у нас, как и у других в нижнем этаже, где устраивались обыкновенно в разных клетушках и приказчики, и горничныя, а порою и няни с нами, малолетними, тогда как на верху, в роде как бы главные боги Олимпа, царили в просторных комнатах отец и мать и уже подросшие члены семьи.

Итак, действие происходит в кухне, — большой закопченной комнате со сводами и с полатями, прилаженными возле огромной печи, — за старым-престарым громоздким дубовым столом, носившим следы многолетнего скобления,

так как никаких скатертей для «людей» не полагалось, а грязь смывалась мочалкой и сдиралась косарем. На скамьях у стен и, напротив, на скамейках без спинок усаживалось за этим столом, — старейшим, молчаливым, но внимательным членом сводной семьи нашей прислуги, — десяток мужчин и женщин, которые составляли особую корпорацию, русановскую дворню, и подобно всякой корпорации подвергали каждого нового члена различным испытаниям, по большей части одним и тем же, не терявшим однако от этого своей привлекательности для старых членов.

На сей раз об'ектом испытаний является 18-летняя, изрядно курносая, краснощекая, толстая девушка из глухой деревни, которая желает поступить помощницей старшей горничной и берется поэтому моей матерью пока «на пробу», на несколько дней. Родня и благожелатели девицы уже предупреждали ее, что у русановской прислуги (как и у всякой другой) принято проделывать над вновь поступающими всякого рода фокусы, ставить их в смешное положение и т. п. «Держи ухо востро, не поддавайся на обман, а главное, что бы тебе ни говорили, — сделай мол то-то и то-то, — не соглашайся ни на что, кроме того, что тебе полагается по твоему делу. Лучше всего не слушай их: в одну минуту одурачат»...

Поэтому девица старается ни на кого не глядеть, не принимает никакого участия в разговоре, а, уставившись глазами в большую общую миску с жирными щами, медленно, но усердно, наравне с другими опускает туда свою ложку, для чистоты все время держа под нею большой кусок черного хлеба, и сосредоточенно ест. Испытующие, — и главные актеры, и хор, — все на лицо. Между ними все заранее условлено. Всякий знает, что ему делать в предстоящей «камеди».

На почетном месте, в углу под иконами, сидит старший приказчик, который за 25 рублей серебром в месяц, — по тому времени хорошие деньги в провинции, — надзирает за всем хозяйством, прохаживается по трепальным корпусам,

конюшням и каретным сараям, задает работу младшим приказчикам, ездит в случае надобности в уезд для скупки разных произведений тогдашней нехитрой сельской промышленности, но по большей части находится при отце в городе. Это — 45-летний, могучий, чернобородый с легкой проседью мужчина, второй кулачный боец во всем Орле, держащий в страхе свою жену и уже подростающих сыновей, человек старого закала и понятий, но, увы, питающий преступную — вполне разделенную — страсть к старшей кухарке и потому старающийся вести себя в присутствии других с дамой своего сердца очень церемонно и даже говорящий ей порою на вы. Но эта связь освящена давностью, все знают о ней, и никто не осмеливается охотиться во владениях почтенного Семена Васильевича, который, если и принимает участие в забавах молодежи, то всегда с большой степенностью и с сознанием своего авторитета. Это как бы старейшина нашей своеобразной кухонной задруги.

Рядом с ним и сама его избранница, необыкновенно бойкая, живая, 40-летняя с крошечным носиком и огромными скулами кухарка, которая, наоборот, делает все, что только может, чтобы все знали об ее отношениях к Семену. Она держит в своих руках всю прислугу, не только женскую, но и мужскую, и держит не только в силу своей близости к степенному старейшине, но и благодаря необыкновенно быстро повертывающемуся в ее зубатых челюстях и поразительно язвительному языку. Когда она разойдется, ей нет удержу, и запас ругательств, вплоть до самых крепких, так оригинален, неистощим и убийствен у этой солдатской замужней вдовы, муж которой исчез где-то бесследно во время усмирения польского мятежа 1863 года, что все, бывало, трепещут, когда Аграфена Ивановна, в просторечии «Гарафена», а в минуты кухонных восстаний «язва Грушка», принимается разделывать под орех и под олифу внутреннего или внешнего врага.

Тут же сидит и второй приказчик, «умственный человек», Иван Николаевич Галкин, который, несмотря на свои 30 лет,

переиспытал всевозможные ремесла, исколесил всю Россию, перечитал (по складам!) невероятную уйму книг и потому выражался в экстренные минуты существования совершенно по образованному, то есть чрезвычайно возвышенно, но и совсем непонятно, а в обычное время был веселым, добрым малым, песельником и рассказчиком, побеждавшим с непостижимой быстротой сердца всех наших и чужих горничных, но за то исполнявшим за своих подруг все тяжелые работы с большой охотой и уменьем.

Труппу актеров в предстоящем спектакле дополняют: сиделец при нашей мелочной лавке, 20-летний шустрый парень из разорившейся купеческой семьи, обманывающий всех и вся, начиная от хозяина и кончая покупателями, у которых он «на ходу подрезывает подметки», и предпочитающий горничным «настоящих барышен», то есть профессиональных жриц в храмах орловской Венеры; разухабистый, но феноменально глупый молодчик кучер, который чуть было не попал в люди, благодаря щедротам своей старой помещицы, купившей ему пролетку и пару лошадей, но который испортил свою карьеру лихача невероятным пьянством; мрачный, но остроумный «подвальный», мужик лет 40, которого мой отец радикально вылечил от пьянства, приставив его к нашему водочному складу («столько раз опивался, что уж и надоело») и который наизусть выучил шута-Балакирева и прочих остроумцев и юмористов и рассказывал самые забавные анекдоты с невозмутимою флегмою.

А актрисами были: сантиментальная, но хитрая-прехитрая любимая горничная моей матери Оля, худощавая, некрасивая, одевавшаяся со вкусом «московская штучка», скакавшая мелким горошком по всем этажам купеческого дома и выбиравшая поклонников между «господами»; другая горничная, добродушная хохотунья Саша из соседней мещанской семьи, каким-то чудом, несмотря на 19 лет, сохранившая детскую чистоту в этой наивно развратной среде и хотя участвовавшая во всевозможных развлечениях и проделках над своими товарищами по кухне, но первая же при-

нимавшаяся реветь над жертвою забавы, если последняя заходила слишком далеко.

Античный хор был представлен несколькими безличными «молодцами» и «девченками», к которым в дни испытания новичков охотно присоединялись два-три трепача, на минуту отрывавшихся от работы и ныне стоявших у двери, не без любопытства взирая, что то на сей раз придумают у Русановых на кухне.

Зрителями бывали по большей части я с сестрой и братом в возрасте 5—8 лет и один-два таких же малыша из родственников. Занавес поднят. Трагикомедия начинается и разыгрывается, как по нотам.

— Да, деревенский народ не то, что наш брат, городской... Ишь, щечки-то, прямо как пионы-с цветут... Как бишь вас зовут, милая?.. Анюта, кажись? — обращается с самой изысканной галантностью к сидящей с ним рядом девушке плутоватый сиделец.

Девица молчит и только улыбается. Она исполняет в точности советы родных и доброжелателей: «ни в какие там разговоры не пускайся, знай себе сиди да молчи, словно тебя дело и не касается»... Но ей интересно, что такие вежливые кавалеры и девицы интересуются ею.

— И не говори, Петруша, — из нашей новой можно трех таких, как Оленька, выколоть... Небось, пудов пять весит, — дает реплику веселый Иван Николаевич.

— Какие это нонче у тебя пудовики-то тяжелые завелись, Иван Николаевич, — в свою очередь разыгрывает свою роль Петруша, — эдакими будешь весить, скоро хозяина в трубу пустишь... А я так полагаю, что Анюта целых шесть вытянет, — подмигивает сиделец, и его рука непринужденно-энергично прогуливается по пышному бюсту соседки.

Анюта аккуратно отодвигается, стягивает потуже платок на груди, но, решившись претерпеть до конца, продолжает степенно есть и старается не вмешиваться в начинающий, однако, интересовать ее спор.

— Ну, уж и шесть... Что-ж ее в балагане по твоему показывать? Не чудо-юдо она какая, а только девица в соку... Больше пяти не будет, вот и сказ — не без запальчивости актерствует Иван Николаевич.

Сиделец. — А я говорю шесть.

Иван. — Пять!

Сиделец. — Шесть!

Иван. — Хочешь на паре (пари)?

Сиделец. — Идет! На полдюжину пива... И все будем пить, и Анюте достанется.

Анюта крайне польщена тем, что весь стол занят ее весом, но не показывает виду, и только усиленно дует на ложку с пылающими щами.

— По рукам!.. Кто разнимет?.. Разнимай ты для верности, Семен Васильевич... Ты у нас человек сурьезный.

Два спорящих подскакивают к старшему. Чуть-чуть улыбаясь в бороду, настоятель своей дворни важно разнимает руки.

— Только как же нам это дело-то обделать? Без самой Анюты нельзя: на глаз в точности не прикинешь.

Окончательно заинтригованная, девица забывает всякую осторожность и вдруг выпаливает, прерывая продолжительное молчание.

— И совсем не шесть, и не пять, а всего четыре пуда с половиной!.. Этим Успеньем у тятеньки вешалась.

— Да не может быть! Ни в жисть! Знаем, какие мужицкие весы-то... Опять же то было летом: заработалась, похудела, а теперь, по осени-то, ишь какая стала: словно на опаре поднялась.

Перебивая друг друга, немилосердно пощипывая девицу, так что бедняжка все время вскрикивает, оба бьющихся о заклад убеждают Анюту дать себя взвесить на больших терезях (весах), под навесом, у входа в трепальный сарай.

Девица почти соглашается.

— Никак невозможно! — раздается глухой бас подвального, — хозяин тебе такие терези покажет, что и деться

куда не узнаешь; для чего, мол, вам весы-то понадобились? Что это, солонину, что ли, вешают? Свежее мясо, христианское!

Кухня разражается дружным хохотом.

— Как же нам теперь быть?

— Смотрю я на вас, господа мужчины, и только диву даюсь. Говорят, наша сестра глупа! Да вы глупее всякой бабы. На кой ляд вам Анюту на двор тащить к терезям? Коли на то пошло, здесь же в кухне на кантыре (безмене) взвесим, — вступается в разговор кухарка Гарафена.

— Как на кантыре? — недоумевает, прикидываясь, мужская половина кухни.

— А очень просто! Привяжем кантырь к полатям да и взвесим.

— Что-же Анюта и всамделе что-ли солонина? — мрачно гудит подвальный. — Ведь в ее крюка не всодишь.

Кухня снова заливается.

— А как весили вчера сено? Посадим в пехтерь (большая с широкими петлями веревочная сеть, в которой носят сено, солому и т. п. вещи), — завяжем, да и к крюку!

— Что-ж, Анюточка, полезешь в пехтерь? Ведь уж оченно антересно знать, паре-то большое.

Девица приходит в героическое настроение, чувствуя, что становится предметом всеобщего внимания и даже значительного спора между такими образованными городскими кавалерами и дамами. Теперь она хохочет во все горло вместе со всеми, показывая свои белые отчищенные черным хлебом зубы и закатывая от восторга глаза.

— Сичас, только вот щи доем.

— Верно. И то дело. Кончим сначала, братцы, обед, — авторитетно заявляет старший. — Груш, тащи кашу.

Огромный горшок с жирно уснащенной кашей, запиваемой квасом, скоро с'еден до дна. Все наскоро крестятся и кучей сбиваются среди кухни.

— Мишутка, тащи из конюшни новый кантырь! Да и пехтерь не забудь! — кричат с разных сторон кучеренку,

подростку лет 15-ти, который является рабом всей кухни и безропотно исполняет поручения.

Через несколько минут большой медный безмен привязывается веревкой к огромному крюку в полатях. К одному концу безмена привешивается широко растянутый пехтерь, словно рыболовная сеть падающий своими широкими петлями на подставленную скамью.

— Ну, Анютушка, с Господом! — три пары дюжих мужских рук хватают девицу, которая не то искренно, не то согласно правилам кухонной вежливости, отчаянно визжит, и всаживают ее в пехтерь.

— Завязывай пехтерь, подтягивай выше... Долой скамью!

Словно огромная рыба, «новая» повисает, вся опутанная пехтерем, в пространстве на высоте двух аршин над грязным полом кухни.

Забава начинается.

— Поправь платье, Анюта! Ишь, сбилось! Неспособно.

Дюжие руки принимаются поправлять платье, то есть бесцеремонно тянут кверху юбку девицы и усиленно трясут пехтерь... Голые ноги проскальзывают в петли...

Только теперь, обнаженная снизу по пояс, жертва начинает понимать, какую штуку сыграла над ней разгулявшаяся дворня. Ей больно, ей страшно стыдно, до смерти обидно на свою глупость, на всех этих мужчин и женщин, которые так издеваются над ней, заглушая хохотом ее протесты, и она принимается горько рыдать.

Но дворня пришла в азарт.

— Ну, Николаша, смотри на стержень-то, сколько пудов показывает.

— Пяти нет... Оба-два проиграли, одна Анютка выиграла...

— Да не реви, дура, — раздается громкий голос кухарки, — чего нюни-то распустила! Ишь беда какая, что добрые люди малость подшутили.

— Кому-кому плакать, Анюта, да только не вам, — утешает Иван Николаевич. — Это пускай Олечка, глядя на

вас, плачет: до вас ей ни дородством, ни белизной не дойти... Вы у нас прямо крупитчатая-с...

— Смотри, мельник, не замарайся этой мукой, — гудит подвальный при общем хохоте кухни.

— Снимай девку! Буде, позабавились, и по делам пора! — безапелляционно решает старший.

Безмен спускают, пехтерь развязывают.

Анюта забилась в дальний уголок кухни, закрыла лицо руками и навзрыд рыдает.

Импульсивная Саша бежит к ней, охватывает ее шею руками и начинает тоже всхлипывать:

— Милочка, Анюточка, анделочек ты мой!.. Не плачь, родненькая, плюнь на них, на озорников. Они завсегда такие, они ни одному новому человеку спуску не дадут. Они меня в прошлом году, черти, в пехтере, вот как тебя, свешали. Уж без этого не обойдешься. И у всякой прислуги в нашем городе почитай то же самое. Ужас как мне хотелось тебе сказать, стра-а-асть как, да нельзя: против порядку заведенного не пойдешь... Теперь ты уж наша... Сама будешь новеньких вешать... На, возьми пряничек!..

И Саша сует в рот плачущей только что вытащенный из кармана грязный, залежавшийся медовый пряник.

Пять пар детских глаз смотрят на эту сцену, которая с некоторыми вариациями повторялась столько раз в нашей кухне при появлении новой прислуги и, смею уверить читателя, отнюдь не принадлежала к самым реалистическим лицедействам русановской дворни.

Бывали вещи и покрепче, в которых мы, дети, участвовали зрителями, а я несколькими годами попозже и актером, — в качестве старшего и любимого всей дворнею за «простоту» представителя юного поколения хозяев... Я не помню того времени, когда бы не знал, что такое «мужчина» и что такое «женщина», и на что они были нужны друг другу в этой среде грубого, наивного, откровенного, почти животного общения полов. И когда верхний этаж, мои отец и мать, бабушка, дядя и тетка, приходившие к

нам взрослые родственники и знакомые говорили что-либо сентенциозно в нашем присутствии о «маленьком Ване», или «маленькой Наде», только что найденных повивальной бабушкой на грядке в саду и принесенных моим родителям или кому-нибудь из знакомых, то мы, малолетние, но сметливые ученики нижнего этажа, едва-едва удерживались от смеха и только просили поскорее показать «братчика» или «сестричку».

В семь лет я выучился у приказчиков курить, ухарски вертел «цыгарку», насыпая ее махоркой. А когда один из моих наставников сделал мне для табаку кисет из бычачьего пузыря, восторгам моим не было конца. Позже, когда мне было уже девять лет, в день, в который трепачи «ломали» (устанавливали) цену на трепанье пеньки с моим отцом и после договора начинали тут же у нас в саду огромную попойку, кто-то из них поднес мне толстый пузырчатый стаканчик с зеленоватой вонючей водкой, — дело было задолго до Виттевской монополии — и заставил выпить до дна:

— Пей, Миколушка, не гребуй рабочим человеком: от чистого сердца дается...

Я геройски выдержал это демократическое испытание, поскорее закусив большим, круто посоленным куском черного хлеба со свежим огурцом, но через несколько минут первого в жизни опьянения, когда весь сад с кутившими трепачами вдруг стал таким маленьким и завертелся кругом меня, упал на траву и очнулся лишь вечером на сеновале, куда меня бережно снесли трепацкие руки, «чтобы тятенька не видели».

Меня долго тошнило от первых стаканчиков, как от первых цыгарок. Но я считал долгом поддерживать репутацию «простоты», — «етот наш, етот не ябедник!» — и годами «идейно» курил и тянул с нижним этажом и со двором всякую дрянь.

О, не смейтесь, читатель, я с 13—14-ти лет считал себя «социалистом» и «революционером»! И эта идея спасала меня, спасала нас, людей моей обстановки, от того, чтобы

не пойти по следам старшего поколения, которое проводило молодые годы в кутежах, а старые в издевательстве над младшим.

Как пришла она, эта идея? Дух веет, куда хочет. Новое мировоззрение, мировоззрение мысли и труда, проникало тогда и в сытую, мало культурную купеческую среду, единственным — отрицательным — достоинством которой было то, что ее грязь не была грязью тонкой извращенности, а той густой реальной грязью, о какой писал Чернышевский в «Что делать?», изображая юность Веры Павловны.

В Орле эта идея появилась в самом начале 70-х годов во образе студентов, бывших гимназистов и семинаристов, которые приезжали на каникулы из столиц, становились центрами быстро плодившихся кружков, куда входила по большей части молодежь из провинциальных средних школ, но также и всякого рода разночинцы: телеграфисты, железнодорожные служащие, «управские» и «судейские». Железные дороги, земства, новые суды были, кроме школы, главными артериями, по которым в тогдашней России разносился яд свободомыслия.

IV.

Гимназия. — Столкновение двух мировоззрений.

А почва была странным образом подготовлена к восприятию этой заразы, и все шло на пользу новым идеям. Вспоминаю историю своего поступления в гимназию и некоторых предшествовавших многозначительных для меня событий. Когда годам к шести я почти один, хотя и вдохновляемый подзатыльниками отца, выучился читать, сначала, как полагается, по складам, и проявил, как показалось моим родным, большие способности чтеца, на семейном совете было решено «пустить меня по ученой части», отдав в гимназию. Быть гимназистом — эта мысль мне очень улыба-

лась, и я с наслаждением прислушивался к разговорам моих старших о том, как я в мундирчике буду ходить в белый многооконный дом, помещавшийся рядом с думой, куда отец ездил сначала «магистратом», а потом по новому городскому положению — гласным... И вдруг какой-нибудь год спустя в наш город пришло известие, что «в Государя поляки стреляли».

Семилетний мальчик широко раскрывал глаза и настораживал уши, приглядываясь и прислушиваясь к тому, что делалось вокруг него. А вокруг него в эти дни происходило что-то торжественное и жуткое. Меня родные засадили читать газеты: «Сын Отечества» Старчевского и «Воскресный Досуг» Зотова, слушали, охали и выкрикивали: «Каракозов» (конечно, не русский!) «Общество Ада» (и название-то какое злодеи придумали!) «Комиссаров-Костромской» (а! простой человек Государя спас!) и т. д. Отец выкатил из винного погреба бочку водки, которую тут же распили наши рабочие и прохожие. Вечером был приказ от начальства устроить «лиминацию». Сальные плошки горели и трещали на славу. Один из моих родственников вывесил на нашем балконе транспарант с большим вензелем из переплетенных А (Александр) и М (Мария). А мать даже пожертвовала моими красными люстриновыми шароварами, сделав из них большой круглый фонарь и тем подвергнув тяжкому испытанию мой юный патриотизм: целый день я участвовал вместе со взрослыми в верноподданнических восторгах, бегал за толпой и кричал ура вместе с подвыпившими трепачами и дворней; но когда я увидал вечером перекроенные в огненный шар панталончики привязанными к проволоке и прихотливо танцующими на свежем весеннем ветерке, сердце мое сжалось, и, как я ни крепился, но горько заплакал...

Несколько недель спустя судьба готовила мне испытание еще построже и, умей семилетний мальчик выражаться возвышеннее, он сказал бы, что стал жертвой патриотической реакции, первой пережитой им реакции. Не подозревая, я

сам произносил себе приговор, когда читал вслух по приказанию отца знаменитый рескрипт Александра II князю Гагарину, возвещавший волю монарха проводить неуклонно в жизнь охранительные начала и требовавший, чтобы родители сами преследовали тлетворный дух в семье и школе и помогали видам правительства.

Я смутно понимал содержание читанного. Помню только, что с этого дня начались у нас среди взрослых домочадцев горячие споры, в которых гагаринский рескрипт играл большую роль. Отец твердо решил теперь не отдавать меня в гимназию, этот «рассадник зла», против чего вяло возражали мать и дядя, но очень энергично моя любимая тетя «Мотя». До поступления в гимназию оставалось еще года два-три. Но надо было или начинать меня готовить к ней, или приучать меня к торговому делу. Долгие месяцы продолжалась эта борьба за мою судьбу, пока не восторжествовала наука в лице тети. Я мучительно переживал все эпизоды этой семейной распри, и в детском мозгу создался даже соответственный легендарный образ: я не знал путем, что такое князь Гагарин, но он у меня отожествлялся с некой страшной птицей-гагарой, которая уносила бедного мальчика далеко-далеко от гимназии и сажала его на необитаемый, или, точнее выражаясь, на обитаемый лишь кущами и прасолами остров...

Я собственно не знаю, почему мне так хотелось в гимназию. Так называемым вундеркиндом я никогда не был и никакой особой гениальности не проявлял, хотя мои уличные приятели и дворня принимались меня уверять порою, что я, несмотря на свои детские годы, самый ученый на Второй Курской улице. Знаю только, что к девяти годам я прочитал все, что имелось у отца и у знакомых и прославился двумя великими деяниями. Во первых, я написал стихотворение-поэму в дико романтическом духе о некоем доблестном рыцаре, который после ряда подвигов погиб —

Убитый сотнею мечей
В руках жестоких палачей, —

за что отец подарил мне гривну, — десять копеек ассигнациями, три серебром, — поощряя на дальнейшую литературную деятельность. Во вторых, вдохновившись чтением какой-то популярной астрономии, кажется «Библии природы» Бэнера, я дерзновенным куском мела, улучив время, изобразил на черных бархатных обоях нашей парадной гостиной «солнечную систему». Особенно хорошо вышла у меня фигура Сатурна с его кольцами, которым я придал форму таких огромных ушей, что, несмотря на энергичные старания отца, мои собственные уши, очутившись во властных родительских руках, далеко не достигли этих планетарных размеров. Два-три дня подряд, пока вся дворня совокупными силами стирала со стен большими кусками мякиша от белого хлеба результаты моего идеального полета в небесное пространство, юный астроном не раз приводился на место преступления и здесь подвергался «для памяти» основательной трепке. За то слава моя, как «ух какого способного мальченки», окончательно укрепилась на кухне и у соседей и удесятиренным эхо вернулась в нашу семью.

Как же можно было отказать в гимназии такому ученому звездочету? И вот, после нескольких месяцев подготовления у ближнего семинариста-богослова и двух-трех недель окончательной шлифовки под руководством великовозрастного гимназиста, я с успехом выдержал вступительный экзамен и был принят, хотя мне не хватало еще двух месяцев до десяти лет, в первый класс.

Дело было летом 1869 года. Тогда доламывалась еще головинская полуклассическая гимназия с одним латинским языком, но с «естествознанием» и рисованием, и подготовлялась толстовская с двумя древними языками и уже без всякого естествознания, как подрывающего веру в Бога и любовь к царь-отечеству. Окончательным классиком я сделался лишь два года спустя, в 1871 г., при переходе из второго класса в третий. И, хоть малыши, мы сразу почувствовали разницу...

Отживавшая гимназия носила еще на себе некоторые следы 60-х годов и своеобразного, хотя уже сильно полинявшего либерализма. Кроме двух-трех природных злецов, учителя еще довольно добродушно относились к нам, шутили с нами во время класса, а по окончании уроков — их тогда больше четырех, а всего чаще трех, никогда не бывало, — мирно отправлялись во свояси и не брезговали разговаривать с учениками, если приходилось идти по дороге. Выходя из дверей гимназии, они превращались в обывателей, которым было очень мало дела до того, какова была наша домашняя жизнь.

И уроки порою были занимательны. Наш естественник Вараксевич, из поляков, когда-то совсем красный, теперь изрядно порозовевший, маленький, рыженький, живой, с бачками, которые он нервно потрепывал одной рукой, между тем как другая быстро водила тростью по разным «царствам природы», сопровождал это показывание таблиц интересными об'яснениями, и мы с удовольствием слушали его, хотя промеж себя и называли «мартышкой». Учитель русского, хохол*) Ильченко, заставлял нас в классе много читать вслух, много упражнял в диктовке, а на дом задавал понемногу, но постоянно, басни Крылова, стихотворения Пушкина, Лермонтова, Майкова и Некрасова. Грамматика выучивалась больше практически, и писать все мы умели недурно. Преподаватель латинского, высокий болезненный человек, — я забыл его фамилию, — был строг, но справедлив (мы так говорили о нем со слов старших), и если требовал от нас знания склонений по краткому учебнику Кюнера, то любил читать с нами короткие параграфы из римской истории Квинта Курция и басни Федра.

Как быстро изменились все эти люди, — а кто не мог измениться, тот ушел, — когда была произведена «реформа»

*) Читатель, конечно, понимает, что я употребляю это выражение для краткости и в духе тогдашней эпохи, отнюдь не думая отрицательно относиться к имеющему в моих глазах характер аксиомы праву каждой нации, в том числе и украинской, на самоопределение.

графа Дмитрия Толстого, и на 20 лет в школе водворился ужасный формальный классицизм, который стоил слез и даже жизней подраставшему поколению, но который, вопреки ожиданиям начальства, окончательно оглуплял лишь совсем неспособных, но подготовлял дух протеста среди мало-мальски живых учеников!..

Я уже говорил, что новые порядки были введены в год моего перехода в третий класс. Их введению предшествовали зловещие слухи, и в семьях велись тревожные разговоры на тему о том, что-то будет теперь. Потому что оно, конечно, искоренять крамольный дух из гимназии было, по мнению родителей, не дурно, но только не путем всяких строгостей и вгоняния детей в чахотку. А к этому повидимому серьезно готовились педагоги новой школы.

Каникулы 1871 года были сокращены. Уже с 1-го августа мы должны были предстать перед грозные очи реформированного начальства. Тогда директором нашей гимназии был хохол Гриценко (отец Митрофана Гриценкова, который несколько лет спустя был привлечен к большому процессу и очень плохо вел себя на следствии). В начале 60-х годов Гриценко либеральничал и в качестве учителя истории и географии рекомендовал своим ученикам чтение Грановского и Шлоссера. После выстрела Каракозова он сразу осел, выхлопотал у начальства позволение переменить свою украинскую фамилию Гриценко на истинно-русскую Гриценков, но продолжал оставаться добродушным, немножко педантичным карьеристом. Ученики даже любили его, потому что в сущности он был добрым человеком и стоял за них на учительских совещаниях.

Но посмотрели бы вы теперь на него, когда он стал в позу громовержца и смешно-грозным присвистывающим голосом (он говорил со свистом) принялся за получасовую речь на тему о классицизме и еще больше о видах высших властей. «Предначертания правительства»... «Оздоровление школы»... «Не одно образование, а и воспитание»... «Благовоспитанные юноши с готовностью и радостью исполняют

все предначертания начальства»... «Великая классическая культура»... «Примеры Греции и Рима»... «Лучшая гимнастика ума»... «Умственная и нравственная зрелость»... «Немедленное исключение за нежелание подчиниться гимназическим правилам», — гремел и свистел наш директор, то величественно поглаживая свои расчищенные бакены, то таинственно показывая указательным перстом вдаль и немножко вверх, где по его топографии должна была помещаться высшая власть, то сближая руки и внезапно бросая их вперед для наглядного изображения, как будет поступлено с непокорными...

Катилины двух первых классов ровно ничего не поняли в этой цицероновской речи. Мы, третьеклассники, поняли ровно настолько, чтобы повесить носы при перечислении всех этих новых строгостей. Ученики высших классов, кончавшие курс по старым правилам, перешептывались и только посмеивались.

До сих пор мы, учащиеся, равно как и швейцары и прочие служители гимназии, — почти все отставные солдаты, — называли директора в просторечьи и между собой «дедушкой». Отныне ему была дана нами новая кличка и даже две клички: «Юпитер» и «Зевес». Серебряное царство Сатурна, действительно, кончилось. Начинался железный век. И все учителя и даже надзиратели занялись моральным равнением по этому фронту. Все подтянулись и все приналегли на учеников.

Кончились сравнительно счастливые дни, когда, придя в гимназию к девяти часам, мы редко уходили позже 1 часу. Увеличение числа часов латинского, введение греческого и тому подобные реформы создали пяти-шести часовой рабочий гимназический день, в течение которого педагоги гораздо меньше об'ясняли нам что-нибудь, чем спрашивали, и потому задавали нам на дом несметное число уроков, еще часа на два-три, а то и на четыре. Канули в прошлое прежние веселые летние каникулы, когда мы ровно ничего не делали и отдыхали от годовых занятий. Теперь нам да-

вались каникулярные работы, словно нарочно состоявшие из самых неинтересных и явно тенденциозных упражнений, например, изучение огромной и бесталанной книги английского попа Кейта, посвященной «истинности христианской религии». Мы мстили нашим мучителям тем, что составляли особые кружки из трех-четырех лучших учеников по каждому предмету и списывали («сдирали», «скатывали») результаты их работ.

Так как начальство предначертало не только образование, но и воспитание, то из учителей же были выбраны так называемые классные наставники, которые являлись господами и шпионами целого класса и имели право не только наблюдать за учениками во время гимназии, но и являться к ним на дом и совать нос всюду, вплоть до семейных отношений. Случалось, что два классных наставника повздорят между собою, и тогда каждый вымещал свою вражду на целом классе, находившемся под началом его врага, ставя всем ученикам этого класса плохие отметки по своему предмету.

А отметкам стало придаваться теперь огромное значение. И деление предметов на главные и второстепенные, причем по главным не позволялось иметь неудовлетворительных баллов за четверть, приводило к тому, что ученики застревали в том же классе зачастую по одному какому-нибудь предмету, успевая во всех других, и по истечении двух лет исключались. Особенно много легло жертв на полях брани с требовавшимися теперь в огромном об'еме латинским и греческим языками, лучше сказать грамматиками, для обучения которым были приглашены в Россию целые толпы иностранцев, по большей части чехов и по большей части из категории посредственностей, не годившихся у себя на родине. Тупые, ограниченные карьеристы, хорошо оплачиваемые и бессердечные прислужники начальства, воображавшие, что знают русский язык, тогда как совершенно не знали его, сочетавшие славянскую рыхлость с немецким педантизмом, они имели отвратительное и умственное и нравственное влия-

ние на русскую гимназию и понизили ее уровень на целые года.

То было время, когда нам ставились единицы за то, что мы отказывались видеть в русском глаголе «ненавидеть» синоним «любить» («не навидеть, отрицание основного значения глагола, значит утверждение», — важно толковали нам иноплеменники), и когда послушные первые ученики, перевозя буквально фразы из Саллюстия или Ксенофонта, писали воистину по халдейски:

«Полководец, после того, как он узнал, что хорошо устроил лагерь, но, однако, боясь, чтобы враги не воспрепятствовали тому, чтобы он мог дождаться помощи союзников, хотя с одной стороны приказал трубить с целью отступающего войска на восемь тысяч шагов, по причине долженствующих быть сломанными мостов, воины, сказал он, с другой стороны, уже сегодня невозможно, чтобы они имели желание приступить к спасению бегством, ибо даже храбрейшие из них касательно военного дела подвергаются самой величайшей опасности быть много хуже, как которые, быв прежде в своем внутреннем уме и тайно от людей самыми робкими, ныне тем не менее отрицают явно оставлять сражение.»

Пресловутый аттестат зрелости добывался на особых испытаниях, для которых из округа в запечатанных пакетах присылались столь замысловатые — и порой не свободные от ошибок темы и задачи, — что их не могли решить сами местные учителя. Когда эти пакеты взрезались директором, священнодействующим при помощи огромных ножниц в присутствии всего гимназического синклита, бедные пациенты толстовской инквизиции становились жертвою неминуемого страха, который парализовал все их способности, и нередко даже лучшие ученики проваливались на этих испытаниях. А между тем, ради этих выпускных экзаменов, в старшем (восьмом) классе за несколько месяцев прекращались всякие правильные занятия, и целыми днями, не исключая воскресений, гимназисты натаскивались на писание импровизирован-

ных, по большей части — в подражание окружным — нелепых по трудности работ: задач, тем, сочинений.

Казалось, все сделано было людьми, заправлявшими тогда образованием, чтобы оглупить молодежь, превратить ее смолоду в покорных верноподданных, добросовестно и без ропота выполняющих всякую шедшую из правительственных верхов галиматью. И, однако, именно в классических гимназиях революционный дух нашел в это время наиболее благоприятную почву. Преподавание в этих заведениях было расчитано на то, чтобы задавить среднего ученика массою материала, для толкового усвоения которого не хватало времени, и который приходилось поэтому одолевать памятью. Но мы нашли противоядие, и у нас естественно вырабатывалось особое разделение труда в гимназии и дома: наиболее способные из нас работали каждый по тому предмету, где он чувствовал себя сильнее, для всего класса. Кто решал математические и физические задачи, кто писал русские сочинения, кто переводил с древних языков и на эти языки. То были далеко не всегда первые ученики, — первые чаще всего были карьеристами и старались угождать начальству, — но они принадлежали к первому пятку, шедшему впереди класса. То, что они делали дома или в классе, они передовали своим товарищам, которые или буквально списывали с них, или же, чтобы сбить с толку учителей, немножко изменяли.

По некоторым предметам приходилось об'яснять товарищам у доски. Переводы с древних языков делались вслух перед началом занятий или на переменах. Вокруг каждого из таких добровольных пособников составлялись группы товарищей, старавшихся наскоро воспользоваться помощью более успевающих. И каждая такая группа тянула больше к своему руководителю. Возникало соперничество между группами и их вожаками. Образовывались своего рода вольные семинарии, и стоявшие во главе их считали вопросом товарищеского и группового самолюбия стараться так об'яснять, чтобы это выходило даже лучше, чем у учителей. Те

в большинстве случаев относились к преподаванию крайне формально: отбарабанил урок, спросил несколько учеников, стараясь угадать по их лицам, кто сегодня не приготовил заданного, поставил несколько единиц и двоек и с первыми звуками звонка уходил из класса, чтобы проделать ту же операцию в другом. Мы же, руководители, — я с третьего класса считался, напр., специалистом по писанию сочинений и переводам с латинского и греческого, — изо всех сил тянули свои группы, разумеется не с целью распространять среди них гимназическую премудрость, которую мы сами ненавидели и презирали, а чтобы предохранить товарищей от лишних плохих баллов.

В конце концов классическая школа приносила — и то очень относительную — пользу только нескольким наиболее способным ученикам в классе. Большинство пропускало сквозь себя всю эту формальную науку, ничего не усваивая из нее и забывая ее сейчас же по выходе из гимназии, но заражаясь за то оппозиционным настроением, а некоторые из этих середняков превращались в глупцов, заболевали или кончали жизнь самоубийством. Лишь мы, крохотные «герои», возвышавшиеся над этой «толпой», сохраняли жажду развития, но, конечно, не благодаря школе, а вопреки ей.

Одна-две сцены. Тридцать человек из сорока в классе уже давно волнуются перед первой лекцией, которая падает на греческий, в ожидании моего прихода. (Беру себя для примера: таких, как я, было человек пять). Надо перевести два-три параграфа из «Меморабилий» (Достопамятностей) Ксенофонта, но в них есть трудные места.

— Обезьяна! Вторая Курская! Коля! Кутейник! — раздаются из уст моих слушателей различные мои клички в соответствии с чувствами, которые кто питает ко мне, или просто как скажется. — Что-ж до сих пор не приходил? Всего 20 минут до начала осталось, чорт этакий.

— Сами черти! Для вас же старался, переводил...

У меня в руках французский «ключ». Начальство жестоко преследовало все эти подстрочники и переводы, не

понимая того, что, может быть, лучшим способом для скорого изучения иностранного языка является именно подстрочник, разумеется, если при этом толково изучается грамматика и делаются комментарии. Французские ключи нам доставлял наш товарищ по классу, сын предводителя дворянства, болтавший по французски, но плохо знавший по русски и потому не умевший переводить. На наше счастье, ключи у нас по большей части были французские, где размещение слов ближе подходило к русскому, тогда как немецкие только путали нас своей конструкцией.

Кстати сказать, эта работа для товарищей заставляла нас, руководителей групп, выучиваться и новым языкам, тогда как большинство гимназистов кончало курс, не умея и строки перевести из Гюго или Шиллера.

— Можешь ли ты сказать нам, молодой человек, почему ты захотел стать начальником кавалерии? — громко перевожу я с французского, торопясь кончить до начала лекции заданную страницу.

— Ха-ха-ха! — раздается веселый голос моего приятеля и вечного оппонента, «Ивантея» Лебедева, — эх, ты, француз: «молодого человека»! Тут, брат, в греческом «неаниа» стоит. Это — «юноша» значит по нашему. Нам такого «молодого человека» Мартын пропишет, что сразу постареешь.

— Ванька, не перебивай, — слышатся голоса протеста. — И так не успеем кончить: еще два параграфа осталось... Как, как ты сказал? Повтори!

— Почему ты захотел стать начальником кавалерии...— повторяю я.

— Опять зафранцузил... Кавалерии! Тут, брат, в тексте «гиппархейн» — значит начальствовать над всадниками, — снова слышится голос оппонента.

— Уж если хочешь буквально, то начальствовать над лошадьми. Так, что ли? — обижаюсь я.

— Замолчи, Ивантей! — гудят молодые раздраженные голоса. — Дайте ему, господа, кусок шейного! Право, не кончим...

Чей-то кулак гулко опускается на спину Лебедева.

— Еще... еще... Сам переводи, а не влипай! Знаешь, так молчи.

На «Ивантея» наваливаются два-три неспособных, но сильных мальчугана.

— Знову згромождени... опэт сборовна!.. Каку таку сходку завели? Многократ заказал... Единицу всем за поведение! — разражается вдруг над нами на высоте двух аршин могучий баритон нашего греко-латынца, чеха Долежела, тридцатилетнего, но совершенно лысого великана с большим, выпуклым, как у ребенка, лбом, маленькими серыми глазами, крошечным носиком, совсем запрятавшимся в огромную рыжую бороду.

«Китоврас» (гимназическая кличка Долежела) не в духах: быть беде!

Мартын Мартыныч — его имя-отчество — грузно и сердито садится.

— Господин Ткачевский! — вызывает он самого смирного мальчика и самого плохого эллина, оставшегося после отца-чиновника сиротой и жившего в гимназическом пансионе. — Потрудитесь читать и переводить.

Вызванный еле-еле плетется по строкам текста, путаясь во всех этих проклятых ударениях и придыханиях, перевирая слова и то и дело заставляя вскипать негодованием вспыльчивого, хотя по существу и не злого педагога.

— Эхойс... эхойс ан... Имеешь ли ты... Можешь ли ты, юноша... имеешь ли, о юноша...

Ткачевский останавливается и мучительно ждет обычного окрика.

— Что можешь? Что имеешь? — Жилы вздуваются на красном лбу Долежела.

— Имеешь ли, о юноша... быть начальником... над лошадьми... — выпаливает Ткачевский, вспомнив мое препирательство с Лебедевым.

— Над лошадьми? Не над ослами? — язвительно вопрошает мучитель.

— Не над ослами... — кротко повторяет на смерть перепуганный мальчик и вздыхает.

Гнев бушует в широкой груди чеха.

— Отлично... Весьма прекрасно... Вельми добже... Продолжайте!..

— Имеешь ли... почему, скажи, о юноша...

На сей раз лошади даже при помощи припряженных педагогом ослов не могут стащить с места юного переводчика, который безнадежно застрял на конце первой же строки.

— Ступайте, ступайте, господин Ткачевский, я опэт вам единицу ставлю!.. Господин Пантюшкин!

Пантюшкин, добрый малый, недурной математик (до гимназии он стоял у отца — «краснорядца» за прилавком), но не имевший никакой способности к языкам, прославился среди нас тем, что знал по гречески всего два слова, но за то знал их основательно: антропос — человек, и хора — страна, и потому носил соответствующие две клички.

— Читайте!

«Антропос» кое-как прочитал две строки.

— Переводите!

«Хора» молчит.

На сей раз решил молчать и китоврас. И во всем классе царит жуткое молчание. Не забавляет даже и муха, к которой кто-то приладил бумажку и которая уныло жужжит, тяжело перелетая со скамьи на скамью.

Проходит две минуты. В коридоре слышны мерные шаги сторожа, который расхаживает в ожидании выхода директора из соседнего класса, чтобы взять у него портфель и почтительно понести в швейцарскую. С улицы доносятся веселые детские голоса и дребезжание извозчиков по неровной мостовой.

— Но уже довольно! Но уже дост! Ступайте, ступайте, господин Пантюшкин! — И баритон чеха превращается в свирепый шопот.

«Антропос» молодцовато возвращается на место, не произнеся ни одного слова, и шумно садится.

Гигантский, свежий «кол» присоединяется к ряду таких же клинообразных письмен, стоящих в журнале против имени Пантюшкина.

Три четверти класса ждет, изнывая от страха, кого-то вызовет еще на пожрание страшный «китоврас».

— Господин...

Чех останавливается, словно палач, который высоко поднял топор над жертвой и медлит опустить его, выбирая получше место для удара.

— Страхов!..

Уже упоминавшийся мною сын предводителя дворянства успел прочитать несколько раз по французскому ключу первые строки перевода и потому идет к столу не без некоторой надежды.

Страхов очень посредственный грек, и педагог с недоверием прислушивается к бойкому переводу. Недоумение отражается на его лице, на лбу образуются комичные складки сомнения. Но вот, как замирающие волны, они исчезают куда-то, и могучий баритон весело-лукаво звучит на весь класс:

— Сами переводили, господин Страхов?

— О, конечно, сам, Мартын Мартынович.

— Никаким пособием не пользовались?

— Никаким, Мартын Мартынович.

— Где стоит слово «можешь»?

— Эхойс, Мартын Мартынович.

— Как начало глагола?

— Эхо...

— Эхо значит «можу»?!

Страхов вспоминает, что значит «имею».

— Почему переводите «можешь»?

Переводчик, у которого было ощущение, будто он уже добирался до другого берега широкой порожистой реки, вдруг начинает чувствовать, что силы оставляют его.

— Какое время «эхойс»?

— Настоящее.

— Чего настоящее?

— Прошедшее.

— Прошедшее?!

Страхов делает последние усилия. Неумолимая волна несет его снова от берега.

— Что значит «ан»?

«Господи, — думает злополучный пловец, — ну разве можно помнить все эти проклятые маленькие словца?»

— Какая часть речи «ан»?

Вдруг Страхов чувствует прилив храбрости. Ему кажется, еще усилие — и он снова у берега.

— Местоимение.

— Местоимение! Что значит?

— Ты...

— Ти? Ти?! — радостно-гневно вопрошает учительский баритон, — а что значит «сю»?

Пловец ударился головой о подводную скалу: он с ужасом вспоминает, что «сю», действительно, значит «ты». У него темнеет в глазах. Но «ан», дьявольское «ан», что же значит оно?

— Ступайте, ступайте, господин Страхов!.. Я вам ставлю двойку с минусом.

— Я знаю, Мартын Мартынович...

— Молчите, дерзкий человек. Переводите с помощниками и не ведете грамматику. Я вам ставлю единицу!.. На место!..

Страхов идет ко дну, так и не переплыв проклятого первого параграфа. Румяный великан скрипнул пером по журналу —

И от берега крутого
Оттолкнул его веслом.

Заклав таким образом с полдюжины юных жертв на алтаре Ксенофонта, который и не подозревал, сколько не-

счастья принесут его прозрачные аттические фразы потомкам скифов и сарматов, наш чех вдруг чувствует потребность отвести на чем-нибудь свою умягчившуюся после избиения младенцев душу.

— Кто хочет переводить из Гомера к ближнему уроку?.. Только хорошо скандировать...

Нас было человек пять специалистов скандировать à livre ouvert и сносно переводить. Кто-нибудь из нас поднимается и, соблюдая дактили и спондеи и цезуру и даже стараясь придать выразительность чтению, постепенно приводит чеха сначала в бурно-одобрительное, а потом и ласково-дремотное состояние... Точно огромный кот, которого щекотали за ухом, Долежел полузакрывал тогда глаза и урчал своим баритоном, скандируя вместе с нами и кивая в такт огромной лысой головой.

Скоро, кроме слабости к стихам, мы подметили в нем и другую слабость, — сущий клад для класса: наш чех любил поесть и почитать о чем-нибудь с'едобном. А так как у Гомера находилось не мало описаний пиршеств, где боги, полубоги и герои предавались вплотную потребительным священнодействиям, то эти места мы, лучшие ученики, приготовляли особенно тщательно и при помощи их легко успевали вводить «китовраса» в пленительный мир гастрономических ощущений.

Читаешь, бывало, с чувством, как друзья Патрокла угощали посольство греков, явившееся к Ахиллесу, или как феаки задавали пир на весь мир Одиссею и его спутникам, и вдруг почтенного Мартына Мартыновича словно прорывало.

— Дале, дале... читайте, только читайте и переводите... Греки любили не только сражаться, но и исть, но и столовати... Но да, жирный хребет свиньи и сало тече...

Большие красные губы, прорезывавшие огромную рыжую бороду, смачно выговаривали на неподражаемом русско-чешском диалекте соответствующие греческому тексту названия яств.

— Но да... когда мы були студентами, мы ходили много по горам на каникулах, на летних празниках... Мы були устали, мы були часем вельми гладни... Придем к некоторому пастырю, купим беранека, ягненка. Но да... и я и три приятеля мы все були вельки, как я. Мы снедали всего звиже!..

— А в Чехии вкусные бараны, Мартын Мартынович? — вступался в разговор кто-нибудь из нашей группы, стараясь в угоду классу продолжить эту диверсию.

— А для чего они не должни быть вкусни?

Следовала длиннейшая диссертация насчет того, как и что ели студенты во время экскурсии, что делали, с кем встречались, какой вообще народ чехи...

Под звуки этой комично разматываемой «китоврасом» нити юношеских воспоминаний класс отдыхал от обычного состояния страха. Плохие ученики не дрожали больше при мысли, что вот их сейчас пошлют писать ненавистные склонения и спряжения на доске, или перечислять девять глаголов с неправильным прошедшим несовершенным. Кто учил урок к следующей лекции, кто резался с соседом под скамейкой в шашки. Каррикатуристы срисовывали различные позы профессора гастрономии и изображали, как он кладет сразу в рот целого «звиже»: смирного ягненка Ткачевского, или бодастого козленка Пантюшкина, или тонкого-претонкого жеребенка Страхова.

Раздавался освободительный звонок. Китоврас, как бомба, вылетал из класса, иногда забывая, несмотря на свою аккуратность, задать урок и стремясь поскорее утолить в учительской столовой реальный голод, обостренный чтением Гомера и собственными рассказами и комментариями.

— А здорово, братцы, мы ему зубы заговорили: аж в аппетит бросило. Эх, кабы и следующий урок также...

Справедливость летописца заставляет меня прибавить, однако, что вышеописанная особенность педагога помогла тем из нас, которые чувствовали склонность к языкам, выучиться довольно недурно греческому и даже заинтересо-

ваться античным миром в своеобразном освещении китовраса. Отдав дань педагогическому неистовству в первой части урока, когда плохие ученики гибли целыми скамьями на полях сложной эллинской грамматики, Мартын отводил с нами, с лучшими, свою поэтическую и гастрономическую душу. Мы декламировали ему, чуть не пели гекзаметры, мы в точности переводили, какую часть быка или вепря отправляли герои в свой героический желудок. И «вопрос желудка» у греков становился исходным пунктом, отправляясь от которого, Долежел изображал на своем курьезном наречии эллинское житье-бытье.

Накладывая не без юмора нескладные мазки, он набрасывал картину гомерического царского дворца, который со своим штабом служителей, рабынь, мукомолок, пастухов, экономок (ключниц), отдельными мужскими и женскими покоями, широким гостеприимством, количеством яств и питий напоминал нам большой барский дом, а некоторыми чертами и старинный мужицкий обиход. Таким далеким и таким близким казался нам этот дворец, в котором дубовые ларцы были околочены медью, кипарисовые двзрные косяки изукрашены серебром, но где масло употреблялось только в пищу и для натирания тела, а отнюдь не для освещения, для коего служили ночью вечно горевший очаг, хранивший «семя огня», и пучки смолистой лучины, — совсем как в крестьянской избе,— но наложенной на изящные медные курильницы-канделябры!..

Любопытно, что в нашей гимназии собственно развивающая роль принадлежала одному из учителей другого древнего языка — латинского, — и тоже чеху, но иного типа. Долежел был свирепо добродушным и, вне своей специальности, довольно невежественным человеком, наполовину мужиком, только что приехавшим из родной Чехии для оболванивания российского юношества на мнимо классический лад. Помян принадлежал к хорошей чешской семье, уже довольно давно жившей в России, воспитывался в Московском университете, был преподавателем в одной из столичных гимназий

и попал в Орел в результате какой-то истории, которую путем никто не знал, но которая окружала его в наших глазах ореолом симпатичной таинственности.

Помяну тоже приходилось тратить с нами немало времени на грамматику и ставить нам единицы: то требовалось толстовской классической программой! Но это занятие, повидимому, не удовлетворяло его и, при первой же возможности, он переходил к чтению и переводу классиков, сопровождая урок частыми об'яснениями и очень снисходительно смотря на употребление ключей, лишь бы пройти побольше из автора. Некоторые из нас, вызываясь переводить вслух к будущему уроку, не стеснялись держать в руках латинский текст с французским или немецким ключем, и если обнаруживали понимание оригинала, то могли беспрепятственно проделывать эту операцию. Вместе с тем и об'яснения, которые давал при этом Помян, были уже другого рода, чем экскурсии его соратника в мир гомеровской Греции. Долежел был воплощением банального, хотя и знающего дело филолога, который никогда не затрагивал вопроса об общественном и политическом строе греков. И не то, чтобы он сознательно избегал этого, но просто его это не интересовало. Помян же был «политиком» и любил касаться государственных и общественных учреждений.

Помню, как при чтении одного места о центуриях, не то у Тита Ливия, не то у Цицерона, Помян толково об'яснил нам значение этого учреждения, созданного легендарным Сервием Туллием, и обрисовал борьбу социальных классов и политических партий в древнем Риме. Я не могу теперь припомнить подробности этой импровизированной лекции и потому не могу сказать, насколько уже в то время она удовлетворяла постановке этого до сих пор оставшегося не совсем ясным вопроса. Но мы приблизительно в эту же пору слышали педантическое повествование о том же предмете нашего историка, уже упомянутого свистуна-директора, и были поистине поражены живой человеческой речью Помяна. Статный, бледный, с черными волосами, зачесан-

ными на бок à la Гоголь и небольшими усами вокруг иронического рта, наш латинист бросал быстро, отрывисто своим слегка гнусавым голосом фразу за фразой среди притихнувшего класса, и разве самые неспособные и самые ленивые, махнувшие рукой на всякую гимназическую науку и ждавшие почти с нетерпением, когда их, наконец, выгонят из постылой школы, не слушали Помяна. Этот самый латинист снабжал нас годом-двумя позже сочинениями Спенсера и был одним из тех немногих педагогов, которые раздували искру Божию любви к науке и жажды развития среди тех из нас, кого толстовская гимназия не успела еще забить.

Ибо, по иронии судьбы, в Орловской гимназии не было того традиционного учителя русской словесности, — чудака и богемы, — который обыкновенно в эти тяжелые времена был ферментом брожения среди отупляемого юношества. Наш словесник, по фамилии Горский, из семинаров Западного края, был человек не без знаний и способный, а во времена, когда меня еще не было в гимназии, даже любивший либеральничать и рисовавшийся своим физическим сходством с Добролюбовым или, лучше сказать, с популярным в то время портретом Добролюбова. Но после гагаринского рескрипта, он на несколько лет бросил педагогическую деятельность, служил по акцизу и вернулся к нам помятым жизнью, разочарованным чиновником, совершенно формально относившимся к своему учительству, задававшим нам уроки «отселева и доселева» и лишь изредка оживлявшимся при разборе удачных сочинений. Лично меня за сравнительное искусство в этой области он первое время довольно любил, смотрел сквозь пальцы на вредные идеи, проскальзывавшие в моих юных творениях, но испуганный, как кажется, наветами нашего законоучителя, — на нашем языке «батьки-иезуита» — начал ставить мне за мои сочинения «моральные единицы» (не перенося впрочем этот балл в журнал), и очень недоверчиво относиться ко мне, распространяя это недоверие и на тех из моих товарищей, в которых он видел моих единомышленников.

А между некоторыми из нас действительно установилось кое-какое единомыслие, и мы вместе с молодежью разных школ и просто юными разночинцами составили кружок саморазвития, конечно, не отличавшийся в общем ничем от подобных же кружков, в то время почковавшихся в изобилии по всему широкому лицу земли русской.

Как возник наш кружок? Как будто случайно. Но в этой случайности очевидно была какая-то законосообразность. В то время Орел был бойким не только торговым, но и интеллектуальным центром средней России, центром, где оседали группы пропагандистов, перед тем как двигаться в народ, и откуда год-два спустя двинется и значительная часть знаменитых апостолов хождения в народ летом 1874 года. Летом 1872 года, когда мне было около 13 лет (я родился 16-го сентября — по ст. ст. — 1859), и я перешел в четвертый класс, в Орел приехал, между прочим, студент медико-хирургической академии Дмитрий Герасимович Никольский, принадлежавший к многочисленной семье местных поповичей Никольских, из которых некоторую известность приобретут лишь Марья Никольская, бывшая одно время невестою Валериана Осинского, и Александр Никольский, осевший после нескольких лет радикальничанья в суворинском «Новом Времени» на амплуа не то критика, не то охранителя русской общины. Дмитрий был средним порядочным интеллигентом (в 1875 году он поплатился ссылкой в Шенкурск за студенческую «ционовскую» историю). Но мне и нескольким товарищам, с которыми он познакомился в одном слегка либеральном купеческом доме, он показался гигантом при первом же свидании.

Дело началось — пусть не улыбается читатель — со спора о существовании Бога, то есть темы, которая имела для русской интеллигенции громадный земной ингерес и которая еще в 40-х годах заставляла Белинского проводить бессонные ночи в прениях с Бакуниным. Я и большинство моих товарищей были еще верующими, хотя червь сомнения грыз уже наши души, и потому мы нашего Бога защищали

с особенной энергией. Никольский, представитель атеистической науки, смотрел на нас отроков, старшему из которых не было шестнадцати, а младшему не полных тринадцать, немножко свысока, и думал смутить нас первым же пришедшим ему в голову вопросом, из разряда тех, что обсуждались на уроках богословия в семинарии, откуда он вышел всего год-два тому назад, чтобы уехать в Питер для поступления в высшее учебное заведение.

— Вот, господа верующие, — обратился с улыбкой он к нам (господа верующие при этом приосанились: с нами спорят студенты, значит мы существуем... как взрослые люди), — вы все говорите о премудрости и о благости Бога. Скажите же, почему он сотворил мир всего семь тысяч лет с небольшим назад, — по вашему счету, кажется, так выходит? Что же он делал раньше? Сам-то он существует от вечности...

После нескольких минут размышления и обсуждения сообща, юные диспутанты дали медико-хирургическому атеизму ответ, который и оппонент счел удовлетворительным.

— Но Бог-же вечен, Дмитрий Герасимович! Стало быть, если бы даже он создал мир миллионы лет тому назад, вы все бы оставались им недовольны и продолжали бы спрашивать, почему он не сотворил мира еще раньше...

— Тэк-с... Недурно, ребятки, — заговорил уже попроще с нами искуситель. — Ну, а как вы на этот вопрос ответите?.. Бог есть дух, всеблагой, всеведущий, всемогущий?..

— Да, Дмитрий Герасимович! — хором отвечают звонкие молодые голоса.

— Так как-же ваш Бог допустил Адама и Еву до грехопадения? Всеведущий, он знал, что прародители вкусят от древа познания добра и зла и, значит, согрешат. Всемогущий, он мог сделать так, чтобы они не согрешили. Всеблагой, он именно и должен был так поступить, чтобы не обречь людей на грехи и мучения. Значит, он или не всеведущий, или не всеблагой, или не всемогущий?

Бедные любомудры, мы тщетно напрягали свою мысль, чтобы разрешить эту неразрешимую загадку. Мы даже не могли по своему незнанию утешить себя тем соображением, что она тревожила уже сознание древнего мира, а в христианстве породила целую массу ересей, да так и осталась без ответа... Конечно, мы ухватились было за обычное решение, которое преподносилось нам на уроках закона Божия «батькой-иезуитом»:

— Постойте, постойте, Дмитрий Герасимович! Бог знал, что люди согрешат, но ведь он дал им свободную волю грешить или не грешить, так что они могли бы, если бы захотели, и не грешить...

— Та-та-та! Но разве Бог не знал наперед, что такие, как они были, Адам и Ева захотят согрешить и отведают яблочка? Или, может быть, не знал?

— Знал, но дал им свободную волю.

Мы чувствовали, что топчемся на месте, а змий-искуситель в форме студента-медика повертывал кинжал в ране, нанесенной нашему догматическому богословию.

— Погодите, кто знает из физики, как из кислорода и водорода получается вода?

Не все между нами проходили еще официально физику, но все мы не без гордости заявляем, что опыт этот нам вполне известен: оба газа берутся в известной пропорции в особую трубку, образуя гремучий газ, через который пропускается электрическая искра, производящая взрыв, а в результате вода.

— Молодцы, прямо умники!.. Но скажите пожалуйста, раз физик знает свойства двух газов и уверен наперед, что они взорвутся от электрической искры, может он негодовать на них, называть их таким-сяким кислородом и водородом и наказывать их за то, что они образовали воду?

— Конечно, нет, Дмитрий Герасимович!.. Но к чему все это?

— А к тому, что ваш всеведущий Бог знал также свойства первых человеков, знал, что они не выдержат

искушения, что тоже взорвутся, и в мире воцарится грех, а мы, потомство, должны отвечать за прародителей...

Спор ведется долго. Мы раздосадованы, мы огорчены, но чувствуем, что логика не на нашей стороне. Слова студента западают глубоко нам в сердце и у каждого из нас вызывают немножко по разному, но в общем огромное брожение. Для меня лично начинаются долгие месяцы огромных душевных мучений. Я сопротивляюсь, насколько могу, вечно звучащему теперь у меня в ушах голосу «духа отрицанья и сомненья». Я защищаю инстинктивно целость своего миропонимания, своего мироощущения. Ибо я не только верующий, но моя вера тесно сплетена со всевозможными суевериями традиционной купеческой семьи и охватывает обрядностями все стороны моего существования, ничуть не менее, чем древнего римлянина или набожного еврея... Как же отделаться от всего этого сразу?

Отец мой в сущности был мало верующим, чтобы не сказать, совсем не верующим, но лишь в припадке сильного гнева, что впрочем с ним случалось нередко, обнаруживал свой атеизм. Иногда, когда моя бабушка или мать пробовали остановить его в минуты этого бешенства словами «Побойтесь (или побойся) Бога, Сергей Дмитрич», отец отвечал необыкновенно резко: «Я не боюсь ни Бога, ни черта». В нем прорывалось тогда что-то ненормально горделивое. Однажды ему пришлось крепко выругаться на кого-то из домочадцев во время сильной грозы. «Да что ты, Сережа, очумел, что ли, — пыталась остановить моего отца его мать, моя бабушка, — тут люди «свят-свят-свят, Господь Бог Саваоф» шепчут, а ты черным словом ругаешься».

Это увещание подействовало на моего отца, как удар хлыста на горячую лошадь. Он распахнул дверь балкона, выскочил наружу, оперся руками на чугунные перекладины и простоял так несколько мгновений, несмотря на сильнейший дождь и град, беспрерывное полыхание молнии и свирепые удары грома, вызывающе-комично смотря на небо: пускай, мол, тронет! Не помогли и мои увещания от «науки»,

смиренно докладывавшей моими устами отцу, что во время грозы опасно находиться вблизи больших металлических масс...

Но этот же самый неуравновешенный человек, вероятно, вспоминая поведение своего отца, строжайшим образом требовал от домочадцев и прислуги исполнения всех обрядов и порою надоедал этими требованиями даже отдельно от нас жившим и дальним родственникам и всем знакомым. Так в одной родственной нам семье он устроил на именины хозяйки дома нелепую сцену игравшему в карты жизнерадостному попику из женского монастыря.

— Стыдитесь, батюшка, мы должны бы с вами пример подавать, а вы в стукулку режетесь. А еще благочинный! — обличал веселого подвыпившего батю мой отец к вящему соблазну простых людей, которые никак не могли понять такой продерзости светского ревнителя православия, и дождался наконец того, что благочинный обозвал моего отца «фарисеем» и «безбожником в сердце», а хозяева дали понять обличителю, что наводить порядки он может только у себя дома...

Мать моя не наводила порядков из-за обрядности и представляла скорее эстетический и даже слегка пиэтистический элемент в религии, не совсем свойственный обыкновенным православным людям. Так, взявши нас, малолетних детей, за руки, когда колокола в городе принимались звонить ко всенощной, она чинно расхаживала с нами по большому залу и пела своим приятным голосом, — а мы ей подпевали, — разные божественные стихи в роде:

На Сионских горах
Стоит церковь,
Соборная,
Богомольная...

Или же читала нам что-нибудь из старинного русского перевода «Подражания Христу» Фомы Кемпийского и показывала нам в маленькой красивой книжке, изданной, кажется,

еще в XVIII веке, символические картинки, например, сцену, как за Христом-Пастырем бегут верующие овцы с подписью:

Со стадом Иисус куда пойдет своим,
Я в сладкой тишине последую за ним!

Я не знаю, откуда у матери взялось это созерцательно-религиозное настроение, может быть, от ее матери, которую мы вообще мало знали и редко видели, и которая умерла в монастыре великой схимницей. Во всяком случае не это настроение было господствующим в религиозном укладе нашей семьи. Законодательницею по этой части, кроме отца, который требовал религии только для порядку, являлась моя бабушка с отцовской стороны, которая, отдохнув со смертью деда от мучительств, являлась теперь, между прочим, как бы верховною жрицею, или первосвященницею русановского клана. Она знала все, что должны были знать по божественной части старые русские люди, не мудрствуя лукаво насчет того, что тут вера, и что тут суеверие. Я нарисовал читателю несколько сцен, чтобы показать, какою сытою, грубою, наивно-развратною, полу-первобытною жизнью жила наша дворня и кухня. Православие бабушки было как раз по плечу этому время от времени менявшемуся, но в общем сохранявшему свои традиции скоплению купецких слуг. И те самые кучера или кухарки, которые чорт знает что проделывали, не стесняясь присутствием хозяйских детей, беспрекословно слушались моей бабушки во всем, что касалось религиозного обихода, и не смели ее ослушаться, создавая благоприятную почву для своеобразной, полу-христианской, полу-языческой, я бы сказал даже полу-дикарской, культуры.

Когда мне впервые пришлось прочитать у кого-то из этнографов, в каком вечном страхе духов проходит жизнь дикарей, которых Руссо рисовал такими счастливыми и свободными, я встрепенулся: эта жизнь мне была знакома; такою жизнью жила русановская дворня, а вместе с нею и мы, русановские дети. Мы боялись Бога и чорта, лучше сказать, всевозможных богов и чертей. С утра и до вечера

мы жили в общении со сверх-естественным миром, который, однако, представлялся нам совершенно естественною, хотя по большей части неприятною вещью, необходимым злом, в роде близких, но скверных соседей. Такие скверные существа, по крайней мере, преобладали в нашем Олимпе. Были, правда, добрые духи, но выходило как-то так, что именно они всего реже вмешивались в наше житье-бытье, а злых приходилось ублажать на каждом шагу.

Так, мы знали, по крайней мере, дюжины две богородиц, и Балыкинскую, и Казанскую, и Троеручицу, и Скорбящих Утешение, и со всеми их традиционными аттрибутами, какую просто с Христосиком, а какую с Христосиком и яблочком, а какую с тремя руками, а какую с падающими из глаз крупными слезами. Мы легко узнавали их раз навсегда установленные физиономии, словно фотографии знакомых людей, знали, когда их праздновали, когда надо было «поднимать» ту или иную икону и из какой церкви, потому что в некоторых церквах эти добрые колдуньи обладали наибольшим могуществом. Но именно потому, что они были добрые, на них не обращали постоянного внимания. Некоторые совсем светлые божества, хотя им надо было машинально молиться каждый день, — «Господи Иисусе Христе, Боже Наш», «Сыне Божий», «Спас Милостивый», — были для нас близки и дороги лишь в некоторые торжественные дни, приносившие нам массу хороших вещей.

Что, например, сравнить с Рождеством Христовым, когда, пробавляясь целый Филипповский пост в самом лучшем случае рыбою, а в сочельник наголодавшись до тошноты, до лютой злобы друг на друга, весь русановский клан садился после ранней церковной службы за стол, установленный всевозможными яствами? А тут являлись с наивно-торжественными поздравлениями приказчики, а тут поминутно вбегали в комнаты с улицы мальчики-христославщики, внося с собою струи свежего морозного воздуха и немилосердно грязня тающим снегом прибранную переднюю, а к вечеру катанье на купецких рысаках, а долгим вечером гаданье на все ла-

ды, игра в носки с дворней, выпившей и задававшей отчаянный тренак на кухне...

Или, что сравнится с Пасхой, с последними днями ожидания ее? Двенадцать Евангелий вечером в страстной четверг и длинный ряд ползущих по улицам и рассыпающихся по переулкам зажженных свечек, которые люди прикрывают на все лады от свежего весеннего ветра, чтобы донести из церкви до дому горящими. Редкий, заунывный звон колоколов в пятницу, когда ходишь из прихода в приход и прикладываешься к плащаницам. И, наконец, он, несравненный, действительно великий, бесконечно длинный и веселый день Светлого Воскресенья, который начинался в полночь стоянием в церкви с папертью, освещенной плошками и целым морем свечек, прилаженных к пасхам и куличам, и продолжался розговеньем, христосованьем, катаньем яиц на всех пригорках, еле оттаявших от снега, и беспрерывным залихватским трезвоном всех церквей, — наш Никитский дьячек, пьяница, но истинный виртуоз, ухитрился «откалывать» при этом «барыню» на колоколах, — пока наконец детские глаза не смыкались ранним вечером тут же где-нибудь на кресле в столовой, под говор наехавших и угощаемых на славу родителями гостей.

И уж, конечно, никто из русановской семьи не думал о мифологической Троице, когда весь дом разукрашался на Троицын день березками, цветами и травой, когда повсюду в комнатах так хорошо пахло лесом и полем, и когда мы, дети, с любопытством и сокрушением присутствовали на третий день при выносе всего этого, увы! изрядно высохшего великолепия на двор, где наш кучер и приказчики занимались приготовлением новых метел на целый год при звуках соответствующей песни:

Деревенский мальченка
Березки срубал,
Метелки вязал,
В Москву отсылал,
Сылал, сылал,
Да в Москвт отсылал!

Ибо если Христос был еще понятен нам по человечеству, то к Святому Духу мы относились довольно равнодушно, как к Богу-птице, и знали лишь, что поэтому грешно есть голубей, а первое лицо — просто Бог, — внушало нам только страх, так как рисовалось нам очень старым и очень строгим господином с огромной седой бородой, который вечно занимался хирургическими операциями над непослушными детьми, — «не шали, Бог ушко отрежет», — и которого наши приказчики усиленно поминали, когда надо было получше обмануть покупателя или продавца: «Ей Богу, да вот с места не сойти, да пусть Господь Бог меня покарает, ежели лгу...»

Мир темных сил жил, наоборот, постоянно в нашем сознании, и мы на каждом шагу чувствовали его присутствие. Самого владыку ада этикет воспрещал называть по имени. «Дьявол», «чорт» вырывалось, конечно, нередко из уст мужского элемента дворни, но женский элемент, ближе знавший тайны неба и преисподней, постоянно останавливал ругателей: «Чего расчертыхались-то? того и гляди самого накличете». Этот высокий джентльмен назывался поэтому описательно и почтительно: «сам», «черный», «он». С рядовыми обитателями ада обращались попроще, но все же с опаской. Домовой пользовался симпатиями. Он назывался «хозяином» и жил обыкновенно на конюшне, где присутствие его вместе с козлом, — на которого впрочем он изрядно и походил, — было очень пользительно для лошадей. Кучер уверял даже, что наш домовой неоднократно оказывал ему личные услуги по пьяному делу: «Удивительная штука, братец ты мой, нарежешься и спишь без просыпу: — встал утром, глянь — ан коням кто-то овса задал и навоз подметен». Этот возница, кстати, славился тем, что мог править лошадьми и во сне и мертвецки пьяным...

Другие черти просто таки отравляли существование. Один вертелся все время возле вас, и как только кто-нибудь зевнет, да забудет перекрестить рот, так сейчас же влезал к тому в самую душу. Другой избрал своим местожитель-

ством баню, где, как известно, не полагается икон, и пугал горничных, мывшихся поздно ночью, после хозяев. За то он же обыкновенно показывал этим особам их будущего законного повелителя, когда они приходили гадать в предбанник, приносили туда и накрывали стол с двумя приборами и зеркалом, и, смотрясь в него, произносили таинственные слова: «ряженый-суженый, приди ко мне ужинать».

В нашем тенистом саду жил и по ночам шалил другой козлобородый и козлоногий приятель, усиленно трясший медведевкой и апортом. Его нравы были в точности изучены нашим Иваном Николаевичем, который во время своих странствий по России познакомился и с курскими садоводами и от них узнал, что «коли ежели трясут ночью, то писани хорошенько по тому древу из ружья, да только не дробью, потому себе же руку поранишь, а рожью, и подсыпь в нее еще мелкой серебряной монеты, ну что ли пятачка два-три».

В несомненном родстве с этим любящим чистый воздух господином находился «леший», который взял манеру издеваться над добрыми христианами, особенно под воскресенье и другие праздники, когда на душе так радостно после нескольких стаканчиков и, кажется, не думаешь ни о каком зле. Это существо особенно надоедало нашим приказчикам, когда они отправлялись в уезд скупать разные продукты у мужиков, и единственным верным средством против него было чтение «девятой кафизмы». Это слово произносилось в нашей кухне «куфизьма» и с таким таинственным ужасом, что я был очень разочарован, когда на уроках закона Божия в гимназии узнал, что дело идет о размеченном на разные дни чтении псалтыря: кафизма мне казалась по меньшей мере каким-нибудь страшным заклинанием.

Громкой, но незавидной популярностью в нашем городе пользовался также «рочный», он же «полуденный» (читатель, конечно, догадывается, какое страшное существительное подразумевалось при этих прилагательных). То был дух, коего врата адова извергали ровно в двенадцать часов дня и кой должен был тащить ко дну реки неосторожных обы-

вателей, забывших, что в полдень купаться грех. Этот демон — то носился летом в жаркие часы по пыльным орловским улицам и завивал на перекрестках целые вихри; «попробуй-ка бросить ножик в вихорь, да скажи «с Господом», сейчас это тебе нож обратно вернется весь в крови, потому что нечистому в ятребу попал». Или же, наоборот, как огромный зверь, притаивался в омутах тогда еще многоводной Оки, — мелкого Орлика он не любил, — и дожидался взбалмошного купальщика. Вся кухня с ужасом рассказывала недавнее похождение одного бравого, здорово испивавшего мастерового, который после сытного обеда и полштофа в базарный день вздумал в рочный час выкупаться выше Хвастливой плотины, да и нырнул между ветвей старых дуплистых ив в прохладные струи, но застрял на дне и был вытащен лишь несколько минут спустя и едва возвращен к жизни.

— Матушка покойная спасла меня, никто, как она родная, — повествовал чудом спасенный мастеровой, — как ахнул я с берега вглубь, а солнце-то уж как из пекарной печи палило, смотрю, в глазах потемнело, хоть нам нырять дело привычное. Наровлю поскорее дно рукою достать, перевернуться, да хорошенько ногами вверх оттолкнуться... Нет дна, да и только!.. Развожу руками, пошире открыл глаза, да как глядь, а возле корчаги сидит «он», большущий да черный, и лапища растопырил, а я прямо ему в когти угодил. Схватил это он меня, как зайца, и давай поглаживать: «а, говорит Лаврентий Иваныч, давно уж вы по полудням изволите поныривать, пожалуйте-ка теперь ко мне в гости-с»... Хочу кричать, а ничего не выходит, только булькы пускаю. Ну, думаю, пришел мой конец... И что же, брат ты мой, припомнилась мне вся жизнь моя, пьяная да проклятенная. И вижу вверху, ровно как в небеси, матушку-покойницу. Да как завоплю: «Матушка, родимая, спаси сына твово блудного, сироту недостойную!» А он как рыкнет: «Счастлив, говорит, твой Бог, пропойца ты паскудная, что про мать вспомнил! Пошел на тот свет!» да как свиснет меня по заду, как наподдаст — так я и вылетел сажен на

пять из реки!.. Гляжу, ребята из Пушкарной слободы меня откачивают... Смешно мне стало: «Стой, братцы, стой, жив Бог, и жива душа моя!» Отходили меня, я и рассказываю так и так, что со мною было. А пушкари проклятые хихикают: «Знаем, знаем, как и что, ведь мы тебя вытащили... завяз в корнях». «В корнях?! — говорю. — Хороши корни... А это что?» — показываю: вся спина, бока и ноги до колен ломят, а по ним синие полосы идут. «Эти, брат, корни у черта на конце лап и когтями зовутся»... Поругался я тут со спасителями-то, но все же повел их в кабак мириться. И что-же бы вы думали? Под конец все по моему заговорили: «корни корнями, а когти когтями!..»

Если в подвальном этаже нашего Олимпа рочный заведывал полдневным часом, то полночный заведывал самой серединой ночи, совсем как у поэта, изображавшего в народном духе:

Час таинственный пробил,
Будит мертвых из могил.

От двенадцати до часу, — другие говорили: до пения петухов, — ночной выпускал мертвецов из их тесных жилищ, а на самых грешных из них возил воду. Но этого духа наш первобытный клан не так боялся, как самих мертвецов. С чертом была хоть какая нибудь справа: не пестом, так крестом! Но покойники были неумолимы: возле креста, в церкви, под могильным памятником, они чувствовали себя как дома. По сравнению с ними черт был свой человек и, шатаясь по людям, даже как-то гуманизировался. Мертвецы же, отделенные от живых в течение дня двумя аршинами земли, были для нас воплощением ужаса. После рассказов на кухне о домовых и леших, приказчики, которые по делам должны были порою ходить и ездить ночью, храбро отправлялись куда надо, вооруженные «куфизьмами» и прочими верными средствами против нечисти, и только горничные и кухарки образовывали потешные человеческие грозди, когда приходилось идти на погреб или даже в уборную. Но после историй о мертвецах страх овладевал и грубым полом, и

тогда и бородатые мужи старались держаться друг за друга, отправляясь спать на сеновал или в каретный сарай, а через кладбище пройти, конечно, никто не решился бы.

Любопытно, что и очень благочестивые и совсем уже, казалось бы, строго православные религиозные упражнения только сгущали эту атмосферу страха перед миром духов, который окружал нас. У нас было принято, например, по совету бабки и велению отца, читать по постам соответствующие дням жития святых из «Чекминей» (Четьи-Минеи) огромные томы которых в старых телячьих переплетах с тугими-претугими застежками имелись у нас в двух экземплярах. На беду я довольно рано выучился читать по церковно-славянски и постиг в совершенстве тайну словотитл. Вечером в Филипповский или в Великий пост на меня была поэтому возложена обязанность назидательного чтения вслух в присутствии всех домочадцев и наиболее доверенных лиц из прислуги.

Но составители житий не скупились на описание мучений, которым при нечестивых царях Максиминах и Диоклетианах подвергались многие из сопричисленных к лику святой церкви особ мужеска и женска пола... «И рече игемон: аще не хощешь пожрети, иди на мучения... И взяше (имярек) воины и оушеса ему отрезоваше и в яндову смолою кипящую ввергаше».

Начитавшись и наслушавшись всех этих страстей, мы, дети, а кое-кто и из старших, не могли долго уснуть от страху, а когда засыпали, то просыпались в ужасе и с криком от сугубо воспроизводивших «чекминейские» легенды сновидений...

Весь в поту открываешь, бывало, глаза, а в ногах у вас на постели сидит со всеми полагающимися ему по штату аттрибутами чорт, и таково-то аппетитно пощелкивает своею зарящеюся на восьмилетнего великого грешника пастью... Пускаешься в ужасе бежать по темным комнатам (когда мы спали на верху) в родительскую спальню: «Мамочка, милая, возьми меня к себе... Ой-ой! оушеса отрезоваше... Родимая,

голубочка, спрячь меня поскорее... Ох, в яндову смолою кипящую ввергаше».

— Ты, что, белены, что-ли, об'елся, постреленок? — раздается сердитый голос пробудившегося отца, и к церковному страху присоединяется в детской душе гражданский. Ждешь звонкой затрещины или хорошего шлепка по мягким частям. Но сердце матери не камень. Она знает, как страшно ребенку, и прибегает к радикальному средству: берет вас на руки и отыскивает где-нибудь валящуюся на конике в передней не менее вас замирающую от страха горничную и посылает ее на третий этаж в горницу: звать бабушку. Бабушка была специалисткою по части религиозной аллопатии и гомеопатии и по стенам, комодам и разным ящичкам хранила целую коллекцию слабо и сильно действующих средств из этого отдела народной медицины. У нее хранились щепочки от Гроба Господня, приносившиеся знакомыми паломниками, завернутые в святые тряпочки и прекрасно помогавшие от флюса, когда их стиснешь хорошенько в зубах. На случай родимчика или других нервных детских припадков имелась крещенская вода. А если это не действовало, то на голову пациента надевалась шапочка Митрофания Воронежского или Тихона Задонского... И мало-ли чего не было у бабушки испробованного мною в годы детства, испробованного с пользою и облегчением, когда, весь избрызганный крещенскою водою и со скуфьею святителя на пылающей голове, снова ложишься, бывало, в захолодалую постель, и бабушкины сморщенные, но такие милые руки подтыкают тебя со всех сторон, а сама бабушка садится близ тебя на стуле и ждет, пока глаза ребенка крепко закроются и шапочку можно будет повесить на стену горницы — до следующего раза...

К сожалению, эти страхи и эти лечения, достойные первобытного племени, оставляли свои следы, и нервы у нас, детей, и у младшей прислуги были все время не в порядке. Нас мучили страшные сновидения и кошмары. Мне лично особенно врезались в память две группы сновидений,

основное содержание которых оставалось почти одним и тем же, а менялись только подробности. (Для психолога могло бы быть, пожалуй, интересно наблюдение, что каждому типу сновидений соответствовали у меня особые повторяющиеся представления о месте, и по характеру обстановки я в начале сна уже заранее чувствовал, кончится ли он хорошо или дурно).

В первой группе сновидений мне обыкновенно казалось, что я шел по бесконечно длинному, очень гулкому, точно сделанному из металла коридору, слабо освещенному двумя рядами теряющихся вдали, и впереди и позади меня, высоких-превысоких свечей... И вдруг сзади меня раздавался мерный, тяжелый, сначала отдаленный, затем приближавшийся и становившийся, наконец, нестерпимо громким гул ударов чего-то металлического о звонкий пол подземелья. О, я уже знал, — так как сон повторялся много раз, — что то пара огромных вороных коней в дышле, несшихся во весь опор на меня. Мне нет спасения. Бешеные скакуны заполняют своими гигантскими телами весь разрез подземелья. При их приближении, казалось, спирается самый воздух. И я пускаюсь бежать, и бегу прямо перед собою, в каком-то неудобном длинном платье... Безумно стучит сердце, дыханье прерывается от скорости бега. Я оглядываюсь назад, — черные массы все быстрее надвигаются на меня... Вот еще секунда, еще одна... О, ужас: я путаюсь в складках одежды, падаю, не могу подняться, а лишь тяжело поворачиваюсь. Над моей головой занесены огромные чугунные копыта. Они опускаются. Хоть бы скорее смерть! Я чувствую их стопудовое металлическое прикосновение. Все кончено — и я просыпаюсь с неистовым криком: «кони, кони!» который будит моего брата, сестер, няньку в детской и даже отца с матерью в их спальне.

Другой ряд сновидений, тоже с большими вариантами, ведет меня в одну из просторных комнат нашего первого этажа со сводами, туда, где стоит железный несгораемый шкаф, род массивного куба, куда отец кладет наличные

деньги, а мать — драгоценные вещи. Мрачная, хотя и освещавшаяся тремя окнами, эта, как мы называли ее, «дикая комната», (она была по штукатурке выкрашена в «дикий» цвет) казалась во сне еще страшнее. Окна, прорезавшие ее толстые в полтора аршина стены, тогда исчезали, и она освещалась откуда-то адским фосфорическим сиянием... Забившись в противоположный шкафу угол, я жду с ужасом начала повторявшегося сновидения. Что-то огромное и лязгающее бьется свирепо внутри шкафа об его крепкие стенки. И этому холодящему сердце звуку отвечает неистовый стук чего-то, тоже лязгающего, ломящегося в низкую запертую на ключ дверь из соседней комнаты. О, я опять хорошо знаю, что будет дальше... Это — он!.. Это — они!.. Еще один страшный удар в шкафу — и его верхняя тяжелая крышка с шумом отскакивает, точь-в-точь, как это бывает в действительности, когда отец нажимает на пружину хитрой старомодной вещи. Но увы! на сей раз со дна ящика, мирно занятого обыкновенно пачками ассигнаций и материнскими бриллиантами, жемчугами и янтарными ожерельями, выскакивает огромный в аршин диаметром череп и с треском опускается на ловко захлопнувшуюся крышку. В ту же минуту дверь слетает с петель, и целое воинство черепов, и больших, и малых, и самых крошечных, врывается, вкатывается в комнату. Как нетопыри летают они в воздухе и застывают повсюду... Череп-великан на шкафу, словно капельмейстер, ляскнул на меня челюстями. И, словно послушный оркестр, все полчище черепов тоже ляскает своими большими, и маленькими, и совсем крошечными челюстями. Они бросаются со всех сторон на меня, они окружают меня, они катятся через меня, как чугунные ядра... Я задыхаюсь — и снова пробуждение. И снова крик ребенка несется через большие покои мирно спящего купецкого дома. «Мама, мама, мертвецы, ядра!..» И мне, уже проснувшемуся, кажется, что на потолке действительно катаются тяжелые ядра...

Когда я рассказываю эти «страсти», я говорю не только о себе. У меня сны, вследствие от природы довольно силь-

ного воображения, были, может быть, несколько ярче, чем у других домочадцев-сверстников. Но вообще подрастающее поколение у большинства родственных и знакомых купеческих семей жило и развивалось при подобных же условиях. То же по большей части самодурство отца, или матери, или деда, державшее молодежь в страхе и лицемерии. Тот же грубый наивный разврат, если и не прививавший разных противоестественностей, то преждевременно сквернивший душу, а потом и тело ребенка. Та же постоянно окружавшая вас атмосфера обрядовой религии и всевозможных суеверий и предрассудков, в которой мы жили полудикарями, полуварварами, трепеща видимых и невидимых, небесных и адских сил и в сущности мало испытывая на себе и других так называемое нравственно облагораживающее влияние религии.

Мы, дети, — человек и в самом раннем возрасте есть существо очень умное и наблюдательное, — мы, дети известной среды, могли, наоборот, скоро заметить, что религия, то есть богочертие, или чертобожие — одна статья, а мораль — статья другая. Выходило даже как-то все так, что самые набожные между людьми, с которыми мы встречались, самые строгие исполнители обрядов, самые точные знатоки того, что считалось и что не считалось грехом, были вместе с тем и самыми отчаянными пройдохами. Орловский первой гильдии купец «Атяич», вогнавший двух жен в гроб, разоривший тестя, обманувший зятя на приданом, обвешивавший и обмеривавший напропалую покупателей в своем магазине и тянувший жилы из бедноты, оставлявшей ему вещи под заклад, был строителем часовни и ктитором богатой церкви, досконально знал церковную службу, мог бы поспорить с баккалавром духовной академии насчет того, когда обыкновенная литургия заменяется литургией преждеосвященных даров, и когда литургией Василия Великого, наизусть мог прочесть чуть не весь псалтырь и половину часослова.

В период кратковременной религиозной возгонки и спиритуализации моей полуварварской и совсем купеческой веры, — что со мной случилось лет в двенадцать, — я принялся

было идеализировать как истинного христианина нашего гимназического законоучителя. Через год, накануне моего религиозного кризиса, я был страшно разочарован, убедившись, что этот сладкоречивый с иисусистым лицом иерей, женатый ради денег на некрасивой как смертный грех поповне, обуревался самыми «плотскими» вожделениями к губернским дамам и неистово ухаживал за гимназистками старших классов, пользуясь исповедью для задавания им очень нескромных вопросов, а с другой стороны был отчаянным карьеристом и вечно наушничал директору на учеников и учителей, стараясь везде выслеживать «неблагонамеренность».

Наоборот, малоискусившиеся в таинствах веры и суеверий люди нашего круга в общем были гораздо порядочнее других. (Из знакомых мне лиц едва ли не одна моя бабушка была очень религиозным, очень суеверным и вместе очень добрым существом). Я не буду говорить о своем отце, прямодушном и очень честном человеке: если сам он был почти неверующим, то все же требовал от нас исполнения обрядов. Но, например, моя мать, добрая, хотя и слабая женщина, всю свою веру изливала в пении каких-то полураскольничьих духовных стихов. Тетя Мотя, оставшаяся хорошим, немного восторженным существом до конца жизни, отдавала дань традиционной религии лишь тем, что наскоро крестила свой лоб утром, а праздничные дни шла в собор послушать архиерейских певчих. Дядя Саша, добродушный толстяк, помогавший кому и чем только мог, любил даже вольтерьянствовать, по возможности уклонялся от посещения церкви, и даже на домашних молебнах, которые отслуживались при помощи местного причта в некоторых торжественных случаях нашей жизни, появлялся только для того, чтобы пожать руку священнику и пригласить его вечером на пульку. Моя любимая старушка-няня, прославившаяся тем, что отказалась по доброте душевной подать жалобу на одного нашего родственника, молодого кутилу, который взломал ее сундук с несколькими десятками рублей, сбереженными ею за длинные годы служения, все свои отношения

к божеству сводила к повторению двух слов: «Господи Исусе», а на счет ада выражалась очень скептически, хихикая и хитровато подмигивая своими добрыми выцветшими глазами: «Да, милые, там, сказывают, жарко будет, разожгут сковородку, вот как мы на масляной для блинов, да и заставят тебя, грешную, лизать языком... Сойдет одна кожа, что рукавица, а там уж новая на твое мученье выростает... Такие-то дела на том свете».

И, наконец, когда вредные идеи стали разливаться в нашем городе, мы скоро узнали, что как раз те загадочные личности, которых большинство обывателей называло безбожниками, — один адвокат, один член управы, один доктор, одна акушерка, один служащий в городском банке и т. п. — были на редкость добрыми и услужливыми людьми, всячески помогавшими солдатским вдовам, нуждающимся учащимся, бедному мещанству и крестьянству окрестных деревень.

Поэтому, когда у меня и моих товарищей, живших при одинаковых условиях, глухо бродившие религиозные сомнения ярко вспыхнули под влиянием исторического для нас спора с Никольским, душевный кризис развернулся у нас с большою силою и продолжался месяцы, но в общем не затрогивал всего нашего существа. Наша мораль не основывалась на нашей вере, а вырабатывалась из чувств простой человеческой солидарности и симпатии. Те из нас, которых сама жизнь учила не быть эгоистами, не нуждались в религии, чтобы быть порядочными людьми. Общение с простым трудовым народом, — для меня, например, с трепачами и прядильщиками на заводах моего отца и полуголодными мещанами-соседями, — сделало нас более восприимчивыми к чужим горестям и радостям, чем та мешанина полухристианских, полуварварских представлений, которая была верою для большинства людей нашей среды.

Наш кризис был поэтому не столько нравственным, сколько умственным. И прежде всего он нес нам освобождение от всего этого чертобожия, которое окружало нас с

утра до вечера, давило своими страхами и превращало в дикарей своими легендами. Троеручицы, рочные, куфизьмы, скуфьи Тихонов Задонских, святые щепочки, — все это рушилось вместе с противоречивыми, как будто что-то об'ясняющими, а на самом деле только заушающими здравый смысл формулами официального христианского богословия, которое пытался нам вбить в голову «батька-иезуит» на уроках катехизиса, богослужения и истории церкви.

И три бога, и один, и предвечно существующий, и предвечно рождающийся, и человек, и бог, и неслиянно, и нераздельно, и матерь, и приснодева, и мы, грешные, то обладающие свободною волею, то игрушки в руках Того, без чьей воли и волос не спадет с нашей головы, и все эти наивные чудеса воскрешения, насыщения тысяч несколькими хлебами, хождения по водам и еще более наивные чудеса житий святых, — ничуть не хуже и не лучше тех удивительных приключений, которые происходили и днем и ночью с кем-нибудь из людей нашей среды в бане, в лесу, на реке, на кладбище, даже у себя на постели, — все это одновременно бледнело, уходило в область сказок в нашем пробуждавшемся уме и уступало место жажде правды и знания.

Словно огромный порыв освежающей бури распахнул двери, разбил окна в мрачном здании нашего пантеона или нашего пандемониума, и мы жадно вдыхали чистый воздух, врывавшийся клубами в затхлую и спертую атмосферу традиционных представлений. То была поистине «веселая наука», возвещавшая «смерть Бога» (для нас — смерть богов и чертей), как выразится позже Ницше. И в этот период всякий свободно мыслящий человек, всякая смелая речь, всякая свежая книга рассматривались нами прежде всего под углом зрения нашего воинствующего атеизма, фазу которого мы переживали дружной и радостной семьей единомышленников и единоверцев. У нас воистину загоралась новая вера, вера в свободное человечество, наконец-то сбросившее с многовековых подножий своих старых, покрытых мохом почтения

идолов. Русские легальные переводы Фогта и Молешотта, русские нелегальные переводы Фейербаха (помню один особенно трудный перевод «Сущности христианства») и Бюхнера, а для знавших иностранные языки подлинники, были предметом нашего постоянного чтения и обсуждения. Вспоминаю, с каким восторгом мы штудировали Бокля, разрушавшего у нас веру в метафизическую свободу воли, подставлявшего вместо нее понятие о всемогуществе законов природы и критиковавшего действия высшего шотландского духовенства, которое предписывало всенародное моление и пост против холеры, словно в средние века или у какого-нибудь варварского племени. Для нас Бокль был прежде всего учителем атеизма, и мы были бы, конечно, крайне огорчены, если бы узнали, что тот же самый свободомыслящий автор «Истории цивилизации в Англии», потрясенный смертью матери, выдвинул в своем разборе Милля в защиту бессмертия души тот аргумент, что иначе была бы нестерпима для сознания человека мысль о вечной разлуке с любимыми существами. По счастью мы не знали этого...

И в Писареве мы любили в это время прежде всего учителя атеизма и с восхищением перечитывали его ироническую оценку скептика Юма, который во время путешествия по Франции попал однажды в общество образованных людей, где никто не верил в Бога: «Великий шотландец повесил свой великий нос» — эта фраза казалась нам верхом остроумия.

V.

Местные кружки и местные революционеры. Зайчневский, Арцыбушев, Ашанина.

Но скоро наш атеизм стал тем не столько философским, сколько «социальным атеизмом», который Ланге видит у Дидро в первый период его деятельности, когда знаменитый энциклопедист боролся с Богом, «признанным в существующем обществе, в государстве и церкви, в семье и школе». Богу на небе и сатане в аду соответствовали различные

власти на земле, то есть император Александр II в столице, помещик в деревне, купец на фабрике, директор в гимназии и отец дома. Против всех этих лиц направлялся теперь наш протест. Наш, то есть того кружка или даже нескольких родственных кружков, которые образовались вскоре у нас в 1872 году в Орле и стали очагами местного революционного движения. Уезжая в Питер, Никольский отрекомендовал нам кое-кого из «развитых» свободомыслящих семинаристов, гимназистов и кадетов, о существовании которых мы и не подозревали и благодаря которым мы скоро отыскали не мало единомышленников. В течение четырех-пяти лет, которые мне оставались до окончания гимназии и которые я провел в чаду первого революционного брожения, я был зрителем того, как из молодежи выростали, раскалывались и снова составлялись кружки, и сам проделывал с другими всю эту эволюцию.

Вначале были только кружки бунтарей, учеников Бакунина, и «федералистов», державшихся за Лаврова. Первые группировались около очень способного, но, как вскоре оказалось, мало устойчивого и сробевшего на первом же жандармском дознании Митрофана Гриценкова, сына нашего гимназического директора.. Вторые шли тоже за гимназическою славою, первым учеником старших классов, Чеботаревым, шансы которого, хотя и арестованного к тому времени, быстро поднялись после разочарования товарищей в Гриценкове. Из тех и других кружков часть членов вошла в великое, не по абсолютному числу деятелей, а по идейному значению, движение в народ 1874 г. Надо кстати сказать, что название «сумасшедшего лета», пущенное позже кем-то из современников, совсем не употреблялось самими участниками. Да и как эти люди могли бы так характеризировать тот удивительный порыв, который бросил их в сермяжное море трудового народа, когда наиболее скептичные между ними ждали революции к началу осени, а многие приурочивали победу над старым строем уже к середине лета, скажем, к Петрову дню?

Во время этого похода Орел был одним из пунктов сосредоточения пропагандистских сил России. Из местных дворян вышел знаменитый в свое время Рогачев, имя которого всего чаще упоминалось вместе с именами Войнаральского и Ковалика в ряду деятелей центральной и восточной России. Но то были для нас, подростков, старшие богатыри, своего рода Святогоры и Микулы Селяниновичи движения, о которых лишь с энтузиазмом говорилось в наших кружках, но с которыми мы не состояли в сношениях, хотя в течение нескольких недель наш город был генеральной квартирой одного из отрядов, двинувшихся в народ. После разгрома движения 1874 г., кроме бакунистов и лавристов, в Орле появились якобинцы - ткачевцы, а осенью 1875 года вместе с бакунистскими брошюрами и журналом «Вперед» в Орел пришли первые номера «Набата».

Но я забегаю вперед, к тому времени, когда мы стали уже убежденными социалистами и революционерами. Мне бы хотелось немного остановиться на первоначальных годах нашего развития, потому что эти фазы проделывало в то время все молодое поколение России.

В памяти выплывают фигуры первых идейных товарищей и некоторые сцены из существования нашего первого кружка. Живо припоминаю крошечного ростом, но обладавшего большой энергией гимназиста пятиклассника Радина, который отвоевал у отца, обанкротившегося богатого торговца, полную свободу знакомств, был в сношениях со старшими революционерами и считался специалистом по отыскиванию статей (включая сюда псевдонимные и анонимные) Добролюбова, Чернышевского, Антоновича, Писарева, Зайцева в старых журналах. Благодаря оставшимся в сундуке моего отца от периода его либерализма разрозненным годам «Современника» и других журналов 60-х годов, равно как в результате неутомимой ловитвы Радина по разным старым коллекциям, мы с ним успели составить чуть не полное собрание статей этих авторов и чрезвычайно гордились этим. Пусть не забывает читатель, что сочинения Чернышевского были в это

время запрещены, и самое имя его предано анафеме. Отдельные же издания Добролюбова и Писарева, вследствие огромного спроса на них молодежи, были раскуплены, составляли библиографическую редкость и с трудом выдавались из местных библиотек.

Кстати сказать, за принесенный мною в гимназию том Добролюбова со статьями об Островском я чуть было не был исключен, и директор с необычным ужасом, но с обычным свистом прочел из книги несколько раз подряд моей матери, явившейся выручать сына в гимназию, показавшуюся ему невероятно революционной фразу: «В темном царстве закон есть, воля самодура!»

— Понимаете, сударыня-с, то, выше чего нет в мире, закон, да-с, закон, — и директор показывал перстом не то по направлению к Питеру, не то в небо, — и вдруг об'является волей самодура... Вы понимаете, сударыня-с, высочайшая воля — и воля самодура?! Вы понимаете, о каком самодуре может быть речь?!..

И несмотря на мои попытки об'яснить перепуганному педагогу, что тут дело идет просто о самодурстве купцов из Островского, директор еще долго витийствовал на тему о дерзком мальчишке Добролюбове, развращающем умы всероссийского юношества.

Как бы то ни было, мы гордились с Радиным, что в библиотеке нашего кружка есть даже знаменитый роман «Что делать» из «Современника» 1863 г.

Естественными науками ведал у нас исключенный реалист Подарский, милейший, но неуравновешенный юноша, который несколько лет спустя кончил жизнь самоубийством, мучась сознанием, что мало принес пользы людям, и именем которого я воспользовался много лет спустя, подписывая им мои обозрения «Текущей литературы» в «Русском Богатстве» начала этого века. Подарский был изрядно знаком с Фогтом, Молешоттом, Бюхнером, Дарвином, Гексли, Тиндалем из иностранцев, а из русских с знаменитым в то время физиологом Сеченовым, о котором в революционных круж-

ках передавалось почти шопотом, что его сам Чернышевский изобразил в «Что делать» под именем Кирсанова. Подарский же по большей части читал нам и рефераты по естествознанию, которое нами тогда очень почиталось, как основание нового нашего мировоззрения.

Но не забыты были и социальные науки. В помещении нашего кружка, ютившегося обыкновенно в самых бедных квартирках городских слобод, Пушкарской, Монастырской, Покровской, жил постоянным хозяином и библиотекарем старший из всех нас по возрасту «нелегальный» Архипов (не то бывший студент медик, не то ветеринар) высокий, красивый, чахоточный юноша, с карими глазами и черной бородкой, напиравший больше на социальный вопрос и доставлявший нам от заправских революционеров заграничные издания бакунистов и лавристов. Мы читали и обсуждали с ним Кетлэ (человеческое общество подлежит известным законам!); Кольба («злоупотребление властью относится к самой власти, как действие к причине»!); Дрэпера (человечество переживает разные стадии развития: якобы против католицизма, а на самом деле против всего христианства!); «Азбуку социальных наук» Флеровского (плохо понимали, но очень одобряли, ибо не надо войн, а надо «плодить жизнь на земле»!); его же «Положение рабочего класса в России» (эту книгу внимательно читали и очень любили); «Историю социальных учений» Щеглова (негодовали на автора, но при помощи его знакомились с социалистами), и т. п.

«Государственность и анархия по Прудону» была проглочена с восхищением и превратила временно всех нас в анархистов. Лавровский «Вперед» читался с надлежащим почтением, но понимался порою не без усилия, проповедь же сначала учиться, а потом делать революцию, хотя соответствовала той жажде знаний, которая обуревала нас в то время, но ввергала вместе с тем нас: кого в уныние, — «да когда же узнаешь все это?», — кого в негодование, — «разве можно ждать, когда народ вымирает?» Но лавровская (анонимная) книжка о самарском голоде произвела на всех

нас сильное впечатление. Особенно же дорог был нам Лавров своими «Историческими письмами», первое отдельное издание которых, перепечатанное за несколько лет до того с небольшими изменениями из «Недели», стало нашей настольной и, если так можно выразиться, подызголовной книгой, а имя Митрова (псевдоним Лаврова) повторялось в провинциальной глуши с таким же умилением, как имя Чернышевского. Ибо «Исторические письма» говорили нам об огромной цене, которую человечество заплатило за свой прогресс, о долге, вытекающем отсюда для критически мыслящей личности по отношению к трудящемуся большинству, к народу. А проповеди личного усовершенствования «мыслящего реалиста» во вкусе Писарева с его предпочтением естественных наук противоставляла требование выработки из себя деятеля общественного прогресса, изучившего социальное развитие человечества и понявшего различие косной культуры от облагораживающей и проникнутой сознательною идеею цивилизации.

Политической экономией пришлось заняться более других мне. Не то чтобы остальные не интересовались этой наукой, — мы ее положили теперь вместе с естествознанием в основу нашего мировоззрения, — но я почему-то в это время считался среди товарищей по самому положению своему (тоже, видите ли, своего рода классовая точка зрения!) более способным к ее усвоению и к чтению рефератов из этой области. Кружок наш знал, действительно, что я был не только сыном довольно крупного купца, но с двенадцати до четырнадцати лет, уже будучи в средних классах гимназии, был приставлен отцом в качестве бухгалтера, вернее сказать, счетчика, — отец никакой ученой, особенно двойной бухгалтерии не признавал*), — к записи сработанной нашими трепачами и прядильщиками пеньки и пряжи, приходившейся им заработной платы и внесению в наши простые торговые книги количества покупавшегося и продававшегося нами коноплян-

*) „Это только для мошенников годится: растранжирил и свои, и чужие деньги, а все на обеих сторонах книги один итог стоит", — наивно жаловался он.

ного масла, льняного семени, разных зерновых хлебов, а впоследствии, — с покупкой отцом большой рощи на свод, — и лесного материала.

Надо сказать, что эти мои подневольные занятия, под руководством очень строгого и до невероятности вспыльчивого отца, все эти окрики и заушения за малейшую цифровую ошибку оставили у меня по себе такое отвращение, что отбили навсегда охоту заниматься практическими делами. И до сих пор, как только какой-нибудь теоретический вопрос переходит в область практики, я теряю к нему интерес и начинаю очень мало понимать. Как Карась в «Бурсе» Помяловского, я поставил себе в этом отношении «на веки нуль в нотате» и, стыдясь своей деловой беспомощности, могу только совершенно искренно и не без зависти восхищаться практичностью других. Пусть читатель не подумает, что я рисуюсь этими теоретическими не от мира сего привычками ума. Наоборот, я вижу и у самого себя, и у многих, порою даже выдающихся интеллигентов, и русских, и заграничных, очень большой недостаток именно в нашей непрактичности, в неспособности осуществить мысль. Такие люди могут прекрасно обращаться с идеями, раскладывать сложный идейный граппасьянс, но они не умеют обращаться с вещами, то есть именно с тем, в чем могут выразиться конкретно идеи. Не от того-ли и социализм так плохо осуществляется до сих пор? Будем надеяться, что количественное и качественное усиление рабочей интеллигенции и изменение духовного склада интеллигенции интеллигентной изменит к лучшему это печальное положение вещей... Но я отклонился несколько в сторону.

Развив во мне довольно неожиданным образом идиосинкразию непрактичности, эти занятия не то приказчика, не то счетовода, заставили меня, однако, поближе столкнуться с жизнью рабочего люда и увидеть, какое это серое, беспросветное, мучительное существование. Теперь, когда я записывал: «25-го июня 1873 г. Николаю Шахову за 2 пуда сработанной пеньки 1-го сорта по 25 коп. с пуда — 50 коп.

серебром», я знал, что значит эта нищенская плата за этот каторжный труд трепача. Я знал, что этот 35-летний орловский мещанин, еще так недавно считавшийся первым силачем и кулачным бойцом всей Покровской слободы, а теперь поражавший своим испитым лицом и вечно кашлявший, — «бухавший», как говорили его соседи, — за работой, становился летним утром часа в 2—3 за свой «напол» (легкую полую кадку, на которую навешивалась обрабатываемая пенька), брал в руки «горсть» пеньки и начинал бить по ней «треплом», гладить ее «чапелем» (тупым широким ножом), подрезывать ее острым ножом, складывать из таких горстей «пробойки», и с небольшим перерывом в полдень продолжал, как дятел, долбить своим инструментом до поздней ночи.

Утром в трепальном сарае было холодно, днем невыносимо жарко. И тогда все эти трепачи, все эти Николаи Шаховы, Ваньки Рыжковы, дяди Митричи снимали с себя всю одежду, надевали длинные холщевые фартуки и, почти голые, обливаясь потом, боролись бесконечными часами с упрямой пенькой, отдирая от нее «кострику», взлетавшую в воздух и наполнявшую все помещение мириадами пылинок, которые ярко горели на солнце, когда вечером оно бросало свои огненные косые лучи в огромный сарай. Люди поминутно кашляли, пыль проникала в рот и нос и образовывала в носу черные залежи. (Для их умягчения у трепачей имелись лежавшие тут же сальные свечи, от которых они отламывали изрядные куски и отправляли в нос). У привычных специалистов вырабатывалось особенное профессиональное дыхание при работе: занося трепло, люди старались дышать носом; опуская его, они выдыхали ртом со свистом, пытаясь таким образом рассеять бесчисленные мельчайшие отбросы.

У прядильщиков было свое трудное дело, когда рядами они пятились назад от огромных лубочных колес и «органов» (колесо поменьше, из дерева, и с большим количеством крючков) с клоком пеньки или пакли на руках в отдаленный конец длиннейшего сарая, — а то и просто по пустоши, —

стараясь не разорвать и не спутать пряжи, между тем как подростки изо всех сил вертели колеса.

Как будто здоровее была работа пильщиков, в лесу, на чистом воздухе, но она требовала огромного напряжения мускулов рук, ног и спины, особенно у верхних продольных пильщиков. И в бесконечно длинный летний день люди изматывались до такой степени, что к Петрову дню просились обыкновенно в побывку домой. Тогда как в прядильщики шли по большей части городские мещане, в трепачи же нанимались мещане и жители окрестных, а порою и довольно далеких деревень, пильщики почти всегда были крестьяне и принадлежали в наших местах к наиболее бродячему и здоровому составу сельского населения. Сильные, редко грамотные и мало культурные, они жили своеобразной полудикой жизнью и отличались некоторыми бросавшимися в глаза особенностями. Они были рослее и крепче крестьян-пахарей, ели очень много. И я помню, как в книжке харчей, забиравшихся ими из находившейся в лесу же хозяйской лавки, одного хлеба, кроме всякого привару, приходилось на душу в среднем не менее пяти фунтов в день. Те, что покрупнее, с'едали до 7 фунтов, а один огромный мужик славился тем, что в длинный летний день доходил до 13 фунтов (sic!).

Развлечением в их однообразной уединенной жизни были здоровые попойки и борьба на поясах. В лесу они разбивались на отдельные артели человек по 10—15 и жили дружно сообща, нанимая особую здоровенную и добродушную бабу-кухарку, по большей части солдатку или мирскую вдову, которой полагалось, по идущему с незапамятных времен обычаю, удовлетворять все нехитрые потребности своей артели. Я улыбнулся, когда несколько лет спустя прочел описание полиандрии в Тибете, создавшей и особый идеал женской красоты: могучей, расторопной работницы, которая умеет управлять, как следует, своим мужским ульем. Пильщики на границе Орловской, Тульской и Калужской губерний

в мое время распевали во славу своих бобелин песни, которые сделали бы честь поэтам Тибета:

У нашей у Дуни
Ноги, что дубы,
У нашей у Дуни
Груди, что гыри (гири).

Когда пильщицкие жены приходили в большие праздники на несколько дней к своим мужьям, тут было столованье и великий пир. Но артель подняла бы на смех тех баб, которые бы вздумали ревновать своих сожителей к кухарке. Наоборот, пришедшие выказывали знаки особого расположения к пильщицкой «матке». И когда, нарочно с'ев несметное количество селедок для возбуждения жажды, чтобы послаще отвести душу чайком, и здорово подвыпив, артель приходила в праздничное настроение, жены считали за честь пройтись в веселой плясовой с общественной стряпухой.

Меня, прошедшего полный курс наук в русановской дворне, никакие лесные идиллии не могли особенно шокировать. Но глубоко меня трогало, как та же мирская кухарка с самоотвержением ухаживала за заболевшим пильщиком или тащила на своих закорках сломавшего ногу подростка до ближайшей деревни, чтобы нанять подводу и отправить к фельдшеру.

И все больше и больше росла у меня любовь к простому человеку, к трудовому люду, о великой роли которого говорила в то время вся легальная и нелегальная литература, и недостатки которого, — его исполненное суеверий невежество, его грубость в семье, его робость перед становым (тогда еще земских начальников не было), его ухаживанье за кулаком, — мне были так понятны, потому что я видел всю нестерпимую тяжесть его жизни.

С замирающим от радостного волнения сердцем я летом 1874 г. впервые повел «пропаганду» среди любимых мною пильщиков на лесной — ныне сведенной — даче моего отца «Житково», возле станции Оптуха, Московско-Курской железной дороги (Мценского уезда Орловской губернии) и впервые старался подобрать какие-нибудь знакомые народные

аккорды на гармонике, на которой я играл в то время недурно, к песне «Вставай, подымайся рабочий народ» из «Вперед». Тогда же я и сам написал, под впечатлением чтения Костомарова о бунте Стеньки Разина, стихотворение:

Я над Волгой сидел,
Я на волны глядел,
Как катились они чередом и т. д., —

которому посчастливилось, так как местные кружки, а не один только наш, почувствовали ко мне симпатию, как к мятежному поэту, и оно перепечатывалось не один раз в заграничных и выходивших в России сборниках революционных песен.

Себе землю возьмем,
Себе волю найдем,
Постоим друг за друга горой! —

восклицал я в стихотворении устами воскресшего Разина, хотя общество «Земля и Воля» еще не существовало. Но эти слова, очевидно, носились в воздухе, а может быть, я и читал что-нибудь в это время об обществе с таким же названием в 60-х годах.

Приблизительно тогда же я в подражание Флеровскому, изображавшему в своем «Положении рабочего класса в России» житье-бытье разных групп трудового населения, пытался описать в рефератах жизнь орловских трепачей и мценских пильщиков. А от мужиков, которые приезжали к моему отцу продавать пеньку и хлеб или «сливать» конопляное масло, старательно узнавал и записывал данные по ходившей тогда в центральной России очень хорошей программе собирания сведений о современной деревне: сколько у вас душ крестьян? сколько крестьянских дворов? какой надел на душу? сколько снимают земли? сколько подушных? сколько выкупных? есть ли подсобные промыслы? и т. п. Кто был автор этой программы, нам не было известно, но в свое время, в начале 70-х годов, она пользовалась большой популярностью. И когда несколько лет спустя журнал «Слово» напечатал (в 1878 году) подобную же программу, мне последняя показалась много слабее. Заметьте, в то время наша образ-

ковая земская статистика только что началась, и мы с жадностью старались узнать, как живет мужик, наша тогдашняя ближайшая надежда на революцию...

Как бы то ни было, товарищи по кружку произвели меня в ранг профессионального экономиста, и рефераты по науке о национальном богатстве и народной бедности читал по большей части я. Мы начали, как полагалось, с «примечаний» Чернышевского к Миллю, довольно быстро прочли первый том и усердно принялись за второй том, который обыкновенно редко читался в кружках и который, к счастью, имелся у нас не в искаженном цензурой тексте «Современника», а в заграничном издании, где Чернышевский по поводу критики социалистических систем Миллем развивал свои взгляды на организацию будущего общества.

Помню, какое деятельное участие в наших первых рефератах по политической экономии принимал будущий небезызвестный драматург-режиссер Евтихий Павлович Карпов, тоже из орловцев, бывший года на два старше меня и прославившийся, между прочим, тем, что собственноручно стачал себе превосходные сапоги. Кому же как не ему и книги в руки вместе с этими сапогами? Он воочию, самым примером своим, показывал, что значит «производительное», и что значит «убыточное потребление»!

Но в это время, как пороховая дорожка, начала бежать среди русской интеллигенции из столиц в большие провинциальные центры, из центров по всем городам и весям весть о новой великой книге, «Капитале» Маркса, которая как бы отменяет весь старый экономический завет и вводит новый. Заметьте, мы в первой половине 70-х годов. На русский язык «Капитал» был переведен года три или четыре назад, но наша официальная наука обратила на него мало внимания. Статья о нем Кауфмана в «Вестнике Европы» прошла почти незамеченной. О Марксе читал в то время лишь Н. И. Зибер в Киеве, и только приготовлялся читать А. И. Чупров в Москве. Но чуткая молодежь, отчасти под влиянием вестей от эмиграции и от своих товарищей, живших

заграницей, особенно в Цюрихе, скоро поняла значение этой книги. Жандармы с удивлением начали почти при всех обысках рядом с чисто агитационной литературой находить и «Капитал» Маркса. «Странное дело, — думал не один из ловцов человеков, — не революция, а политическая экономия; станешь читать — непонятно; ни Бога, ни царя не трогает: товар, деньги, и опять товар, молодежь же видимо что-то вычитывает из книги...»

Надо было садиться за Маркса и нашему кружку. Толстая книга в красноватой обложке была прислана нам старшими товарищами из Москвы с аттестацией: «Трудно, особенно вначале, но необходимо», благоговейно разрезана и по общему решению передана мне, чтобы я старался уразуметь, а когда уразумею, начал бы читать рефераты по Марксу. И вот я за Марксом. У меня билось сердце, когда я приступал к чтению книги: мне было 14—15 лет, и я верил, что в «Капитале» я найду разгадку всей жизни, решение всей задачи революции; вместе с тем я чувствовал огромную ответственность перед товарищами, почтившими меня доверием.

О, какие горькие минуты сомнения и разочарования я пережил на первых страницах! Проклятое лицедейство двух товаров — холста и сюртука — и «формы» общения, в которые эти две бездушные вещи вступали на мою погибель, — и простая, и развернутая, и развернутая обратная, и, наконец, денежная, — все это обволакивало мою голову туманом, и на каждом шагу я ловил себя на вопросе: почему сие важно? Словом, я не понимал, и все, что я знал из политической экономии по Миллю с примечаниями Чернышевского, ничуть не способствовало моему разумению. Мало помогало и приложенное самим Марксом к концу книги упрощенное изложение первой главы; оно было еще отвлеченнее, чем сама глава.

Приходилось идти дальше. К счастью, с главы, где на сцену появлялась прибавочная стоимость, становилось легче. И чем больше я продвигался в «Капитале», тем более

абстрактное изложение наполнялось конкретными, уже самими по себе интересными подробностями. И общий смысл книги выяснялся и вырастал в виде огромного обобщения экономических фактов нового и новейшего времени. Не помню, с какой страницы я сообразил, — и очень возгордился этим, — что формы обмена товаров в первой главе надо было понимать не отвлеченно, как что-то такое, что творилось в голове мыслителя, а исторически, как ступени, по коим обмен товаров проходил в человеческом обществе, начиная с первобытных времен, когда дикие племена случайно обменивались между собою то тем, то другим товаром (первая форма) и вплоть до той поры, когда целый мир товаров развернулся обширным строем и стал притягиваться одним общим магнитом: золотом, деньгами (денежная форма).

Много лет спустя, находясь заграницей, я узнал от Лаврова, что Маркс дал одному из членов генерального совета первого интернационала, кажется Юнгу, экземпляр «Капитала» с подробными разметками, как надо было для лучшего понимания читать книгу. Первая глава приходилась, например, на середину, а историческая часть из второй половины тома переходила в первую, — что вызвало забавный диалог между полуфурьеристом, полубакунистом Жоржем Лефрансэ и зятем Маркса Шарлем Лонгэ.

Жорж Лефрансэ. Нет, лучше и не говорите мне! «Капитал» из рук вон плохая книга... Что понятно, то размазано в ней до чрезвычайности, — все это мы знали раньше из сэн-симонистов и Прудона, — а что претендует на новизну и оригинальность, то является самой настоящей китайщиной... Хоть тысячу раз читайте, все равно ничего не поймете, потому что и понимать-то нечего: никакого реального содержания... Нет, ваш тесть — ученый китаец!..

Шарль Лонгэ (размахивая своими бесконечно длинными руками и затопляя оппонента потоком быстро льющихся фраз). Жорж, вы неправы. Я люблю сэн-симонистов и остался прудонистом, несмотря на прямое и косвенное влияние Маркса... Но Маркс гениален, Маркс свел в одно и заострил

все содержание предшествующих социалистов и экономистов, он убил их, он их упразднил... Надо, конечно, уметь читать Маркса... Ах, если бы у вас в руках был экземпляр, который мой тесть подарил Юнгу, собственноручно разметив, как читать, с чего начинать, к чему переходить и чем кончать... Это непостижимо, это грандиозно, это увлекательно... «Капитал» — великая книга!..

Лефрансэ. Ну, и выходит, что ваш Маркс — китаец... Кому же еще придет в голову напечатать книгу *так, как ее не следует читать*? Отчего же он не написал ее так, как размечал? Нет, наш брат француз так не поступит: прохвост и контр-революционер был Ривароль, а сказал великую истину: что не ясно, то не по французски...

Когда я читал впервые Маркса, я не знал этого анекдота. Но я ощущал, что с каждым шагом вперед я поднимаюсь куда-то, все выше и выше, и все лучше, как с горы, схватываю общую перспективу обширного мира экономических явлений. Уже с половины книги я попробовал читать о ней рефераты членам нашего кружка. Но мои чтения скорее заинтересовали, чем убедили товарищей, а большинство осталось верно Чернышевскому, считая даже, что для нас, согласно примечаниям к Миллю, важнее знать, что капитал, как совокупность орудий производства, всегда создается трудом, а потому должен и принадлежать ему, чем видеть в капитале лишь враждебную в данный момент рабочему историческую форму производства.

Но нет худа без добра. Мой малый успех в нашем кружке по части популяризации Маркса был косвенной причиной знакомства моего с людьми иного направления, чем бакунисты и лавристы. Когда среди наших маленьких революционных ульев пошла весть о том, что в одном из них есть такой себе бунтарь, который прочитал, однако, весь «Капитал» и считает его за начало всей экономической премудрости, то со мною пожелали познакомиться члены кружка, стоявшего в стороне от остальных, но возбуждавшего в нас

смешанные чувства неприязни и вместе невольного почтения, сосредоточивавшиеся главным образом на его руководителе.

То был Петр Григорьевич Зайчневский, при котором ад'ютантом, как в то время любили выражаться, состоял Василий Петрович Арцыбушев, членами же кружка были преимущественно местные гимназистки и их родственницы, побывавшие уже на кое-каких только-что начавших возникать тогда в столицах высших женских, а то и просто фельдшерских курсах (мы называли их немножко иронически «женами-мироносицами»), один-два подпоручика местного гарнизона и несколько кадет.

Кружок Зайчневского резко отличался от всех орловских кружков тем, что состоял из «якобинцев», которых вскоре мы стали величать без особого протеста с их стороны «ткачевцами» и, с выходом в свет «Набата», «набатчиками». Якобинские идеи были в то время вообще очень непопулярны в России. Но влияние самого Зайчневского оставило немалые следы на некоторых из будущих видных деятелей русского революционного движения.

Когда я познакомился с Арцыбушевым, а через его посредство с Зайчневским, мне было лет 15—16, и я должен теперь очень тщательно припоминать свои тогдашние впечатления от встреч с Петром Григорьевичем, чтобы не стать жертвою исторической перспективы, сближающей в прошлом довольно отдаленные вещи, и не приписать самому Зайчневскому те якобинские идеи, которые в течение долгого времени составляли заметную часть моего мировоззрения и которые, может быть, порою бессознательно проявляются у меня и теперь.

Зайчневский представлял собою яркую, цветную фигуру. Когда я познакомился с ним, то был высокий, плотный, но не толстый, прекрасно сложенный мужчина, лет 35—40, могучую черную шевелюру которого и черную же окладистую бороду прорезали еще редкие, но все же заметные пряди седых волос. Под большим широким лбом светились умом и слегка иронией темные, очень выпуклые, страшно

близорукие глаза, которые забавно выглядывали немножко вкось из-под густых бровей, когда он читал что-нибудь, совсем близко приставив книгу или газету к лицу. Ироническое движение змеилось у него и вокруг хорошо очерченного рта с несколько толстыми губами, которые отчетливо выговаривали слова его быстрой, плавной, красивой речи.

Зайчневский был прирожденным оратором. Он не только складно говорил, но прекрасно управлял своим звучным баритоном, выходившим легко и свободно из мощной груди. Когда он воодушевлялся, — а с ним это случалось нередко, — то его речь, может быть, немножко напыщенная и не совсем по русски торжественная, приводила в волнение молодых слушателей, и даже те из нас, которые враждебно относились к якобинизму, оставались некоторое время под его впечатлением.

Что он говорил? Вот это вопрос более сложный, и я не ручаюсь, что могу в достаточной цельности воспроизвести взгляды Зайчневского. Да и свел ли он сам во всем концы с концами? Несомненно, он был прежде всего политический революционер, и в значительной мере заговорщицкого типа. Он недурно знал историю, особенно историю революционных движений и, конечно, прежде всего историю ее, великой, несравненной, единственной, — как он часто в пафосе восклицал, — Первой французской революции. Он прочитал в подлиннике Твера, Минье, Ламартина — сомневаюсь, чтобы Мишлэ, — и цитировал целыми кусками наизусть речи великих ораторов 1789—1794 г.г. по Луи-Блану. Сэн-Жюст и Марат были его любимыми героями, — Робеспьера он странным образом оставлял в стороне, — и, когда он эффектно бросал какую-нибудь грандиозную фразу этих деятелей, он, казалось, сам представлял себя членом конвента. Кстати, он любил произносить иностранные имена на французский лад, и даже порою вместо Луи-Блан говорил Люи-Блян. В то время как все мы еще говорили немножко по семинарски «буржуа́зия», он неизменно произносил это слово «буржуази́я» и даже совсем на французский манер «буржуази́». Мы его

считали за инородца, за знатного поляка (я только впоследствии узнал, что он был чистокровный русский), вероятно, отчасти за его фамилию, отчасти под влиянием тех страшных разговоров, которые велись между нашими отцами об этом диаволе в человеческом образе, этом змие-искусителе молодого поколения, что незадолго перед тем вернулся из Сибири и поселился в Орле. Даже местная администрация (кроме всеведущего жандармского полковника) видела в нем знатного повстанца, и некоторые из чиновников рассказывали в орловских «салонах», как на «аристократических, непривычных к труду руках и ногах» Зайчневского виднелись еще до сих пор кольца от сибирских кандалов. Сам Зайчневский не особенно любил рассказывать о своей зауральской жизни. Мы знали только, что он отбывал каторжные работы в течение семи лет и одно время жил вместе с Чернышевским, — теперь не помню, где, по его словам.

Этот политический революционер и заговорщик был вместе с тем и социалист, но, как нам казалось тогда, тоже на чересчур иностранный лад. Любопытно, что, когда он говорил с нами о необходимости в России политического переворота, он видел его главные элементы, его движущие силы в революционной интеллигенции и революционизированном ею войске, с прибавлением лучших людей из общества и отрядов «рабочего класса» в больших центрах, — несомненно, городского пролетариата, а не крестьянства. Повидимому, у бывшего члена «Молодой России» потерялась и та надежда на глухо ропщущий «угнетаемый и ограбляемый всеми» народ, о котором еще говорила резкая прокламация «Молодой России», написанная Зайчневским и его товарищами в начале 60-х годов. Припоминая некоторые разговоры с Зайчневским, я склонен даже думать, что он гораздо менее Ткачева, о котором он говорил, однако, с большим сочувствием, верил в возможность для русской общины явиться отправным пунктом социалистического развития.

Когда я однажды заговорил с ним о важности увеличения крестьянского надела путем отобрания помещичьих зе-

мель во время социальной революции, он с иронической улыбкой достал со своего стола только что вышедший тогда (если не ошибаюсь, весною 1876 г.) «Опыт о крестьянских наделах и платежах» профессора Янсона и показал мне цифры одной из сводных таблиц в приложении.

— Вы видите: крестьянский надел составляет уже и теперь более трети всех земель в Европейской России, а частновладельческая земля — менее четверти. На много-ли улучшится положение нашего мужика, если он к своему участку прибавит помещичью собственность, особенно при той невероятно экстенсивной и хищнической культуре, которая царит на его наделе?.. Нет, тут понадобятся годы работы революционного правительства над нашим крестьянством, чтобы выучить его, как следует, возделывать землю и вообще развить производительные силы в сельском хозяйстве. Иначе ничего не выйдет. Не по Бакунину и не по Лаврову выучится наш мужик социализму. Вы его пропагандируете и агитируете, а он на небо глядит да от Господа Бога хлебушка ждет...

Была в Зайчневском еще одна черта, которая нас особенно сильно раздражала. Революционер, социалист и политический заговорщик, он, однако, далеко не так отрицательно относился к конституции и либерализму, как это делало огромное большинство тогдашних революционеров и даже легальных радикалов в печати. В то самое время, как все мы довольно презрительно отзывались о тогдашних либералах, земцах и прочих очень робких конституционалистах, — о заправской конституции в средине 70-х годов никто и не мечтал в этих кругах, — якобинец Зайчневский считал нужным поддерживать связи с представителями общества и пользовался среди них немалым успехом. Обладавший эффектною наружностью, хорошими манерами и редким уменьем говорить, он производил впечатление на либеральных земцев и городских служащих, а особенно на их жен и сестер, среди которых находилось не мало его платонических поклонниц, порою оказывавших ему существенные

услуги, предупреждая, например, его о готовящихся обысках и т. п. планах местной, а иногда даже и центральной власти.

Занимая, если не ошибаюсь, место секретаря губернской земской управы, он стал неоффициальным лидером левой оппозиции. Он очень ловко пользовался чтением протоколов заседания, чтобы ввертывать дельные замечания, а порою даже произносить небольшие, но яркие речи, составляя эти протоколы столь же интересно, сколько тенденциозно, — чем возбуждал ярость правых, — и ухитряясь подготовлять материалы для очередного порядка таким образом, что на первый план неизменно выдвигались вопросы или общего принципиального, или злободневного, ярко политического характера. Левые земцы его любили, правые — ненавидели, но боялись, а все советовались с ним, когда нужно было сделать какое-нибудь важное заявление от земства. Писал Зайчневский вообще хуже, чем говорил, — напыщенность выступала на бумаге резче, чем в речи, — но и написанное им носило всегда отпечаток живой мысли.

Благодаря ли этим успехам в либеральной среде, или по соображениям более общего рода, но Зайчневский стойко держался своей линии поведения. Михайловский жестоко издевался в то время над «ярко вычищенным медным тазом либерализма», — Зайчневский не переставал постукивать в этот таз и порою извлекал из него довольно смелые звуки. Щедрин развенчивал самомнение наших местных Мирабо, сводя их деятельность к «лужению земских рукомойников», — Зайчневский и в этой узкой сфере настраивал оппозиционно лудильщиков.

Все мы, социалисты того времени, и великие и малые, считали якшание с либералами, кроме возможности получать с них деньги на революцию, делом почти зазорным, агитацию во имя конституции — отступлением от нашей великой задачи, изменой народу и социализму. Зайчневский полагал, что работа среди общества необходима, чтобы окружить самое же революционную интеллигенцию защищающими и пи-

тающими ее слоями «сочувствующих» из привилегированных классов. А лозунг борьбы за конституцию казался ему, по-видимому, не противоречащим задачам политического переворота. Конституционное брожение в обществе могло, по его мнению, только помочь захвату власти революционерами.

Через конституцию к революции — так передал бы я, пожалуй, взгляды Зайчневского на этот предмет, если бы не боялся на расстоянии чуть не пятидесяти лет придать чересчур определенный характер тактическим идеям этого умнейшего из русских якобинцев. Он, несомненно, предвосхищал в значительной степени теорию и практику народовольчества, и возможно, что некоторые из его последователей (о чем ниже) в качестве членов сложившейся тремя-четырьмя годами позже партии Народной Воли непосредственно влияли на усиление якобинского течения внутри организации.

В политической экономии Зайчневский считал себя целиком учеником Маркса, «Капитал» которого он хорошо изучил, не игнорируя, впрочем, и некоторых других его вещей. От Зайчневского я получил чрезвычайно редкий в то время русский перевод 1870 г. (его приписывали Бакунину!) «Манифеста Коммунистической партии» и русский же перевод «Гражданской войны во Франции». Оба эти сочинения Зайчневский, кстати сказать, истолковывал исключительно в духе якобинства, революционной диктатуры меньшинства, и полемизировал фактами и выводами из них против лавристов и бакунистов. Впервые от Зайчневского я услышал вскользь и о Бланки и французском бланкизме.

Наперсник и ближайший ученик Зайчневского, Василий Петрович Арцыбушев, бредил, наоборот, Бланки, — я не помню, откуда он почерпал свои сведения о нем, — и считал себя «поэтому» (?) обязанным смотреть на своего учителя со своеобразным фрондирующим благоговением, ну, скажем, как порою Сэн-Жюст смотрел на Робеспьера. Арцыбушев ужасно чтил Зайчневского, но укорял его за недостаток ре-

волюционной последовательности. По мнению Арцыбушева, Зайчневский чересчур много возился с либералами из «общества», от которых все равно, мол, никакого толку не жди. Сам же Василий Петрович «возился» исключительно с «армией» в лице нескольких местных офицеров, и с «революционной молодежью», по преимуществу женского пола. Говорю это без всякого оттенка иронии и осуждения. Но этот бурнопламенный, выше среднего роста юноша, который в 20 лет имел вид 25-летнего, со своими горящими карими глазами на худощавом смуглом лице, с черными небольшими усиками и короткой бородкой, с непокорным коком черных же волос на голове, смотревший немного бычком, выдвигая лоб вперед, ходивший быстрыми шагами и ронявший быстрые, отрывистые слова своим патетически сиплым словно всегда простуженным голосом, производил огромное впечатление на молодых девушек и женщин, у которых непосредственное чутье и эффект играют большую роль, чем у нас мужчин, чересчур педантичных носителей теперешней книжной, бумажной цивилизации, как любил выражаться Спенсер, сам великий книжник, а отчасти и педант.

Арцыбушев не получил даже и среднего образования, так как был, если не ошибаюсь, исключен за вечные протесты из кадетского корпуса. Но его живой ум, недурная память, уменье с толком выбирать и быстро читать «нужные» книги рано обогатили его голову запасом необходимых для революционера знаний. Это был словно краткий энциклопедический словарь социалиста. А его импульсивная, чуждая всякого гамлетизма натура, не знавшая противоречия между словом и делом, его способность загораться идейным энтузиазмом, стремиться к непосредственному осуществлению того, что ему казалось правдой, бросаться в бой против насильников и угнетателей, — все это ужасно подкупало в пользу Василия Петровича, который имел много врагов, но не мало и преданных друзей.

Лично у меня остались самые лучшие воспоминания о нем. Когда я познакомился с ним, мне было лет 16, ему —

четырьмя-пятью годами более, и в течение трех лет, сначала в провинции, затем в Питере, вплоть до его ареста, если не ошибаюсь, в 1879 году, он был одним из самых близких моих друзей. Меня особенно привлекала в нем своеобразная мужественная нежность, которая пробивалась в иные минуты так внезапно сквозь его колючую, порою казалось, безжалостную индивидуальность. Помню, как-то раз, уже в Петербурге, я сидел в своей убогой студенческой комнатке на кровати, — единственное стуло было предоставлено Арцыбушеву — и откровенно делился с Василием Петровичем, обуревавшими меня идейными сомнениями. Мой марксизм, мое бунтарство и то вера в близкую революцию, то разочарование в этом вечно отодвигавшемся прекрасном мираже, сталкивались в моем сознании и, как теплые и холодные струи, попеременно всплывали вверх. Я в эти минуты испытывал жесточайшую душевную муку, почти настоящую физическую боль, от которой невольно щипало в глазах... Я замолчал... Арцыбушеву показалось, что я плачу. Он подскочил ко мне своими длинными шагами, неловко обнял мою голову, оцарапав мне нос пуговицами своей грубой серой блузы, и своим сиплым трагическим голосом воскликнул: «За то и люблю тебя, что плачешь не свинскими, а человеческими слезами...» Мне стало стыдно, я принялся уверять Арцыбушева, что и не думал плакать... Но и до сих пор я не могу забыть ни этого порывистого, неловкого об'ятия, ни последующих слов Василия Петровича, который горячим, проникавшим в душу шопотом убеждал меня в скором пришествии ее, великой и освобождающей революции.

Среди других членов кружка Зайчневского выдвигались три сестры Оловенниковы из местной дворянской фамилии, все три игравшие роль, — одна даже очень видную, — в будущей Народной Воле. Младшая, Лиза, тогда гимназистка, а потом курсистка, умерла (в 1884 г.?) сумасшедшею во время предварительного заключения. Средняя, Наташа, учившаяся на фельдшерских курсах, тоже «пала жертвою борьбы за лучшее будущее России». Лишь старшая, Марья Нико-

лаевна, разошедшаяся со своим мужем, богатым землевладельцем, либералом Ашаниным, и отдавшая свои недюжинные силы революции, успела уехать в 1882 г. из России, чтобы умереть эмигранткой в Париже в конце 90-х годов.

Марья Николаевна ярко выделялась между теми, кто испытал на себе влияние Зайчневского, и на всю жизнь прониклась элементами якобинства. Со второй половины 70-х годов она проделывала с большинством русских социалистов их общую политическую эволюцию, сначала участвуя в народническом Воронежском поселении, где она не скрывала однако своего «централизма» и «якобинства» и даже оказала в этом смысле влияние на своих товарищей, затем, вступив в организацию «Земли и Воли» и, наконец, примкнув после раскола к «политическому» крылу ее — «Народной Воле». Марья Николаевна была далеко незаурядной, можно даже сказать, крупной личностью, хотя это замечалось лишь после некоторого знакомства с нею. В молодые годы это была худощавая, стройная женщина с великолепной светло-русой косой, длинным, миловидным, слегка напоминающим Мадонну лицом и серыми, блестящими, чуть-чуть томными глазами. Она обладала хорошими манерами и от природы картавила, произнося на аристократический лад вместо «р» почти «л», а вместо «л» — «в», так что в общем напоминала светскую даму. Но за этою ничем особенно не поражающею внешностью скрывалась удивительно упругая и энергичная душа. Я не мог бы лучше охарактеризовать ее, как сказав, что она принадлежала к той категории людей, как и Фиеско, о котором любящий его и опасающийся в то же время заговорщик говорит у Шиллера: «Вы знаете его, этого человека, который молит повелительно, его, этого торговца сердцами толпы»...

Влиянию Ашаниной часто подчинялись ее товарищи землевольцы. С переходом ее в Народную Волю к ее голосу прислушивались Желябов и тогда еще не «переставший быть революционером» Тихомиров. Позже, когда, как гордая львица в клетке, — в клетке эмиграции, — она постепенно

утрачивала громадную упругость своей воли и, живя в Париже под именем Марины Никаноровны Полонской, размен-ивалась на неизбежные житейские мелочи эмигрантского существования, она все же оказывала сильное действие на Лаврова, Рубановича, Серебрякова и вообще всех нас, членов или союзников партии Народной Воли, образовавших во второй половине 80-х годов «Группу старых народовольцев» в Париже. И это влияние продолжалось почти до самой ее смерти (кажется в 1897 г.), когда точившая ее целыми годами болезнь оставила от нее лишь тень прежней Ашаниной.

Я часто задумывался над тайной этого влияния, выражавшегося хотя бы в том, что при обсуждении плана какого-либо общественного, литературного и т. п. предприятия, ее мнение одерживало зачастую в конце концов верх, порою несмотря на горячее сопротивление товарищей, постепенно сдававшихся на ее доводы.

Но вот эти доводы-то были далеко не всегда логического характера. Марья Николаевна была, несомненно, по мужски умна, выражаясь банально, хотя и не без примеси того, что столь же банально называется женским лукавством. Однако, когда она защищала свой взгляд, она прибегала не только к логике, но именно повелительно молила, дружески-горячо упрашивала согласиться с ней, обнаруживая своеобразное, я готов почти сказать, милое упрямство хорошего, но избалованного ребенка, который повторяет все те же аргументы, чтобы настоять на своем, и в конце концов получает то, чего хочет. Мужественный человек, — она в своей аргументации любила аппелировать к соответствующим чувствам своих товарищей. Если не ошибаюсь, на решение, принятое Германом Лопатиным весною 1883 года примкнуть к разбитой, но еще казавшейся жизнеспособною партии Народной Воли, повлияла не в малой степени Ашанина, которая ценила размах энергии этого странствующего рыцаря революции, хотя яснее других видела и

строже других порицала в нем отсутствие конспиративной выправки и дисциплины.

Неоднократно я испытывал на себе психическое воздействие Ашаниной. Чаще всего я был убежден в правильности своего взгляда и оставался при этом убеждении до конца. Но истощив все доказательства, чтобы перевести Марью Николаевну на свою точку зрения, и видя, как она возвращается снова и снова к своим доводам, взывает к необходимости принять ее решение, дружески укоряет «за упрямство», — что выходило несколько комически именно в ее устах, упрямой из упрямых, — я начинал испытывать ощущение, как если бы стоял перед невидимой, но необыкновенно плотной материей, сквозь которую нельзя было продвинуться и которая связывала все мои движения. Мною овладевало чувство идейной усталости, странного равнодушия к своему собственному мнению. Начинало казаться, что в сущности взгляд Ашаниной был уже не так плох, «не хуже», чем неприятие решения вообще. И я уступал Марье Николаевне, получая от нее за это лукавый, немного насмешливый комплимент... Тайна внушения!.. Но я опять таки страшно забежал вперед, рассказывая о людях, которые прямо или косвенно вышли из школы Зайчневского.

Вращаясь среди федералистов (лавристов), бунтарей и якобинцев, лихорадочно хватаясь за легальную и нелегальную литературу по социальному вопросу, я бродил точно по лабиринту различных сталкивающихся теорий, мнений и практических вопросов, изнемогая под бременем возникавших сомнений, не находя ответа ни в книгах ни в разговорах с товарищами различных оттенков и вообще с местной интеллигенцией. И все больше и больше нарастало стремление ехать в Петербург (меня тянуло именно туда, а не в Москву, которая мне казалась не заправской идейной столицей): в Питере, думал я, найдутся хорошие книги и серьезные интеллигенты, настоящие социалисты и настоящие революционеры, которые помогут мне выбраться из чащи нерешенных вопросов, не дававших покою моей юной голове...

Я даже наметил себе заранее высшее учебное заведение, куда поступлю студентом, чтобы иметь возможность не только заниматься всякими теориями, но и поскорее найти заработок. То будет Военная медико-хирургическая академия. Меня тянуло в нее еще одно обстоятельство: борясь с крепчающими сомнениями в области общественных наук, огорченный немножко своим неуспехом распропагандировать ближайших товарищей по кружку в духе Маркса, — не марксизма, ибо я этого слова тогда еще не знал, — я принялся усердно заниматься естествознанием. Не ограничиваясь читанными уже в кружке Фогтом, Молешоттом, Льюисом, я раздобыл у Зайчневского Дарвина «Происхождение видов» и внимательно прочитал и законспектировал его, как законспектировал Гексли и несколько учебников по биологии и физиологии. В этой области, казалось мне, все было ясно и все разрешено, не то, что в социологии и политике, где столько существует школ и направлений. Мое юное и по необходимости поверхностное знакомство с естественными науками не позволяло мне еще и в этой сфере рассмотреть такую же борьбу гипотез и взглядов. Словом, я очень пристрастился к естествознанию, особенно к наукам, ближе касающимся человека, и медицинская академия казалась мне самым подходящим учреждением для дальнейших моих занятий.

С другой стороны врач, разумеется, «идейный» врач, являлся в моем воображении окруженным ореолом истинного друга народа. «Как только кончу курс, сейчас же отправлюсь лечить мужиков или рабочих», — мелькало в моей воспаленной голове, когда в мои бессонные ночи, обыкновенно после реферата в кружке, у моего изголовья толпились и требовали от меня, по Лаврову, уплаты долга за цену прогресса и испитые трепачи со свистящим дыханьем, и ражие, но страдавшие мучительными ревматизмами пильщики, и те маленькие засохшие над работой мужички в стершихся до конца, и потому не столько гревших тело, сколько гремевших на нем полушубках, которые привозили к отду ко-

нопляное масло или хлеб и забивали переднюю, часами дожидаясь расчета, и — рюмки водки из пузатого графина в руках горничной.

Наконец, я надеялся поскорее начать зарабатывать свой хлеб, потому что «чужой», отцовский, не шел мне теперь в горло, ибо он был составлен из «прибавочной стоимости» рабочих и крестьян, — «нормальной прибавочной стоимости», прибавлял я по ученому из Маркса, так как отец мой был честный коммерсант и заводчик и не эксплуатировал людей сверх меры: я в высших классах гимназии старался уже жить уроками и не мог дождаться того времени, когда же, наконец, буду жить исключительно своим трудом.

Не сопротивлялся моему желанию и отец, хотя по совсем другим основаниям. Наши отношения с ним были в это время очень тяжелые. Отвоевав свободу выхода, я пользовался ею для расширения круга «идейных» знакомств, и отцу все казалось, что я окончательно подпал в Орле под тлетворное влияние Зайчневских и других «каторжных поляков», а в Медицинской академии, где надо будет заниматься серьезно, эти дела придется, мол, оставить (о питерских Зайчневских отец как-то забывал). А, кроме того, карьера врача — вещь очень выгодная: «если хорошо пойдет практика, то при аккуратном образе жизни ты будешь откладывать ежегодно тысячи по две, по три; через десять лет ты можешь купить небольшое имение и зажить помещиком припеваючи».

Те же, и даже в сугубо радужном виде, перспективы развивал передо мною и личный друг отца, миллионер Козьма Васильевич Мельников, который в это время владел огромным чугунно-плавильным Бытошинским заводом (в Брянском уезде) и обширными лесными дачами. Неизвестно почему, но Мельников возлюбил меня и прочил в мужья своей старшей дочери, с губками хоботком и несколькими «алимонами» приданого (так почтенный Козьма Васильевич умышленно коверкал на простонародный лад миллионы, полагавшиеся толстогубенькой Лизочке). Я даже прожил одно лето в ве-

ликолепном доме своего гипотетического тестя, участвуя во всех семейных и общественных удовольствиях местного лорда, но в конце концов выскочил из Бытоши, словно ошпаренный. Мельникову пришло в голову показать мне, как почитают хозяина его чугунные рабы, и он однажды повел меня по заводу от горна к горну, от станка к станку. И я действительно видел, как при приближении этого рыжего великана ряды рабочих быстро и низко-низко наклоняли свои головы, взмахивая кудлатыми волосами, стянутыми черным ремешком. Это беспомощное падение головы, словно она была отрублена, эти движения, полные страха и раболепства, долго еще мучили мое воображение. «Тесть», повидимому, понял мои чувства и тщательно наблюдал теперь за тем, чтобы я не ходил на заводскую слободу и не разговаривал с рабочими и их женами.

— Ну что тебе эти пьяницы? Отработали свое время, нажрались, напились и довольны, — говорил он, не забывая каждый раз прибавить, что своими собственными руками на первой же осине повесит даже самого близкого человека, даже сына, еслибы Бог дал такого, «ежели накроет его на пропаганде».

В это время, кстати сказать, произошли аресты на территории соседней, знаменитой в свое время заводской сатрапии Сергея Ивановича Мальцева, огромному состоянию которого Мельников страшно завидовал, но которого он еще, кажется, больше ненавидел за его просвещенный абсолютизм: «вот тебе и восьмичасовой рабочий день, вот тебе и образцовые школы, вот тебе и певческие хоры из пропоиц и прочие заморские выдумки», — злорадствовал Козьма Васильевич...

Я без сожаления отряс прах с ног своих на Бытошу и ее обитателей, хотя одна из дочерей владыки, не старшая, черненькая Лизочка, но младшая, белокуренькая Манечка, и заставляла учащенно биться мое отроческое сердце. Следующей весной предстояли экзамены на аттестат зрелости, и никогда почти не готовя до сих пор уроков дома, я вы-

нужден был теперь «подтянуться». Экзамены эти пришли и прошли, по обыкновению, не без сюрпризов: один из испытуемых, «математик-пятерочник», провалился по своему излюбленному предмету, другой, «сочинитель», не успел подать в срок сочинения. Но мне, благодаря Создателю, они принесли желанный аттестат, из коего явствовало, что я во все время пребывания в Орловской гимназии, с первого по восьмой класс включительно, обнаруживал вообще хорошие успехи, а по некоторым предметам, каковы древние языки и русский, даже отличные.

С этим аттестатом в кармане, простившись с опостылевшей гимназией и дружески пожав руку идейным товарищам, я отправился через несколько дней в Питер. Меня сопровождали отец и мать, — отец хотел полечиться в столице от какой-то упорной болезни, — и летом 1877 года, среди поразившей меня своей призрачною красотою белой ночи, мы благополучно прибыли в желанный, казавшийся мне волшебной сказкой Петербург.

VI.

Новая обстановка и новые знакомые. — Медико-хирургическая академия. — Интеллигенция и рабочие. — Осинский, Мурашкинцев, Халтурин, Александр Богданович. — Я становлюсь „нелегальным“.

Мы остановились в плохонькой гостинице на Екатерининском канале, против Казанского собора, где сам отец останавливался обыкновенно, когда бывал в Питере, и где нестерпимо пахло на лестнице газом, — новой тогда для моего провинциального носа вещью. На следующий же день родители повели меня в семью уже известного читателю купца Григория Афанасьевича Богданова, к тому времени изрядно побледневшего в политическом отношении и проявлявшего свой либерализм разве в том, что подпевал своим хриплым баском молодым товарищам своего второго сына, начинавшего художника, когда они собирались вечером у

Богданова каждое воскресенье и с особенным чувством распевали наиболее эпикурейские куплеты когда-то популярной студенческой песни «Проведемте, друзья, эту ночь веселей»:

Не любить — загубить
Значит жизнь молодую:
Сердцу рай — выбирай
Каждый день хоть любую!

И зачастую пропускали слова:

За здоровье того
Кто „Что делать“ писал,
И кто жизнью своей
Воплотил идеал!..

Я получил приглашение от Богданова на «воскресный сиг» и через него познакомился с несколькими «образованными» купеческими семьями Васильевского острова, подрастающее поколение которых обучалось в коммерческих училищах и немецких школах, сносно говорило по немецки и английски и состояло обыкновенно торговыми агентами Вишау, Митчелля и т. п. крупных английских экспортных фирм, хорошо знакомых тогда на Тучкове и иных «буянах» Петербургского порта.

Но вскоре после от'езда родителей, отправившихся во свояси неделю спустя, — при чем отец усиленно упрашивал меня быть «не только умным, но и благоразумным», — я познакомился и с группой действительно просвещенных представителей молодого русского капитализма в лице семьи писчебумажников Варгуниных. Старший член ее, в это время 30-летний Николай Александрович, окончив курс на административном отделении юридического факультета, с жаром отдавался устройству различных просветительных учреждений среди рабочих, преимущественно Шлиссельбургского тракта, а следующий брат, Владимир, кончавший курс в Медико-хирургической академии, не будучи сам активным революционером, «сочувствовал революции» и деятельно помогал деньгами не только нуждающимся товарищам-студентам, но и социалистическим партиям, — сначала народникам, потом народовольцам.

С этими сливками тогдашней петербургской буржуазии я познакомился довольно забавным образом: при посредстве пролетария из пролетариев, милейшего Дмитрия Герасимовича Никольского, который несколько лет тому назад, в Орле, возбудил в качестве приезжего студента мои первые религиозные сомнения, а теперь, только что возвратившись в Питер из ссылки после одной студенческой («ционовской») истории, держал экзамен на врача. Тот же самый Дмитрий Никольский ввел меня в круг тогдашних молодых адвокатов, познакомил со своим старшим братом Виктором, который, женившись на молоденькой хохотушке-институтке, племяннице знаменитого Писарева, усердно хлопотал над устройством семейного гнезда и становился видным ходатаем по гражданским делам. У жившего тогда на довольно широкую ногу Никольского бывали его товарищи по профессии, по большей части раскаившиеся в «революционных бреднях» и становившиеся в большинстве мирными, а некоторые даже воинствующими либералами, которые с каким-то злорадством издевались над своею прежнею социалистическою верою и своими бывшими единомышленниками. Особенно мне вспоминается из этой категории неглупый и лично порядочный, но жестоко эгоистичный и обозлившийся на всех и вся Николай Иванович Грацианский, который одно время играл кое-какую роль среди пропагандистов, был косвенно причастен к тогда начинавшемуся «большому процессу», рано струсил и вымещал свою собственную дряблость на других, гораздо более крепких людях, оставшихся верными своим убеждениям, стараясь представить в смешном виде тех, кто за печатный листок шел на каторгу.

Ко мне, не знаю почему, может быть за мою юность (мне не было в то время еще 18 лет) и бурливший, как молодое пиво, наивный энтузиазм, он относился скорее с симпатией и без обычной у него насмешливости. Порою казалось, он как будто интересуется моим мнением, а один-два раза даже принимался усердно уверять меня, что если он

и «изменился», то лишь в результате тяжелой душевной борьбы и после глубоких размышлений.

Через Грацианского я познакомился с одним из корифеев тогдашней адвокатуры, Павлом Антиповичем Потехиным, и тогда начинавшим греметь в университетском муравейнике молодым юристом-государственником, Николаем Коркуновым, который, кажется, в то время не был еще магистрантом, но вещал уже совсем по магистерски или даже по докторски, самоуверенной скороговоркой, на каждой фразе отплевываясь в платок и энергично вытирая свою рыжую бородку и рыжие усики. «Будущая слава русской науки», — отзывался о нем сильно дружившший с ним Грацианский, словно уже чуявший в своем приятеле будущего строителя той мнимо оригинальной юридической формулы «совместного властвования», которая в расшифрованном виде стирает всякое различие между народным правительством и абсолютной монархией.

То все были люди из «общества», с которыми свел меня случай в Питере, — представители «привилегированной среды», по тогдашней терминологии... Но одновременно с этим и в гораздо большей степени создавались у меня отношения с другой совершенно противоположной средой, средой революционеров и отчасти распрогандированных ими, отчасти еще непочатых пропагандой рабочих. Прежде всего в различных, группировавшихся обыкновенно по губерниям или большим областям, — Сибири, Кавказу, — студенческих землячествах как-то быстро выделились с самого же начала года наиболее активные элементы, уже служившие революции или только готовившиеся служить ей. То были «радикалы», составившие почти сейчас же особые кружки единомышленников, делившиеся исключительно по направлениям, а отнюдь не по землячествам, учебным заведеням, курсам. «Радикалы», конечно, не покидали из-за этого и своих землячеств, появляясь туда, когда было нужно, и даже стараясь вести там идейную пропаганду среди «сочувствующих», которые в свою очередь становились через некоторое время «радика-

лами». Между членами землячеств было вообще сравнительно мало таких политических индифферентистов, которые жили бы исключительно личными или хотя бы чисто профессиональными студенческими интересами. Мы их называли — негодующе — карьеристами и — презрительно — «либералами». Люди этого сорта и позволяли себя называть либералами, и сами называли себя так, главным образом, чтобы избежать другой, более резкой, клички.

Подлинных либералов, — конституционалистов, или даже просто требовавших настоящего земского самоуправления, — между нами совсем не было. Но не пошел человек на студенческую демонстрацию, отказался принять участие в сходке для обсуждения вопроса о помощи заключенным, — вот вам и «либерал».

То были по большей части дети очень богатых помещиков, хапуг-инженеров или крупных чиновников, скажем, не ниже прокурора. Они и держались в стороне, стараясь сближаться с людьми своего круга, воспитанниками привилегированных заведений, — Пажеского корпуса, Училища правоведения, — и вообще петербургской золотой молодежью, кутившей у Донона или Дюссо. В университете они шли почти исключительно на юридический факультет; их было много между студентами Института путей сообщения («путейцы — беспутейцы», — острили мы над ними; но были и исключения, и даже очень громкие: знаменитый Осинский был путеец), меньше в Горном институте, совсем мало в Технологическом, который, наравне с Медико-хирургической академией, считался самым очагом революции среди петербургского студенчества.

С жадностью погрузился я в кружковую студенческую жизнь, но на проклятые «нерешенные вопросы», вывезенные мною из провинции, я не находил удовлетворительного ответа и в Питере. Элементы бунтарства, якобинства и того, что я не могу, конечно, назвать марксизмом, но что однако вошло в мое сознание из Маркса, после чтения «Капитала», «Коммунистического манифеста» и «Гражданской войны во

Франции», — все это перемешалось и бурлило в моем мозгу, не оседая, не проясняясь, а лишь усугубляя мои теоретические сомнения и мешая мне примкнуть к какому-нибудь направлению для практической работы...

Прежде всего, на мою 18-летнюю голову нахлынуло здесь слишком много разнородных впечатлений. Начать хотя бы с перемены непосредственной обстановки и материальных условий жизни. С вольных отцовских хлебов, из просторных покоев патриархального купеческого дома, я сознательно пересаживал себя в условия существования бедного студенчества. Решив по возможности меньше жить на отцовский счет, на «прибавочную стоимость», выколачиваемую из трепачей и пильщиков, я заявил отцу, что намерен ограничиться самой необходимой поддержкой, и то лишь «пока». И отец только порадовался этому решению, отчасти из экономии, — он становился последние годы очень скуп, — а отчасти потому, что усмотрел в этом мое желание теперь же начать приучаться к той аккуратной и бережливой жизни, которая должна была, по его мнению, превратить меня, будущего врача, через десять лет в помещика.

Было условлено, что из дома мне будет посылаться двадцать рублей серебром ежемесячно, чего, и по тогдашнему сравнительно дешевому времени, еле-еле хватало, чтобы жить впроголодь. За несколько целковиков в месяц я снимал на самом верху трактира «Выборг», что на Выборгской стороне, крошечную, почти без всякой мебели, кроме кровати, стола и одного стула, комнатку у рабочей четы, забавлявшей меня своими контрастами: он — большой, добродушный, флегматичный немец, работавший на патронном заводе; она — маленькая, подвижная, злющая, получухонка-полурусская, заключившая поздним браком первоначальную карьеру девицы легкого поведения, а потому требовавшая от мужа самой строгой супружеской верности, а от всех соседок — крайнего почтения к ее добродетели и говорившая очень презрительно об «этих, знаете ли, разных... вот, которые по тротуарам шатаются».

То было гнездо, или, если хотите, голубятня, на пятом этаже грязного дома, откуда развертывался очаровательный (гм!) вид на вечно дымившие кругом заводские трубы и откуда ежедневно любознательный провинциальный птенец должен был вылетать на собственных, впервые совсем самостоятельных крыльях, чтобы производить назидательные для ума и сердца кружения в огромном столь чужом и уже казавшемся столь родным городе.

Тогдашний Питер, под жестоковыйным, но рачительным управлением неудобозабываемого Федора Федоровича Трепова, был отображением в миниатюре всей тогдашней России с ее бок-о-бок существовавшими, но совершенно от'единенными богатством высших классов и бедностью народа, роскошью счастливых мира сего и нищетой пасынков судьбы, лоском на поверхности и грязью внутри. Увы! я не знаю, много ли изменилась Россия в этом отношении с тех пор...

Градоначальник, облетавший каждое утро на шикарной пролетке парой вверенную Александром II его попечению столицу, старался, чтобы центр города, — ну скажем, пространство, описанное двухверстным радиусом вокруг Казанской площади, — блистал порядком и чистотой. Тут за брошенную на панели бумажку, за забытую апельсинную корку зуботычины градом сыпались на дворников и городовых, штрафы на домовладельцев и выговоры на приставов. Громады монументальных зданий угрюмо тянулись одно за другим, блистая зеркальными стеклами и как жар сиявшими скобами парадных под'ездов, в которых, словно кариатиды старого строя, стояли величественные швейцары с внушительными булавами в руках...

За пределами этого района, который нарочито показывался своему начальству и заграничным корреспондентам и знатным гостям, царили грязь и запущенность. Зимою снежные кучи по месяцам загромождали мостовую. Большинство тротуаров на дальних линиях Васильевского острова, в Коломне, в Московской части, почти повсюду на Петербургской и Выборгской сторонах, на Песках, состояло из дере-

вянных мостков, доски которых на каждом шагу зияли дырами и, когда на них наступал пешеход, немилосердно хлюпали, обдавая его, словно грязевые сопки, потоками вонючей жижи, пропитавшей насквозь почву «Северной Пальмиры».

Немногие огромные каменные дома этих районов, заселенные мелким людом, ворами и проститутками, как маяки скорби и отчаяния, поднимались над целым морем чаще маленьких, а порою и довольно громоздких деревянных, выкрашенных в каторжный желтый цвет строений, с изогнувшимися мезонинами, полуразвалившимися лестницами и непроходимою грязью дворов, где ютились целые ульи несчастных рабочих пчел окраин и пригородов. Но и в шикарных зданиях центра стоило только проникнуть на второй, на третий двор, спуститься в подвалы, в дворницкие, чтобы убедиться, в какой степени роскошь огромных барских квартир покоилась органически, можно сказать, геометрически, на этой тесноте, нищете, грабеже воздуха и света у обитателей самых нижних этажей.

Политика курьезным образом влияла тут на экономику. По мере того, как росла правительственная реакция и вводились все эти усиленные и чрезвычайные охраны для борьбы с крепчавшей «революцией», увеличивалось и число дворников, которые требовались уже не столько содержанием домов в чистоте, сколько дневным и ночным караулом у ворот, слежением за подозрительными квартирами и т. п. полицейскими обязанностями. Со старшим дворником, младшими дворниками и подручными в дворницкой набивалось теперь сплошь и рядом до полдюжины мужчин, нередко семейных, так что в иных домах перестали принимать на службу дворников с женами и детьми...

Я насмотрелся вдосталь этих подвальных этажей и дворницких во время своих петербургских экскурсий, то разыскивая товарищей, то, наоборот, стараясь прошмыгнуть мимо соглядатаев, чтобы попасть на квартиру, где должна была состояться вечеринка, сходка, какое-нибудь более или менее запретное собрание. Задние и проходные дворы Вы-

боргской, Петербургской стороны, отдаленных линий Васильевского острова или Песков не составляли для нас, «идейных» студентов, тайны. Но, конечно, все же наши экскурсии приурочивались, по роду наших занятий, прежде всего к известной местности.

Мы, студенты-медики, старались ютиться больше на Выборгской, вокруг нашей академии и ее клиник, по близости от так называемой «Еленки», или дешевой кухмистерской Вел. Кн. Елены Павловны, где за 20 коп. можно было получить полный обед и где катарр наживался обыкновенно лишь к каникулам, когда молодой желудок снова налаживался поездкой к родителям или на выгодные вакации вплоть до нового академического года...

Сама Военная медико-хирургическая академия, состоявшая тогда под начальством довольно добродушного генерала Быкова, не давала, — по крайней мере на первом курсе, — чего-либо интересного нашему уму и сердцу.

Анатомию читал собственно неплохо, но с чересчур частыми попытками буршикозного остроумия Ландцерт, неизменно из года в год повторявший, например, при описании позвоночного столба свою шутку, как образуется сколиоз у девочек школьного возраста: «садятся, знаете-ли, на скамейку, всегда подбивая себе юбки с правой стороны и нагибаясь влево: как же не быть тут всяческим искривлениям?» При этом лектор картинно жестикулировал и громко смеялся своей игре ума, очень нравившейся рядовому студенчеству, но холодно встречавшейся «идейными» студентами.

Лекции по физике, которую преподавал нам полковник Усов, были главным образом примечательны необыкновенной энергией и пафосом лектора, который вскрикивал, подпрыгивал и бряцал шпорами всякий раз, как ему удавалось, словно первый раз Архимеду или Галилею, доказать какую нибудь формулу кинематики или проделать физический опыт с благополучным исходом.

— Раз!.. Два!.. Три!.. Четыре!.. Пять!.. Как на смотру исступленно кричал Усов, отсчитывая секунды по маятнику Атвудовой машины и ястребиным оком взирая на движение падающей гирьки.

Груз ударялся, как и полагалось ему по штату физического естества, достигнув 25-го деления.

— Видите? Слышали? — бушевал, обращаясь к нам, Усов, — понимаете, я считал секунды, а гирька проходила через четвертое, девятое, шестнадцатое деления и упала на двадцать пятом!.. Пять секунд!.. двадцать пять делений!.. Расстояния, как квадраты времен... Гирька упала, да, упала, упала в конце пятой секунды, — уже каким-то сладостно грустным, почти умирающим шопотом заканчивал свое доказательство бравый полковник, констатируя торжество вверенной ему научной части.

Потом переводил дух, вытирал с покрасневшего от прыжков и криков лица обильный пот — и снова устремлялся самой отчаянной кавалерийской аттакой на взятие еще какой-нибудь новой научной высоты, уже взятой несколько десятков, а то и сотен лет тому назад Ньютоном, Гюйгенсом или Мариоттом...

Хорошо, мыслебудяще, развертывая широкие горизонты перед слушателями, читал лекции по физиологии тогда 30-летний красавец грузин, князь Тарханов, который немного рисовался своими изящными манерами, своим гортанным, слегка картавым на парижский лад произношением и своей демократической блузой, надевавшейся им поверх великолепного черного сюртука. Когда его ассистент принимался выкачивать воздух из-под колокола воздушного насоса, где корчился, задыхаясь во славу науки какой-нибудь злополучный кролик, наш Иван Романович любил порою отстранять его, — конечно не кролика, а ассистента, — от этой работы, и сам принимался усердно двигать рукояткой прибора, покачивая в такт своим бледным эффектным лицом с черной бородкой и блестящими глазами...

Мне не пришлось слышать знаменитого Грубера, который читал клиническую анатомию только на втором курсе, и которого я лишь видел, когда он шел, бывало, по коридорам академии, седой, суровый, сосредоточенный, должно быть вечно погруженный во внутренние созерцание бесчисленных аномалий человеческого строения. По происхождению он был чех, по культуре — немец, но отнюдь не принадлежал к той немецкой партии наших ученых и академиков, которая славилась своим безграничным раболепием перед высшим начальством и нестерпимою грубостью по отношению к подчиненным. Все мы, студенты академии и даже других заведений, без различия убеждений, любили этого гордого, независимого чудака, который знал себе цену, но никогда не оскорблял человеческого достоинства в других. О нем ходило множество, вероятно отчасти выдуманных анекдотов, и молодежь многое прощала этому оригиналу.

С особым сочувствием рассказывался анекдот, как Грубер был позван в Зимний дворец для вскрытия и бальзамирования отравившего себя Николая I, и как он привел в ужас придворных простым вопросом, сначала по латыни: «уби эст кадавер?», а затем на ломанном русском: «Кдэ ест труп?» Тщетно царедворцы пытались доказывать, что по правилам этикета во дворце никакого трупа нет, а есть лишь августейшее тело в Бозе почившего Государя Императора. Упрямый чех повторял, никого не слушая, свое: «Кдэ ест труп? Я здесь, чтобы сецировать не император, а труп». Он же, говорят, настаивал на том, чтобы публично заявить о присутствии в теле найденного им яда...

В числе чудачеств Грубера цитировалась его мания вращаться на экзаменах неизменно в одном и том же кругу вопросов, касавшихся часто различных анатомических аномалий и представлявших как бы казуистику науки, без знания которой Грубер ни за что не пропускал испытуемого. Так создалась, стараниями целых поколений студентов, знаменитая «груберистика», довольно толстая тетрадь вопросов, начинавшихся обыкновенно формулой: «какой мускул управ-

ляет таким-то движением?» («квис мускулус агит», или «мовет») и выучивавшихся экзаменуемыми на зубок. Придерживаясь своей мании, Грубер, однако, ужасно не любил студентов (или врачей, державших на степень доктора), которые работали только для экзамена и норовили как-нибудь без подготовки схватить диплом. Если он вскрывал такое невежество, он был неумолим и прогонял испытуемого до тех пор, пока тот не выучивался хоть немного анатомии.

— Ступайтэ, приходитэ еще раз, — угрюмо ворчал Грубер.

— Но, господин профессор, я знаю, право знаю всю анатомию.

— Ви знаете всю анатомию?.. Ви?.. Всю анатомию знает в совершенстве один Господь Бог, очень хорошо знает Венцеслав Грубер... Ви старайтесь знать ее только недурно... Приходите снова!..

Лишь один раз в своей жизни Грубер отступил от губеристики, к великому отчаянию экзаменовавшихся. То было после единственного посещения им театра. Вышло немножко, как у Некрасова:

Не все читать вам Бокля:
Не стоит весь ваш Бокль
Хорошего бинокля...
Купите-ка бинокль,—

уговаривали друзья Грубера, и маститый анатом купил бинокль, оставил на один вечер свои препараты и отправился на балет, где внимательно следил целый вечер сквозь стекла за движениями танцовщиц, а когда приятели спросили его о впечатлении, ответил сначала только: «отшень, отшень интересно». Какого же было удивление и ужас экзаменовавшихся на следующий день у Грубера, когда им стали задаваться вопросы вне губеристики.

— Когда театральная баришня, которая танцует, поднимается на один носок и бистро-бистро кружит вокруг себя, квис мускулус агит?.. А когда она делает такой прижок, — и Грубер старался показать, какой, — квис мускулус мовет?..

А когда она далеко наклоняет себя назад и делает отшень кривой дуга из своего тела, держа руки за головой, какие группы мускулов приходят в действие?..

Конечно, никто не мог отвечать путем на эти экстраординарные вопросы. Прекрасные балерины и не подозревали, сколько они погубили молодых людей на следующий день...

Из остальных лекторов мне припоминается лишь какой-то свободомыслящий протоиерей, — не то Горчаков, не то кто-то из его учеников, — который либеральничал с нами на ту тему, что в то время, как все его коллеги преподают нам различные науки о материи, физику, химию, гистологию, он является на кафедре академии «единственным представителем науки о духе и о высших духовных интересах человека». Мои товарищи и я с улыбкой слушали эти уверения профессора «догматического богословия», которое полагалось у нас на первом курсе, — да и сам он благопристойно улыбался, — ибо мы не нуждались в этих лекциях, чтобы быть захваченными теми действительно высшими духовными интересами, которые в то время носили у русской интеллигенции название «социализма» и «революции».

Приезд Арцыбушева в Петербург (с целым выводком юных якобинок из Орла, школы Зайчневского) сразу расширил круг моих радикальных знакомств и при том с людьми, уже пользовавшимися авторитетом в революционном движении. Правда, якобинцы в Питере были довольно жалкие, и мы подсмеивались над троицей «Болдарева, Бандуры и Балалайки», как прозывались в радикальных кружках того времени три изрядно глупых и претенциозных набатчика, которые очень таинственно ходили всегда вместе и старались уверить нас, что они присланы из Женевы «самим» Ткачевым для производства в наискорейшем времени политического переворота. И, быстро раскуся их, Арцыбушев избегал встречаться с ними, чтобы не компрометировать дорогих ему идей якобинства такими союзниками. Но у того же Арцыбушева от его прежних странствий по России остались зна-

комые среди выдающихся бунтарей и лавристов, и он со свойственною ему импульсивностью тотчас же потащил меня по радикальным квартирам.

На одной из Дворянских или Посадских улиц Петербургской стороны, — хорошо уже не помню, — мы встретили между прочим Марью Николаевну Ашанину и Валериана Осинского. Народницу-«централистку» и одного из инициаторов землевольческого террора уже тогда идейно сближало нараставшее в них сознание необходимости активной борьбы с правительством. И то, что я слышал от них во время завязавшегося общего разговора, в котором участвовало несколько фельдшериц Георгиевской общины, собиравшихся отправиться немедленно же в народ, произвело на меня впечатление именно резкостью и определенностью боевой точки зрения.

Марья Николаевна была в Питере наездом: она только что приехала с агитационной работы среди мужиков Тамбовской или Воронежской губернии и возвращалась через несколько дней назад. Вера в возможность развить крестьянскую общину в ячейку грядущего социалистического строя опиралась у ней, повидимому, на мысль об осуществимости в недалеком будущем политического переворота, который бы передал власть в руки друзей народа. В то время Ашанина во всяком случае была менее пессимистично настроена по отношению к деревне, чем ее учитель по якобинству, Зайчневский. Но ей казалось, что без перемены правительства в центре на скорую социальную революцию нельзя было расчитывать. Борьба с самодержавием, прежде всего, с самодержавной бюрократией и полицией, должна была, по ее мнению, вестись всяческими способами, не отступая перед самыми крайними, «как во Франции в 1793 году».

Осинский, собиравшийся тогда на юг, говорил сравнительно мало, оставляя в стороне вопрос о возможности политического переворота, но совершенно определенно высказываясь за террор. Он сидел у изголовья прихворнувшей невесты своей, Марьи Герасимовны Никольской, — все из

той же семьи Никольских, — в матовом освещении пасмурного осеннего петербургского полудня, и его правильное с небольшими белокурыми усами лицо загоралось временами румянцем, а его рука ударяла энергично по другой, словно рубя что-то, когда он заканчивал свои складные короткие реплики Ашаниной. «Аполлон русской революции» — охарактеризовал его впоследствии Степняк. Мне Осинский не показался таким красавцем. Но вся его фигура была проникнута наружным и внутренним изяществом. И как шли к этому героическому человеку его заключительные слова перед уходом (я передаю, конечно, лишь общий смысл): «и естественное чувство самозащиты, и честь товарищей, и интересы революции, — все зовет нас отвечать на насилие насилием»... Летом 1879 года труп Осинского качался на виселице в Киеве.

На одной из конспиративных квартир в пресловутом набитом всякого рода жильцами доме Яковлева по Большой Садовой я познакомился, — опять таки благодаря Арцыбушеву, — с землевольцами Ольгой Натансон (Марк Натансон был тогда арестован), Адрианом Михайловым, «Лешкой» Оболешевым и приехавшей в то время из Одессы Еленой Россиковой, которая именовала себя «анархисткой-якобинкой» (да! да! читатель!) и через некоторое время должна была фигурировать вместе с «Сашкой-инженером» (Юрковским) в процессе об ограблении Херсонского казначейства. Широкий, ходивший немного в развалку и запрокинув назад голову под неизменным кожаным картузом, Адриан Михайлов принес несколько экземпляров только что вышедшей тогда приложением к «Началу» прокламации (Михайловского) «К Русскому обществу» и делился вслух своими соображениями насчет того, что вот, мол, как смело эти либералы принялись требовать нынче всяких политических свобод и даже тайным комитетом безопасности грозят. А тем временем стройная, немножко суровая Ольга Натансон высказывала недоумение огромной, неуклюжей Россиковой, как это можно одновременно стоять за анархию и за якобинство...

Я опять забегаю вперед. Сцена, описываемая мною, относится к весне 1878 г. Но зима 1877—78 г.г. была заполнена событиями, которые имели и общее политическое значение, а косвенным образом отразились и на моей судьбе. В числе приобретенных мною при помощи Арцыбушева знакомых были лаврист Мурашкинцев, которого мой приятель знал по Москве, и народник-украинец Александр Богданович, с которым Арцыбушев раньше встречался в Киеве.

Александр Андреевич Мурашкинцев, — который умер, вскоре после первой русской революции, в 1905 г., мирным чиновником министерства финансов, — был в 1877 году еще очень молодым человеком, лет двадцати (значит всего года на два старше меня), пользовавшимся, однако, несмотря на свой юный возраст, общим расположением более старших его по возрасту видных петербургских лавристов, которые ютились вокруг умного, властного, черного как смоль тридцатилетнего брюнета, доктора Гинцбурга. Мурашкинцев, сын богатого московского купца, и наружностью напоминавший румяного, безбородого молодого купчика, при первом же свидании признался в «сословной симпатии» ко мне.

— Рыбак рыбака видит издалека, а купец купца с другого конца, — весело воскликнул он, смеясь своими серыми, «сорочьими», без блеску глазами и похлопывая меня поощрительно по плечу. — Приветствую в вас представителя нарождающейся русской буржуазии, к каковой принадлежу и сам и которую столь же люблю, сколь и ненавижу, — продолжал острить Мурашкинцев.

За этими шутками и смехом скрывались, однако, серьезная дума и молодой идейный энтузиазм. В то время Мурашкинцев, студент-медик второго курса, только что возвратился с балканского театра русско-турецкой войны, где он месяцев шесть работал фельдшером, — кажется, в Рущукском госпитале, — и откуда он вернулся, исполненный негодования на неспособность нашего военного начальства, взяточничество интендантов и хищничество поставщиков, совершенно разочаровавшийся в политике наших освободи-

телей и без дрожи в голосе не могший говорить об издевательстве командиров над своими же солдатами и о притеснении ими сербов, болгар и румын.

— Да наши братушки, знаете-ли, волком воют, когда в их городах и селах стоят наши войска, и кричат во весь голос, что лучше быть по прежнему райей под турком, чем терпеть русское освободительство.

С войны Мурашкинцев привез целую кипу написанных им под свежим впечатлением виденного и слышанного бунтовских стихотворений, которые он отнес на просмотр и для оценки Михайловскому, — «не для печатания, конечно, а чтобы знать, есть ли у меня поэтический талант». Я, упражнявшийся и сам в писании «идейных» стихов, находил произведения Мурашкинцева очень хорошими и дружески завидовал ему, услышав, что тогдашний идол молодежи произнес приговор: «чересчур фразисто, но дарование имеется».

Эти вещи были, однако, написаны Мурашкинцевым лишь для поэтического отвода души, так сказать. В стихах он изображал, например, как четверка злодеев — помещик, купец, поп и исправник — напала в лесу на взбунтовавшегося мужика и совсем уже было задушила его, да на счастье подвернулся проходивший тропинкой богатырь-революционер и сказнил всех большущим топором, а с мужиком-бунтарем вольную общину основал. Прозаически же всматриваясь в действительность, Мурашкинцев держал под большим сомнением и бунтовскую способность крестьянина, и революционную силу интеллигенции.

— Нет, знаете, друг, а пожалуй, что без нас, окаянных, России не обойтись, — как то горько-залихватски шутил Мурашкинцев, разумевший под «окаянными» буржуазию. — Вон мой батька сам из мужиков, а посмотрели бы, как он их разделывает теперь: только перья летят... Ну, да, конечно, в конце концов на свою же голову обучает...

Эта вера в большую возможность временного пришествия буржуазного царствия быстро росла у Мурашкинцева со времени его приезда в Питер. Я очень боюсь приписать

Мурашкинцеву уже в то время, что было ясно сформулировано лишь гораздо позже: через неизбежный капитализм к неизбежному социализму. Но кое-что из таких взглядов, характеризующих русский марксизм в его развитом виде, имелось у Мурашкинцева, как имелось оно, и пожалуй в еще усугубленном виде, у его товарищей: уже упомянутого Гинцбурга; помощника присяжного поверенного Семеновского; братьев Бубновых, одного медика, другого юриста (последний глубоко врезался мне в память своим огромным скалистым лбом); кандидата прав Быховского, маленького, симпатичнейшего, пожилого на вид еврейчика, типа богемы, который был на редкость образованный человек и поддерживал свое скудное существование писанием диссертаций для кончающих курс юристов; горняка Коршунова; богатенького студента-медика Солодовникова, который невинно рисовался своим французским языком и изящными манерами и т. п.

Все они сильно подчеркивали необходимость для России хотя некоторых первичных фаз капиталистической эволюции, как это довольно ярко сказалось на спорах между ними и бунтарями, спорах, живо занимавших революционную интеллигенцию всю осень и зиму 1877—1878 г.г. и перешедших на весну 1878 г., не взирая на происходивший одновременно с этим «большой процесс» (18 октября 1877 — 23 января 1878 г.), агитацию, связанную с покушением Веры Засулич на Трепова, и прочие шумные события этого года, знаменовавшего переход к терроризму. Но об этом ниже. Замечу пока лишь, что сами члены этой группы не называли себя официально марксистами, хотя и более других течений занимались Марксом, и почти перестали называть себя лавристами, — «потому что поделались гинцбуржатами», как подсмеивались над ними враги, — а предпочитали название «социалистов-федералистов». Революцию они, по крайней мере временно, отодвигали на задний план и подготовляли себя к мирной пропагандистской деятельности на долгие годы, вдохновляясь примером социал-демократии Германии, которая не знала больших преследований вплоть до покушений

Геделя и Нобилинга на «царственного старца» (май — июнь 1878 г.). Несомненно, что у тогдашних марксистов были недурные связи в петербургской рабочей среде, где они встречались и конкурировали с бунтарями и (в скором времени) землевольцами.

По крайней мере, кто-то из них, кажется Мурашкинцев, познакомил меня с известным уже в то время между рабочими Степаном Халтуриным, который очень дружил с Александром Андреевичем и, после теплой рекомендации последнего, перенес часть симпатий на меня. Халтурин познакомил меня в свою очередь в одно из воскресений с некоторыми из наиболее выдающихся своих товарищей, среди которых работал Мурашкинцев: Карлом Ивановичем Шмидтом, который славился между петербургскими рабочими тем, что «прочитал и понял всего Маркса» (разумей: тогдашний первый том «Капитала»), а четверть века спустя, хотя и изрядно потускнев, дал небезынтересные легальные воспоминания о своей последующей жизни; бравыми братьями Петерсонами; основательным финляндцем, носившим трудно забываемое имя Ивана Ивановича Иванайнена; живым, щеголеватым Хохловым; еще двумя-тремя рабочими (между которыми я странным образом не припоминаю физиономии Обнорского, то есть как раз того человека, который был всего ближе к Халтурину в деле всяческих рабочих организаций и предприятий).

Каково же было мое удивление, когда через неделю-две, приведенный для знакомства с «кружком интеллигентных рабочих» упомянутым мною выше бунтарем Александром Богдановичем, я нашел как раз ту компанию, где бывал Мурашкинцев. И даже ко мне подошел и протянул руку сам Степан Халтурин, который так запоминался своей высокой фигурой, выразительным лицом с подстриженными в кружок волосами и коротко обрезанными усами, а особенно своим сильно окающим вологодским выговором.

— А, Сергеич, ты и сюда припожаловал... Нород все свой...

Я понял, — да так вскоре и оказалось, — что с рабочими взапуски занимались и лавристы, и народники. И люди умные из рабочих, в роде Халтурина и его товарищей, у которых, очевидно, уже бродили планы образования своей собственной самостоятельной партии, не только не скандализировались, но скорее были довольны этим состязанием пропагандистов, как бывает доволен рассудительный студент, узнав, что один и тот же предмет будет читаться параллельно двумя лекторами, и беря и от того и от другого, что больше подходит. Прислушиваясь к разговорам между Халтуриным и Мурашкинцевым, я приходил, однако, к заключению, что лавристы пользовались бóльшим успехом между рабочими, которые узнавали от них более подробно о социальном вопросе на западе, о быте, правах и требованиях рабочих в Европе и Америке, о рабочих партиях.

Мимоходом два слова об Александре Богдановиче, который сыграл в известный момент некоторую роль в моей жизни. Богданович был маленький, красивенький, умненький, но страшно желчный «хохлик», как называли его все знакомые в те блаженные времена, когда мы обращали очень мало внимания на национальные клички. Его вечная раздражительность, повидимому, зависела от злой горловой чахотки, догрызавшей его последние дни. Выпивши, — а хмелел он от одной рюмки, — он придирался ко всем и всему, а меня доводил почти до слез названиями «софист» и «гегельянец». В трезвом виде интересно рассказывал о своей предшествующей деятельности в течение 1875—77 г.г., то на Украине, то в Москве, то в Питере. Себя он называл бунтарем, и у него в Петербурге было много знакомых между народниками, скоро получившими официальное название землевольцев. Он дружил с Ольгой Натансон, Адрианом Михайловым, Сабуровым (Оболешевым), и они заметно относились к нему с симпатией, хотя порою безобидно подшучивали над его вечной запальчивостью. Он между прочим очень серчал на то, что по фамилии его смешивали с известным уже тогда Юрием Богдановичем, (я не знаю, был ли

он его родственником), а по его нелегальной кличке «Попка» с подлинным Попко, который скоро должен был стать видным южнорусским террористом.

Но бунтарями круг знакомых Александра Богдановича не ограничивался. Он довольно хорошо знал и некоторых выдающихся питерских лавристов. А от тех и других запасся знакомыми в рабочей среде, где он любил бывать и пользовался расположением. Особенно молодые рабочие охотно слушали его резкую, но не лишенную юмора и наблюдательности речь. Меня занимало кстати, что он был бунтарем скорее по названию, чем на самом деле. Его не только тянуло в эту пору больше к лавристам, но он, пожалуй, еще сильнее этих тогдашних марксистов напирал на необходимость заниматься агитациею пока исключительно среди городских рабочих. «Там дальше увидим, а теперь приналяжем-ка на фабричных: их скорее сорганизуешь». Мало того, для удачной рабочей агитации он мечтал о политических условиях, которые хоть немного напоминали бы немецкие.

— Вот Мовша Зунд (Зунделевич) чем не народник, а поди-ка спроси его, что он видел в Германии во время своих контрабандистских шатаний за революционными книжками! Небось, скажет тебе, что хоть и плоха имперская конституция, и старый Вильгельм и Бисмарк там существуют, а все-таки рабочему там есть куда податься: и в парламент он идет, и в союзе заседает. А у нас что? Моментально сократят...

Другой знакомый Богдановича, один из младших членов банкирского дома Зак, что помещался во времена оны на Гороховой, маленький, чистенький, живой студентик, приехавший на побывку из Берлина, сильно поддерживал в этом отношении моего приятеля. Он взасос рассказывал, как в Германии социализм распространяется и между рабочими и между студентами, и даже есть такие общие из тех и других кружки.

— Послушали бы вы слепого философа Дюринга! Сам он анархист и за парижскую коммуну публично на университетской лекции высказался. Но с Марксом во всю полемизирует, и между рабочими и студентами есть и того ученики и другого, и свободно спорят между собою на сходках и в кружках, и идут, куда хотят... Вон Мост, такой себе рабочий, даром, что «Капитал» Маркса в брошюре популяризировал, а и Дюринга тоже любит и его среди своих товарищей тоже пропагандирует.

Прислушиваясь к таким речам, находясь часто с Богдановичем, дружа с Мурашкинцевым, встречаясь с Халтуриным и его знакомыми рабочими, я вдруг в одно гнилое петербургское утро почувствовал страстное желание и самому поближе сойтись с рабочими. О пропаганде я пока не думал, так как был очень скромного понятия о своих знаниях и уменьи говорить со столичными рабочими. Но мне хотелось побывать в рабочей среде, посмотреть на трудовой народ, без которого настоящей революции, как говорилось тогда часто, не будет. На мою просьбу познакомить меня с подлинными рабочими Богданович ответил полунасмешливо, полураздражительно, и «софист» и «гегельянец» не чаял, как бы поскорее окончить разговор с «Попкой». Сочувственнее отнесся Мурашкинцев. Но свести меня с рабочими обещался Халтурин, который поручил Хохлову и еще одному очень молодому рабочему, — я забыл его фамилию, — доставить меня за одну из застав. Он же напутствовал меня словами: «Ты сначала, Сергеич, присмотрись к народу, а потом, может быть, тебе и удастся поговорить кое с кем по душам».

И вот, запуская свои лекции в академии и посещения землячества, я каждую субботу и раз-два среди недели стал бывать в рабочих кварталах и пригородах, жадно вглядываясь в совершенно новые для меня типы петербургских заводских. Я забывал о своем подбитом рыбьим мехом пальто, которое плохо охраняло меня от осеннего дождя, а еще того менее от двадцатиградусных морозов, рано начавшихся

зимою 1877—1878 г. *). Я не обращал внимания на непролазную осеннюю жижу или снежные кучи, покрывавшие улицы за Невской, Нарвской заставами и по Шлиссельбургскому тракту, на грязные деревянные и по большей части одноэтажные трактиры с вечно лязгавшими и хрипевшими заигранными органами, сквозь которые так трудно было слышать разговор даже за своим столом. Мое усердие не останавливалось даже перед явной рассеянностью большинства рабочих, которые в то время кончали на фабрике очень поздно и приходили, уже изрядно усталые, часам к восьми, думая лишь о том, как бы пошумнее повеселиться.

Иные сбивали меня с толку своим незнанием, которого я не ожидал от столичного люда. Я еще летом, сейчас же по приезде в Питер, был поражен одною сценой на Выборгской стороне, у вывешивавшихся тогда на воротах «слабосильной команды» телеграмм с русско-турецкой войны...

Разухабистый, подвыпивший парень с патронного завода читал по складам депешу и обращался к собравшейся толпе с веселыми комментариями:

— ....Пле-пле-е-вна еще не взята. Генерал Ши... Ши... Шильдер... Шу... Шу... Шульднер отступил.. Ага, так тебе и надо, жидовская харя!..

Я полюбопытствовал узнать у чтеца, кто же это будет такой генерал Шильдер-Шульднер: кажись, будто наш?..

Парень с презрением взглянул искоса на меня и даже присвистнул от негодования:

— Кто?.. Кто?.. Вестимо кто: самый главный жидовский енарал, — что от египетского фараона к салтану на помогу пришел... Не знаешь? А еще словно бы скубент!.. Очки-то лучше протри!..

«Очки» было употреблено иносказательно, так как в то время я очков не носил.

---

*) Перед новым годом (1878) я однако так простудился, что прихворнул на несколько дней и не мог видеть знаменитых похорон Некрасова.

Мои новые приятели дружно расхохотались над этой историей, но группа наиболее развитых из них с серьезным огорчением принялась рассказывать, что таких злополучных ребят между питерскими рабочими девять десятых, — не по своей вине, конечно, — и что им самим, с которыми молодежь работает пять-шесть лет, с начала 70-х годов, приходится в свою очередь много заниматься с товарищами «не пропагандой, а чтобы хоть мало-мальски невежество рассеять»...

С этой выдающейся частью рабочих Петербурга я, наоборот, сам изрядно стеснялся. Ни моя простая наружность, ни мой простой русский язык, которому на веки вечные я выучился в детстве и отрочестве на кухне, на улице и в лесу, ни даже гармония, на которой я залихватски играл, увеселяя знакомых, все это еще не могло сблизить меня с пионерами столичного пролетариата. Они были в известном смысле развитее меня, провинциального гимназиста, только-что ставшего питерским студентом. Их не могли непосредственно интересовать ни орловские трепачи, ни мценские пильщики. А из пропагандистских брошюр, всех этих «Мудриц Наумовн» и «Сказок о четырех братьях», им едва ли не нравилась лишь одна «Хитрая Механика» (которая в течение долгих лет приписывалась то тому, то другому революционеру, а на самом деле была написана известным Черниговским статистиком Варзером).

Тут, по крайней мере, рабочие знакомились с механизмом современного государства, и как составляло оно свой бюджет, и почему напирало больше на косвенные налоги да на займы, и почему с неохотой увеличивало прямые налоги, а уж о прогрессивных-то и совсем не думало. Рабочую среду, после русско-турецкой кампании, которая должна была принести с собой всякие налоги, особенно занимали все эти вопросы. А я был как раз несведущ по этой части. Из разговора с Мурашкинцевым и Халтуриным я заключил, однако, без особого труда, что лучшим приемом агитации и даже общей пропаганды было читать в рабочем

кружке газеты или журналы с подходящими статьями и тут же всем вместе разбирать их. Сам Халтурин был и для себя и для других исправным чтецом газет. Из петербургских газет им и его приятелями читались «Голос» и «Новое Время»: хотя последнее уже со времени войны ударилось в национализм, все же в нем бывали порою живые статейки по внутренним вопросам. Когда речь заходила о железнодорожном хозяйстве, в студенческих библиотеках брались, бывало, номера «Русских Ведомостей» из-за статей молодого, тогда страшно популярного Чупрова. В России уже в то время знали, что Маркс во втором издании «Капитала» «похвалил не только Чернышевского, но и Чупрова». Конечно, это располагало...

Халтурин, на общей квартире которого по Саратовской с двумя-тремя рабочими я частенько бывал, читал у себя, кроме того, еще очень внимательно в «Отечественных Записках» внутренние обозрения и критику ежегодной государственной росписи (по большей части Н. Ф. Анненского), и вообще финансовые статьи. Это меня приучало к чтению таких же статей со специальной целью совместного обсуждения в увеличившемся понемногу кружке рабочих, любителей послушать и поговорить. Я даже от времени до времени наносил визиты моим знакомым адвокатам, расспрашивал их о законах, распоряжениях, новых указах, новых налогах и притаскивал с шикарных квартир на Литейном, Сергиевской или Захарьевской в свою клетку целые томы и пачки брошюр административного содержания, чтобы и для себя и для других получше познакомиться с отечественными порядками.

О заграннце и я и мои товарищи по чтению знали мало. Хороших газетных корресподенций из-за рубежа было в то время совсем немного, а то, что помещалось, имело узко политическое значение, находясь в связи с бурями, поднятыми в Европе плохой войной и еще худшим миром. В том же «Новом Времени» врал за четверых с Запада только-что раскаявшийся набатчик Молчанов. Иногда кое-что я на-

ходил в неофициальном отделе правительственного «Журналь де С.-Петерсбург». Изредка попадали в Россию социалистические газеты на французском и особенно на немецком языке (скоро последние были смыты «законом о социалистах» 1878 г.).

Так проводил я время с двумя-тремя кружками рабочих в роли чтеца и комментатора почти всегда легальных газет и журналов. О собственно пропаганде я и не помышлял, не считая себя достаточно подготовленным. И раз лишь я прочитал реферат общего содержания: о переходе феодального средневекового строя к промышленному строю нового времени (по Адаму Смиту, обострив его данными из последних — исторических — глав «Капитала»). Этот мой доклад, впрочем, настолько понравился присутствующим, в том числе Мурашкинцеву и Халтурину, что я должен был снова повторить его по их приглашению в другом месте, под Питером, возле станции Сиверской, куда повез нас в компанию сельских учительниц и телеграфистов один столичный телеграфист, — приятель Мурашкинцева, — который очень увлекался тогда Халтуриным и вскоре должен был оказать ему, а отчасти и русскому рабочему движению случайную, но немалую услугу (о чем ниже).

Я лично испытывал в ту пору жесточайшую нравственную неудовлетворенность. Всю позднюю осень 1877 г. я провел в только что описанных мною занятиях. На Введенье ломает леденье, — говорит народное поверье. Приблизительно к Введенью взломало леденье и в моей голове, и я почувствовал, что снова остаюсь без всякой опоры и без всякой идейной цели. Приглядываясь, прислушиваясь, как держали себя с рабочими и лавристы и бунтари, — а между теми и другими были люди, которых я, столь юный и столь неопытный, не мог не уважать, — я раздирался противоречиями, не знал, на какую сторону пойти, и потому сверх всего испытывал еще стыд, что до сих пор не вступил формально ни в какую революционную организацию: «чем же я лучше либералов? те тоже примеряют и выби-

рают, да и довыбираются, пока на тепленькое местечко не попадут».

Чутье мне подсказывало, что лавристы, пожалуй, как будто и более правы. Они теперь принялись за городских рабочих вплотную, основательно знакомят их с социализмом, готовят из них сознательных борцов за дело... И все это складно у них: большинство... рабочий социализм... — будущее свободное царство труда...

— Но только когда же это все будет? — начинало спрашивать 18-летнее сердце:

Покамест травка подрастет,
Лошадка с голоду помрет...

Уж очень наши марксисты стараются, чтобы все делалось постепенно, и никаких бунтов, ни даже беспорядков не было. Этак они никогда ни до чего не дойдут!..

— А бунтари! — все громче и громче принималось стучать сочувствием к ним все то же 18-летнее сердце. — Вот уж этих упрашивать не надо, чтобы с места сдвинуться. Мало того, что, как только стачка в Питере, они сейчас же на этом самом заводе или фабрике, но даже и у нас в академии, лишь только начнется какая-нибудь самая пустая история против начальства, или что-нибудь в политике больно царапнет, они тут уже между студентами ходят и протест поднимать зовут... Да, это люди...

Но снова теплая струя в душе сменялась холодною, и голос сомнения звучал в свою очередь:

— А зачем же они всех распропагандированных хотят из города в деревню перетащить, на Волгу, на Дон, или еще куда? Что ж, они, может быть, и Шмидта с Петерсонами в наши края к мценским пильщикам пошлют... Но, с другой стороны, если и здесь все время проводить с лавристами?..

Я изнемогал от этих нескончаемых недоумений и вопросов, за которыми тянулись, прыгая, словно нитки в спутанном клубке, все новые и нерешенные. Я жестоко издевался над своими читательными упражнениями, — не над своими слушателями и собеседниками, а именно над

самим собой и своим неуменьем выполнить, как следует, даже эти-то не Бог знает какие мудрящие функции. Мне казалось, что мои приятели-рабочие только по доброте душевной да из-за снисхождения к моему усердию слушают, что толкует им этот невзрачный, сероглазый юноша-мальчик с носом свинчаткой и забавным провинциальным выговором: «а у нас у в Орле».

Мне стало противно существование, порою почти совсем не хотелось есть, и я не каждый день ходил терзать и без того изрядно тощую грудь нашей общей студенческой матери Еленки. К этому времени относится братское об'ятие Арцыбушева, которое спасло меня от излишнего отчаяния и внушило мне мысль принять радикальное решение, а пока путем продумать его:

— Отчего я так недоволен собою? Оттого, что я не живу так, как должны жить настоящие люди, как на самом деле живут все мои нелегальные знакомые. Они разорвали связь с привилегированным миром, они отдали жизнь народу и революции — они правы и они счастливы! А я? — А вы-с, милостивый государь, вы называете себя социалистом и революционером, но что вы сделали для ваших идей?..

— Сегодня вы в академии, — бичую я себя, — и хохочете над прыжками полковника Усова у физического аппарата. Завтра вы заходите в полный как чаша дом Виктора Герасимовича Никольского и за вечерним чаем одобрительно слушаете, как радушный хозяин мастерски рассказывает по просьбе своей добренькой и наивненькой жены уморительные истории: «Витя, Витечка, да посмешнее, знаешь, ту новенькую, для гостей — об исправнике в лиловой шляпке». В воскресенье вы попали на завтрак к папашиному приятелю первогильдейскому купцу Полилову, и присутствуете при том, как его сын угощает огромными кусками кровавого бифштекса таких же огромных кровавых бифштексов в длиннейших фланелевых пиджаках и штанах, односложно рычащих: «йес, сэр», «но, сэр», «ол райт», «ай сэй»... Ну, а потом два или три раза в неделю вы можете

наложить на себя пост и даже епитимию: протрястись на верху конки часа полтора за заставу; или просидеть вечер в грязной ресторации за полдюжиной кислейшего пива с тремя-четырьмя рабочими, которые с трудом могут расслушать ваше чтение длинных, как простынь, газет, сквозь рев органа и визг дерущихся проституток; или придти в большую, почти совсем без мебели комнату Халтурина и с удовольствием пожать крепкую мозолистую руку хозяина, который при этом кивнет головой на подоконник с книжками, — это одна из полок его библиотеки, — и ласково-серьезно спросит:

— А, читал, Сергеич, как Головочов-то в «Отечественных» росписался? Чуть-чуть не революцией припугнул начальство!..

...Нет, так дальше продолжаться не может. Отныне я решил тоже быть «нелегальным», совсем уйти от сытых и пойти к голодным, жить под чужим видом среди рабочего люда, радоваться его радостями, горевать его горем, и прежде всего оставить академию и отказаться от отцовских денег... Не улыбайтесь, читатель, двадцать рублей не велики деньги, но они представлялись мне символом рабства, канатом, который привязывает мои революционные корабли к старому берегу. Романтически настроенное воображение укоризненно рисовало мне библейского богатого юношу, который не раздал имения, по словам Христа, и не пошел за источником жизни вечной... А я, я пойду за новым источником, и хоть мне раздавать нечего, но я заявляю родным, что отказываюсь от наследства и не хочу больше получать ежемесячное пособие от мира неправды: знаете, и двадцать рублей прибавляют изрядный горб к привилегированному верблюду, который должен пройти через игольное ушко, чтоб войти в царство небесное социализма...

С душой, переполненной самых евангельских чувствований, я сообщил о своем намерении Богдановичу, прося его достать мне нелегальный паспорт. Но так как этот мой серьезный разговор с ним происходил внизу моей же голу-

бятни, в трактире «Выборг», за стаканом пива, то по обыкновению быстро охмелевший «Попка» принялся меня жестоко разносить. На сей раз дело уже не ограничивалось «софистом» и «гегельянцем»: он честил меня «капризным баричем» и «рисующимся паразитом». Сначала я смиренно, все из-за своего евангельского настроения, терпел эти поношения («блаженны вы, которых ижденут и рекут на вас всяк зол глагол» — мелькало у меня в голове), но под конец тоже рассвирепел и ушел к себе, оставив Богдановича изливать свое негодование в одиночестве.

Ранним утром «Попка» сидел уже у меня на кровати, добрый и ласковый, каким он лишь редко бывал теперь, и старался с высоты своего двадцатитрехлетнего возраста и двухлетнего революционного опыта жизни на нелегальном положении серьезно взвесить шансы моего нового плана существования.

— Я больше и горячился-то вчера потому, — слегка стесняясь, начал он, — что, как мне показалось, ты чересчур легко и как-то сразу решил стать нелегальным... Тяжелая это жизнь: все время приходится лататы задавать. С настоящим паспортом куда как лучше: можешь тоже все время революцией заниматься, а там когда-то еще себя хорошенько скомпрометируешь!.. Прямая выгода!..

Я горячо протестовал против его слов, будто мое решение было принято легко и сразу... Оно зрело в моей душе уже не одну неделю, и я больше не в состоянии ждать... Академия становится мне все безразличнее, да и атмосфера там уже сгущалась вокруг меня. Товарищи по землячеству косились на меня и говорили, что меня только и видно, что с какими-то посторонними. А после волнения, вызванного среди студенчества особенно возмутительными перепетиями ведшегося все это время большого процесса, наши военные субики не давали мне и на минуту сойтись в кучку с товарищами, чтобы не пролезть сейчас же к нам и не начать записывать наши разговоры.

Я заранее старался опровергнуть возможные возражения против моего шага в рабочую среду. Я сам знал, что при своей физической неловкости и близорукости я нескоро выучился бы какому-нибудь труду на фабрике — разве вот могу еще с Орла кое-как по переплетной части работать, — но за то я мог бы жить на одной квартире с рабочими и товарищески участвовать в их идейной жизни.

Богданович заметил, что раз дело стоит так, то отчего же в конце концов и не попробовать? Кстати, в последнее время было много арестов между интеллигенцией, занимавшейся с рабочими, и молодые кружки остались совсем без руководителей.

— Ну, а что касается вида, так я, брат, такой тебе принесу, что сам паспортист в участке лучше не придумает. В нашей бунтарской небесной канцелярии в Питере мастера хоть куда!..

Здесь я ставлю скобки. (За их оградой бывший купеческий сын, Николай Сергеевич Русанов, выходит из академии по прошению и исчезает с питерского горизонта, уехав, согласно полицейской отметки, на юг России, а на сцену появляется ново-евангельский Юноша в новом естестве, в виде 20-летнего сына дьячка, Ивана Николаевича Богословского, который, судя по паспорту, снискивает свой хлеб поденной работой.)

VII.

„Нелегальная“ жизнь. — Выстрел Засулич. — Борьба лавристов и народников. — Каблиц и Плеханов. — Второй раз аттестат зрелости. — Конец „нелегальной“ жизни.

Прописывающийся Юноша вместе с непрописывающимся Попкой селится на квартире у двух молодых рабочих, одного слесаря, другого токаря по металлу, принадлежащих по своему заработку и виду к аристократии петербургского трудового люда и в качестве уже опытных членов бунтарской группы смело снимающих две чистых комнаты по Симбирской улице у Куопиосской мещанки Инны Коскайнен как

раз над обширной квартирой первого этажа, которую занимает сам господин жандармский полковник фон Трахтенберг. Так охотник на тигров пристраивается поближе от логова зверя, чтобы лучше наблюдать за хищником и отучать его от врожденной кровожадной подозрительности...

Ново-евангельский Юноша первое время в восторге. В Орел к празднику отправлено длинное-предлинное, наивное-пренаивное и чувствительное письмо, в котором идейно-блудный сын из'ясняет, что благодарит отца и мать за все их прежние хлопоты и попечения, но уходит от них навсегда, неизвестно куда, ибо невозможно жить в царстве лжи и неправды, «особенно теперь, когда после войны у мужика последнюю корову со двора за подати сводят». (Домочадцы после рассказывали Юноше, что в этом месте мать особенно горько всплакнула, а отец разбушевался и просил ему все показать, да у какого мужика и когда это он свел последнюю корову!) Письмо Юноша заканчивал отрясением праха с ног своих на всю приходившуюся ему часть движимого и недвижимого и был — увы! — косвенной причиной возникновения одного из столь обычных в старой купеческой среде смутных дел о наследстве, которое, к сожалению, больно зашибло своим банальным окончанием и ни в чем неповинных младших членов семьи...

Но в то время Юноша ничего этого не знал и потому был спокоен и радостен в сознании исполненного долга. Был он тоже радостен и потому, что жил с настоящими рабочими людьми и почти (!!!) такой же, как они, жизнью. То есть, конечно, он не работал по ихнему с 6 час. утра до 7 час. вечера и, кроме первых двух дней, избегал есть их простой обед из двух блюд (такого он у Еленки не едал!). Но он делал все, что мог, чтобы только участвовать в обиходе их существования и быть им чем-нибудь полезным. Так он усердно и неловко щепал лучину, усердно и столь же неловко, целыми получасами ставил самовар, пока кто-нибудь из товарищей не прекращал этого надругательства над все выносящей, но «боящейся» распаяться медью.

А главное, он читал сожителям и как читал! Газеты, журналы, книги, брошюры, листовки, прокламации, изящно печатавшийся тогда в тайной типографии подробный отчет бесконечно тянувшегося большого процесса, и т. д. — все это служило Юноше предметом чтения и комментариев, в задней комнатке второго этажа, в большом деревянном доме на Симбирской, как раз над службами величественного жандармского полковника... Товарищи по квартире оценили это усердие, да и вообще вели себя так, что Юноша все время чувствовал себя согретым их грубоватой, но искренной лаской. Особенно один из них, Ваня, — забыл теперь его фамилию, а другого забыл и имя, — по дружески относился к своему тезке (Юношу ведь тоже теперь звали Ваней, или Ванья Николаевис, на языке хозяйки)...

Увы! безоблачное счастье продолжалось для Юноши и тут недолго. Его стал жестоко сосать червяк, — но сосать воистину в непереносном смысле. Чувство исполненного долга принесло спокойствие духа, спокойствие духа возвратило аппетит... Ах, как захотелось есть молодому организму!.. Я не знал, что делать, как забыть про еду, когда мои товарищи уезжали на завод, по близости от которого они в полдень завтракали, и я оставался в квартире один на целый день, выпив всего стакан чая с куском ситника.

Саша Богданович, который тоже голодал, но у которого была уйма приятелей в Питере, с утра начинал кружить по огромной столице и успевал нередко «садиться на пищу», принося даже мне порою кое-что «на поправку». Но мне в мои с'едобные места нельзя стало ходить. Уморив гражданскою смертью сразу купеческого сына и студента-медика, я уже не мог восстать из мертвых и отправиться на еду к Никольскому, Грацианскому или Богданову, тем более, что отец мой, хоть и не пожелав донести о моем исчезновении начальству, явился в Питер и постарался предупредить всех своих и моих знакомых о том, что я «пропал», и что от меня теперь можно ждать самых страшных революционных вещей...

Галлюцинациями развертывались предо мною столы, уставленные явствами, у моих привилегированных знакомых. И пироги, —

Вот этакой длины,
Вот такой-то ширины, —

и сиги, и бараньи ноги, и много бараньих ног, и даже чай с печеньями, дефилировали перед моими глазами на бесконечно длинных гастрономических смотрах. А редкую ночь я не завтракал у Полилова и не раздирал проклятых, таких сочных, но увы, зашитых в фланель бифштексов...

И стал зеленеть ново-евангельский Юноша, — не так, как полагалось бы по законам естества всякой молодой травке, а как зеленеют люди, которым постоянно и сильно хочется есть, есть же нечего... Спасли родственные души, души-сестры, души-матери, которые проникли тайну нашего нелегального существования. У Богдановича была масса поклонниц. У меня поклонниц, правда, совсем не было, но за то я сам поклонялся целому ряду знакомых петербургских молодых женщин и девушек, всех тех, которых я встречал на курсах, сходках, вечеринках и которых я, вырвавшийся из купеческой грязи, возносил до небес идеала.

Когда наиболее хорошо знакомым из них было по секрету сообщено, что Русанов перешел на нелегальное положение, и что как ему, так и его товарищу приходится очень туго, то сейчас же этот корпус гражданских сестер милосердия развернулся самым широким и деятельным строем.

Надо было найти нам хоть какие-нибудь занятия, работу, место, чтобы возместить исчезнувший у евангельского верблюда двадцатирублевый горб, без которого он мог бы с чересчур большой легкостью проскользнуть через игольное ушко в новый лучший мир. Забегали по конторам газет, ища адресов подписчиков для переписки. Бросились в переводческие, по большей части женские общества, забирая для нас работу на свое имя. Осаждали адвокатов с просьбой отдать «двум чудесным людям» часть письмоводства. Была произведена самая тщательная статистика неспособных пе-

тербургских детей (привилегированных, то есть платящих сословий) в возрасте от 3 до 23 лет, и устроено энергичное давление на родителей с целью вменить им в обязанность для всех неуспевающих чад приобрести учителей и репетиторов.

В конце концов некоторая работа была нам таки найдена замечательным кружком из дюжины слушательниц медицинских курсов, что жили на Песках, возле Николаевского госпиталя, и носили забавное название «двенадцати спящих дев», так как именно никогда, кажется, не спали: как бы поздно вы ни зашли к ним, ученые отроковицы неизменно сидели у себя в общей комнате под большой светлой лампой, пили чай, и либо изучали анатомию, либо горячо спорили о будущности России, а в ней о будущности женщины...

Немудрено, что такому удивительному сообществу, члены которого спали вдвое меньше простых смертных и развивали в течение дня самую разнообразную и кипучую энергию, удалось достать нам работу в виде грошовых переводов в одном из эфемерных предприятий небезызвестного в то время афериста, носившего провиденциальную фамилию Трубникова. Мы не стали однако предаваться суеверным размышлениям на тему Номен-омен (в трубу!) о прочности нашего заработка, а принялись усердно за дело. Точнее, принялся усердно я, так как Богданович нашел в Питере один из своих южных кружков и целиком залез в конспирацию.

Увы, некое комическое происшествие заставило нас скоро сняться с места, пуститься в пространство и потому, за неимением квартиры, утерять трубниковские переводы. Однажды яркой морозной ночью, Попка, Ваня и я выбежали, как были в блузах, на минуту в хозяйкин чулан взять пачки с книгами и, изрядно продрогнув, уже возвращались в припрыжку к двери нашей квартиры, как вдруг в чистом воздухе резко раздался звук шпор, и на длинной лестнице, ведшей снизу к нам, во второй этаж, послышались грубые голоса.

Попка, как маленький ягуар, прыгнул снова в чулан и потащил меня за собой. Мы насторожились.

Звон шпор приближался. Голоса становились все яснее.

— Чего ты людей-то булгачишь? Сказано тебе 11-й номер: туда и вали прямо, а по другим квартирам не слоняйся...

— Да номеров-то не видать, Михайло Иваныч: на дворе месяц, а тут такая темь, словно в подвале...

— Темь!.. А еще жандарм... Зажигай свечу-то, что я тебе дал, да и звони!..

Голоса остановились как раз у нашей двери: то был злополучный номер 11-й. Раздался пронзительный звонок.

Попка вцепился мне в плечо и таинственно шепнул:

— К нам, брат, эскадра привалила!.. Как только они в дверь, мы на улицу!.. На Фурштадтскую!.. Айда, за мной!.. Раз-два-три!.. Понял?

Я ответил движением плеча.

Из-за двери послышался полусонный лепет нашей хозяйки:

— Кто там?

— Отворяйте сударыня: свои приехали! Будете довольны-с! — молодцевато и, как нам показалось, с самой возмутительной издевкой воскликнул один из жандармов.

Дверь с треском распахнулась.

Прошла минута-другая, пока люди, шумевшие у двери, все исчезли в нашей квартире. Оттуда раздавались голоса наших приятелей рабочих и громкое женское всхлипывание...

— О, черти! — Шопотом проговорил Попка и, опять-таки, как маленький ягуар, в три прыжка был внизу лестницы, залитой на повороте ослепительно голубым сиянием высоко взобравшегося месяца.

Я за Попкой. Занятый в точности исполнением его предписания «раз-два-три», я плохо смотрел себе под ноги, и как раз по середине лестницы, в ее еще неосвященной части, налетел на что-то очень громоздкое и тяжелое, что заставило меня жестоко спотыкнуться и прокатиться по обледенелым

ступенькам почти вплоть до выходной двери... От боли и неожиданности я закрыл глаза.

Я страшно расшибся. Щупаю голову, руки, ноги — кажется, все цело, но во всем теле такая ломота и слабость, что не могу подняться... Глаза снова закрываются.

— Ну, вот и конец приключений: недолго напрыгался! — стараюсь я говорить себе с равнодушной иронией, от которой, однако, хочется плакать: — вот и заберут тебя сейчас, раба Божия, а что ты хорошего успел сделать?

Двадцати-градусный мороз совсем привел меня в себя. По лестнице раздаются шаги... Кто-то наклоняется надо мной... Жандарм? Нет, рабочий Ваня!..

— А ты, что, тезка?.. Чего лежишь?.. А Попка?

Я слабо махнул рукой в сторону исчезнувшего.

— Удрал... А я вот расшибся... Жандармы...

— Какие жандармы! И жандармы не в жандармов!.. Это к нашей хозяйке сестра из Финляндии приехала, да по ошибке и шасть с багажем в первый этаж. Ну, а там господин полковник ее в лучшем виде принял — известно, военная косточка, кавалер хоть куда — и своих жандармов в провожатые и носильщики дал... Мы и сами с товарищем в первую минуту думали, что влетели, ан на наши слезы-то на сиротские Господь Бог и смиловался и превратил военного фараона в мирного... Проклятые жандармы и забыли на лестнице эту чертову корзину с бельем!.. Ищут теперь!..

Ваня весело посмеивался и все старался привести меня в более или менее вертикальное положение, пока, наконец, не достиг этого и не потащил меня, словно пьяного, наверх.

По лестнице, оживленно разговаривая о только что полученном жирном могарыче, сходили жандармы, много жандармов, рослых, усатых, здоровых, одетых по домашнему в фланелевые рубашки, и иронически поглядывали на наше скорбное восхождение. А в передней стояла перед зеркалом и усердно причесывалась молодая, толстая, беловолосая

финка, делясь то смехом, то слезами со стоявшей тут же и восхищавшейся ею сестрой.

«И все это Лорелея наделала своим пением!»

На следующее утро я отправился на Фурштадтскую, на знакомую мне барскую квартиру, куда должен был по условию скрыться вчера Попка и куда часто влекли его голубые глаза дочери знатной хозяйки. С пальто и фуражкой Попки под мышкой я стоял в смущении и раздумьи в передней и слышал ясно доносившийся из соседней комнаты голос Попки, который с одушевлением, кашляя и пыхая папиросой, рассказывал, — вероятно, уже не в первый раз со вчерашнего дня, — как ему удалось еще и еще утечь, но как его приятель, «знаете, вот этот такой юненький и неопытненький», остался в лапах жандармов...

— Я, знаете, еще в чулане чувствовал, что ему сноровки не хватает...

Робко, просовывая вперед через дверь, вроде как для защиты и оправдания, пальто и фуражку Попки, я переступил порог большой светлой комнаты, где сидело с десяток молодых женщин и мужчин...

Эффект получился неописанный. Все перестали говорить. Водворилась тишина. Была слышна лишь идиллическая симфония большого кипевшего самовара.

Но ново-евангельский Юноша, ставший на миг центром всеобщего внимания, чувствовал себя в это время не героем, а идиотом.

— Как?.. Это ты?.. Это вы?.. Каким образом?.. Бежали?.. — раздалось наконец со всех сторон.

Надо было как-нибудь об'ясниться.

Юношу терзал стыд, и он снова решил прибегнуть к находившейся под рукой — под мышкой — диверсии:

— Вот твое пальто... и твоя фуражка, Попка... — умоляюще промолвил Юноша.

— Вижу... Но сам-то ты как?

— Да, да... Сами-то вы как?

Об'ясниться, надо было об'ясниться!..

Делать было нечего, и Юноша принялся самым бесхитростным образом за свое повествование... О, ужас! Его ждал колоссальнейший успех рассказчика, — успех, конечно, не по его вине. Но вся эта история была так нелепа, а деяния Юноши еще настолько усиливали ее комическую сторону, что с третьей же фразы слушателями овладел неистовый, безудержный, молодой смех.

Меня перебивали, мне кричали: браво! бис!.. Мне предлагали чаю, варенья, сливок, печений, мази растереться и той же самой мази на бутерброд: «только, голубчик, рассказывайте, о-о-ох, рассказывайте только, как вы это там о чухонку... то бишь о корзину... нет, о полковника Трахтенберга трахнулись»...

Хохотали все, сначала на рассказ, а потом так себе, только потому, что молодые нервы просили отдыха и веселья, потому что вести и нелегальные отчеты с большого процесса заставляли молодежь жить это время ненормально приподнятою жизнью, и порою так хотелось забыться и от всех этих ужасов и мерзостей, и даже от возвышенных слов и дел.

Смеялся даже желчный Попка, хотя теперь и его прыжок ягуара с Симбирской на Фурштадтскую рисовался в несколько комическом освещении, и это его видимо раздражало. Но, вдосталь насмеявшись, вся наша компания стала раздумывать, не может ли и этот водевиль кончиться не по водевильному. Ночное приключение могло возбудить толки, и синий тигр мог другой раз зашевелиться уже в серьез.

Так как Попка жил по Симбирской без прописки, а я проживал там по паспорту, хоть и фальшивому, то благоразумие требовало предварительно произвести на местах некоторую рекогносцировку. «Нелегального революционера» Богдановича молодежь не пустила от себя. Мне же, хотя и нелегальному, но собственно ни в чем пока не скомпрометированному, было дано дружеское поручение разузнать, как и что.

Когда я обратился на Симбирской с этим вопросом к своим товарищам-рабочим, они прямо сказали, что, по их мнению, нам с Попкой будет, пожалуй, лучше уйти поскорее с их квартиры. О нашем приключении болтали уже на дворе, в пивной и в овощной. Знакомая охтенская молочница рассказала Ване даже целую историю, как у них в мезонине, видишь ли, была сходка, да ее накрыли: один сицилист в одном белье за Неву убег, два через окно по крыше на Финляндский вокзал пробрались, и только одному жандармы успели подножку на лестнице дать, да тут же его к полковнику на кухню под арест свели. «А ты, Ванюшка, все проспал»...

Приходилось распрощаться с нашими славными ребятами и устремляться в поиски новой квартиры, а пока ночевать по разным знакомым. Попка исчез, не явившись больше на Симбирскую. Я же пришел, чтобы только взять вещи и заявить, что нашел работу в Финляндии. И снова началось наше кружение в Питере, —

По малу, по полсаженьки, низком перелетаючи.

Во время этих перелетов мы залетели и в высокие палаты пана Венцковского — выражаясь торжественно и даже весьма торжественно, ибо палаты эти состояли из небольшой, но очень чистой и недурно убранной комнаты в маленьком домике на одном из внутренних дворов по Большой Дворянской. Тогда я еще не имел удовольствия лично знать уважаемого пана. Но в радикальных кругах о нем уже передавалось немножко из-под полы мнение, как об очень способном и энергичном революционере, который, к сожалению, только чересчур много якшается с либеральными писателями. В этот момент Венцковский был на рождественских каникулах у себя в Польше, но предоставил свое помещение в распоряжение знакомой курсистки, тоже польки, Вериго, с поручением приючать в нем в случае надобности людей, нуждающихся в квартире.

Так, по крайней мере, сообщила нам Вериго, вручая нам с Попкой на несколько недель комнату с просьбой

щадить скатерти и коврики и предупреждая нас, что этот адрес знает не вся студенческая публика, а лишь русские и польские радикалы. Сюда приходил к нам франтоватый чайльд-гарольдик Васюков, который своими меланхолическими стихами, по словам Арцыбушева, «совращал девиц невинных умом от рождения», а нас приводил в бешенство чтением своей унылой, но злостной элегии на Казанскую демонстрацию:

Были дни у нас шумные, бурные,
Звуки чудные всюду неслись, —
Колыхаясь, знамена мишурные
Над ребячьей толпою взвились!..

У нас же появлялся Вагин, в просторечии Зеленый Змий, прозванный так за то, что неизменно держался, как сам же говорил с грустной улыбкой, «спиритуалистического направления». Способный студент-московец, пристрастившийся к водке во время Мезенской ссылки, проведенной им в самых ужасных условиях, он редко бывал трезв, но всегда интересен, а добротою своею приводил всех знавших его в умиление.

С ним у меня связано одно и тягостное, и согревающее душу, — не знаю и сам, как сказать, — воспоминание. В нашей уютной комнате нас посетило часто случавшееся с нами теперь несчастие. Мы голодали третий день, выпили не один стакан жидкого чаю, поприели все самые залежавшиеся корки на столе и в шкафу и теперь лежали вниз животом, — Попка на кровати, я на диване, — стараясь неистовым куреньем, благо табак еще оставался, заглушить все возраставшее желание есть... Часов в семь вечера дверь отворилась, и на пороге появился Зеленый Змий. Старательно заправленная хозяйкой Венцковского лампа ярко освещала картину нашего утонувшего в дыму молчаливого злополучия, которое было сейчас же вскрыто опытным глазом Вагина. Он сбросил с себя свою в конец растрепанную с широчайшими полями шляпу и улыбнулся своей милой, почти

детской улыбкой, которая так странно расцвела на его плохо выбритом, преждевременно состарившемся лице.

— На животе лежим... Мечтаем, как бы это пищи принять... Знакомо, — он слегка вздрогнул и вдруг весело заговорил: — а знаете, милорды и джентльмэны, что я вам принес?..

Он достал из кармана тощего пальто и поставил на стол нераспечатанную «сотку» (в те патриахальные довиттевские времена, когда монополька еще не успела разрушить идиллии старинного пития, «мерзавчиками» честную христианскую посуду не называли):

— Это для веселия!..

Он снова опустил руку в карман пальто и вытащил новый, как жар горевший пятак:

— А это для поддержания существования!..

И Зеленый Змий сейчас же предложил милордам и джентльмэнам на утверждение проект использования внезапно открывшейся статьи дохода:

— Высокое собрание согласится, что, уделив из пятимиллионного фонда 2 миллиона на покупку хорошей скибки черного хлеба, а 3 миллиона на приобретение куска студня с присовокуплением некоторого количества кислой капусты и одного соленого огурца, оно удовлетворит неотложным потребностям голодающей местности...

Так Меркурий не несся в своих крылатых сандалиях по поручению Юпитера, как несся я в своих стоптанных ботфортах вдоль Большой Дворянской, напутствуемый точными инструкциями товарищей, как и в каком месте лучше приобрести элементы сладостно намечавшегося лукуллова пиршества...

И вот я уже почти у дверей знакомой молочной лавки, я уже ощущаю во рту кисловатый вкус хлеба и живую упругость студня... А тут еще капуста, тут огурец...

О, Господи! чересчур размахивая от радости руками, я упустил пятак, и он юркнул возле тротуара в глубокий,

только что выпавший снег и с нескрываемым злорадством спрятался от меня.

У меня подкосились ноги, и я словно по инерции бросился на колени, разрывая огромную, рыхлую, белую пелену: я искал столь же быстро исчезнувшей, как и появившейся доходной статьи Вагина. Искал минуту, две минуты, пять, десять минут, но сквозь пальцы ничего не проходило, кроме бесконечной, пушистой, таявшей у меня в руках массы...

Надо мною безжалостно сиял взобравшийся после метели на самую кручь неба месяц. С его голубым сиянием перекрещивались желтые полосы света от фонарей. А я все ползал на коленах, все разгребал снег и, наконец, поняв, что все потеряно — весь пятак! — заплакал слезами бешенства, горя и стыда...

Мне до сих пор, на расстоянии 45 лет, памятно мое возвращение во свояси, и что я передумал по дороге, и что я испытал, когда сквозь сжатую спазмой глотку едва успел промолвить уже беспокоившимся и поджидавшим меня у приотворенной двери товарищам:

— Потерял!..

И бросился на постель, вызвав странным образом такой же жест отчаяния у Попки, который никогда не хотел делать того-же, что я, претендуя неизменно на самостоятельную роль в нашем содружестве.

Вагин зашагал по комнате:

— Неужели же из-за нескольких копеек предаваться тлению?.. Товарищи, да клянусь вам нашей дружбой, что через час же я принесу вам по крайней мере пятиалтынный... Всех обегаю, а уж достану... А теперь, — и Вагин, ловко отпечатав гвоздем крошечную посудину, быстро и ровно разлил водку в заранее расставленные им рюмки:

— Пьем, страдальцы, в утешенье
Добрый Вакхов дар, вино! —

Процитировал по своему Шиллера, Вагин чокнулся, выпил, крякнул и исчез в морозной ночи «искать подкрепления достойным друзьям».

С опрятной комнатой пана Венцковского связаны у меня воспоминания и о некоторых наиболее примечательных сходках зимы 1877—1878 г., которая вся прошла у молодежи, рядом с реагированием на большой процесс, в жестоких теоретических спорах между бунтарями и лавристами, а отчасти и якобинцами. Эти сходки организовались по большей части под видом именин и т. п. праздневств на общих студенческих квартирах, которых было такое изобилие на Петербургской стороне, во всем этом клубке улиц и переулков, примыкавших с севера к Большой Дворянской и изогнувшемуся дугой Кронверкскому проспекту. А порою, когда собрание предполагалось особенно многочисленное и серьезное, «радикалы» обращались к знакомым «либералам», которые устраивали у себя для отвода глаз нечто в роде раута, по всем правилам светского этикета, но — без светских знакомых.

Вспоминается одна такая большая сходка, устроенная по инициативе добродушной, но изрядно взбалмошной, зело радикальствовавшей «генеральши» Катерины Павловны Дубровиной, в одном из немногих поднимавшихся тогда на почти пустынном еще Каменноостровском проспекте барских особняков. Тут было вдоволь места и даже вдоволь угощения для собравшихся, которые сосредоточились главным образом в большой столовой, где за обширным круглым столом состоялся пятичасовой словесный бой между лавристами, якобинцами и бунтарями.

Открыли огонь якобинцы, то самое нелепое трио набатчиков, которое повергло в ужас и уныние «истинно якобинскую душу» Арцыбушева. Бородатый казак Болдарев зычно призвал всех революционеров к временному об'единению во имя свержения царского правительства и замены его якобинским путем дворцового переворота, — о чем, мол, уже сделано надлежащее распоряжение из Женевы, так что от переворота нам всем собственно так и не отвертеться, — и потому он важно рекомендовал присутствующим заблаговременно «присоединиться», и при том с этим «поторопиться».

«Присоединилась» и «поторопилась», — немедленно же, и очень шумно, — экспансивная генеральша Дубровина, которая на бонтонном русском языке и с примесью отборных французских слов «жюстис», «либертэ», «юманитэ», и т. п. высказала свой восторг от перспективы соединиться всем против «тирана». Но эти восторги были встречены холодно и даже насмешливо большинством присутствующих, а из-под самого самовара вдруг раздался язвительный голос желтолицего, желтобородого господина лет 30-ти.

— Значит, остается только всем обняться?.. В таком случае извините меня, сударыня-с, я вам, конечно, не могу запретить лобызаться с кем угодно, хоть с господином Болдаревым, но сам я, да и все мои товарищи, предпочтем решительно отвести в сторону лицо от поцелуя г. женевского исправника...

Раздался дружный молодой хохот. Борода конспиратора Болдарева разом отделилась от стола, энергично затряслась в пространстве и исчезла в виде протеста за дверью столовой, сопровождаемая бороденкой конспиратора Бандуры и усами конспиратора Балалайки.

Хохот стал оглушительным. Кто-то юным баритоном запел:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями!..

Язвительный господин, столь легко обративший в бегство всю Женеву, победоносно обводил собрание парой своих неодинаковых глаз, — повидимому, одним вставным.

Но настоящий бой только начинался.

Присутствовавшие на собрании лавристы, и один за другим, и в перебой с бунтарями, стали развивать свою точку зрения. Гинцбург, Бубнов, Мурашкинцев, еще кто-то говорили о рабочем социализме. Они верили в окончательное пришествие социальной революции, но когда она придет, они отказывались пророчествовать. Русская община без обобществления далеко не социализм... Читайте Иванова (Глеба Успенского), что делается в русской деревне!.. Без пропа-

ганды социализма в народе сделать ничего нельзя. Понадобятся долгие усилия интеллигенции, чтобы внести в массы сознательный социалистический идеал... Рабочие в больших центрах восприимчивее к нему уже просто потому, что живут в более культурной обстановке. С них и надо начинать, а работая среди них, должно стоять прежде всего на точке зрения их насущных злободневных требований... Но не следует при этом искусственно разжигать их, толкать их на протесты, на стачки по пустякам... Не всякая стачка приносит пользу: неудачная только расхолаживает... Вон в Германии...

Но язвительный господин, давно уже свирепо вращавший своими непарными глазами, принялся возражать, — задорно, пространно, по начетчицки, делая постоянные цитаты из всевозможных авторов и стараясь подействовать на слушателей обилием этих ссылок.

— Господа русские марксисты говорят нам об обобществлении. А у самого Маркса напечатано черным по белому в «Капитале», на странице... на странице 651 (язвительный господин слегка запнулся, приостановил на минуту и слегка прищурил вращавшиеся глаза, и с видимым удовольствием бросил в аудиторию эту на память приведенную точную цифру)...

— В немецком оригинале это на странице 589, — насмешливо раздалось в группе «марксистов».

— Ничего, мы справимся по русскому переводу... Привилегий на разумение Маркса у вас, господа, нет... Так вот, по Марксу выходит, что на Западе обобществление произойдет в результате развития самого капитализма... Но нам-то, нам, русским, надо, значит, дожидаться этой блаженной поры? Может быть, прикажете сначала общину уничтожить, как уже во времена Чернышевского предлагали либеральные крепостники... По их стопам, значит, приглашаете пойти... Да-с?

Глаза говорившего снова сердито завертелись кругом.

— У, противный циклоп! — довольно громко и неожиданно раздалось из уст моей соседки по дивану, молоденькой и видимо горячо убежденной «марксистки».

— Кто это? — спросил я у нее.

— Это, знаете, Яценко, он же «Око», на самом деле нелегальный Каблиц... Пишет все под псевдонимом Юзова в «Неделе». Всю Публичную библиотеку на-листочки повыписал... Своего ума нет, так хоть цитатами, что клюкой, подпереться.

Юная марксистка с негодованием отвернулась от оратора.

Я стал всматриваться в него. Так вот какой этот Каблиц, раньше член Киевской коммуны, а ныне видный теоретик питерских бунтарей, считавшийся среди тогдашней молодежи самым начитанным, — исключительно по русским книгам, — революционером.

— Нет, нам не зачем бежать на Запад за обобществлением! — продолжал запальчиво оратор. — В описании общины Уральских казаков Флеровск...

— На какой странице? — раздалось снова со смешком из рядов лавристов.

— В «Знании» за такой-то год, — полусвирепо, полуторжествующе, но во всяком случае нисколько не смущаясь, отчеканил Каблиц. — Флеровский описывает в этой статье земельные порядки уральских казаков... Какого вам угодно еще обобществления? Вся область, — говорит автор, — все пастбища, вся рыбная ловля в реке Уралѣ составляют одно общее достояние населения.

Говоривший видимо упивался своею собственной убедительностью.

— А социалистический сознательный идеал? Но разве вы не знаете, что в России, по одним авторам 9 миллионов, по другим 11, а по некоторым даже 13 миллионов народу — раскольников, — живут, оторвавшись от официальной церкви и представляя самую благотворную почву для социалистической пропаганды?.. Еще Липранди в своей «Докладной записке»...

Противники разражаются различными восклицаниями.

— Тащи чиновника в авторитеты...

— Мистики — не революционеры!

— Так все эти миллионы — социалисты?!

— Он и толстосумов с Рогожского кладбища туда же приплел!

— Батьку моего в бунтари произвел! — раздается неестественно громкий хохот, повидимому, Мурашкинцева.

Но оратор спешит взобраться на своего любимого конька, обоснование необходимости беспрерывной бунтарской деятельности.

Он повертывается прямо лицом к группе возражателей, важно поднимает правую руку с разящим врагов указательным перстом и докторальным тоном, словно бы читал какое наставление, начинает свой бакунистский символ веры:

— В народе есть понимание социальной правды... А альтруистических чувств у него гораздо больше, чем у всей интеллигенции... Ему не достает только упражнения революционных инстинктов... Между тем Спенсер во втором томе своих «Оснований Психологии», на стр. 119, говорит: «Как мускул укрепляется путем поднятия тяжестей, так и чувства мужества и независимости усиливаются при посредстве упражнения».. Бэн доказывает в своей книге об «Уме и Чувствах», — цитируемое мною место находится в самом же начале главы III-ей, — что то, что стоило сначала больших сознательных усилий, превращается потом в легкое, почти инстинктивное действие. А Карпентер на стр. 97-й своей «Физиологии ума» прямо утверждает, что, отказываясь от деятельного упражнения...

Аудиторию начинает расхолаживать это методическое перечисление всевозможных авторов и различных мест, где только говорится о значении упражнения, и Каблиц кончает среди нетерпеливых восклицаний противников, которые высылают по соглашению между собою одного из наиболее авторитетных своих ораторов, Гинцбурга или Бубнова.

— Вспышкопускательство!.. Вещь известная!.. Мы с ним боремся... Но мы могли бы все же понять его, если бы оно исходило здесь от чистого сердца, от того чувства, о котором столько нацитировал нам усердный чтец иностранных книг в русском переводе.

Кой-кто улыбнулся. «Циклоп» сверкнул более ярким глазом и попробовал парировать удар:

— Чем богат, тем и рад! И впредь к вашим услугам!..

Лаврист поднимал тон:

— Но что было здесь? Авторы, книги, цитаты, цитаты на память, да какие точные: 157 страница с половиною, строка 14 снизу, примечание с двумя звездочками...

— Точность не мешает: значит, не лжешь! — снова сверкнуло «Око».

Но лаврист принимается за Каблица вплотную при растущем сочувствии части слушателей.

— И для чего же все это? Для того, чтобы доказать необходимость идти в народ и поджигать его, когда, может быть, он совсем не готов и совершенно дезорганизован, когда ему грозит неминуемое поражение, когда во всякой деревне, на каждом заводе устроят экзекуцию, когда столько детей поплатятся разорением, пока кормильца будут гноить в тюрьме или гнать по Владимирке, если еще шальная солдатская пуля не скосит его тут же при начале бунта?.. А наш учитель бунтарства будет в это же самое время сидеть в Публичной библиотеке и вылавливать из разных книг всяческие цитаты, чтобы как-нибудь приладить их к своей бунтовской идейке да напечатать в гайдебуровской «Неделе»... «Упражняй мускул», «упражняй бунтовское чувство» и — делай революцию?.. Что же это, гимнастический манеж, что ли, для революционных упражнений полагается?.. Цирк?.. И, может быть, даже именно римский цирк с гладиаторами и восседающими для зрелища в ложах бунтовскими патрициями и сенаторами?..

Тут в свою очередь бунтари подняли страшный шум в аудитории, и за поздним временем решено было отложить неопределенно кончавшиеся прения на несколько дней. Следующее собрание происходило уже совсем в другой обстановке, на Карповке, в четырех смежных комнатах, составлявших помещение одного землячества. Народу, в виду возбужденного прошлыми прениями интереса, набралось видимо-невидимо для сравнительно небольшой квартиры. Ораторам приходилось говорить порою из комнаты в комнату. Говорившего большинству публики слышно было только из-за стены, сквозь открытые двери. И тем не менее оживление было чрезвычайное. Аудиторию составляли на сей раз почти исключительно члены активных студенческих организаций, представители от рабочих групп и несколько легальных и нелегальных крупных революционеров.

Пользуясь не очень неблагоприятным результатом прошлого столкновения с почитавшимся тогда за грозного оппонента Каблицем, лавристы заранее приготовились защищать занятые ими позиции. С самого же начала Семеновский и Бубнов предлагают собранию предварительно составленную их группой резолюцию, указывающую на главнейшие теоретические и практические пункты их мировоззрения: рабочий социализм, усиленную социалистическую пропаганду в массах, преимущественно в городах, очень осторожную агитацию среди рабочих на почве их непосредственных требований, решительный отказ от всяких преждевременных «демонстраций» (тогда слово «выступление» не было еще очень употребительно) среди студенчества и рабочих...

Прения пошли по руслу этого проекта резолюции и почти сразу же приняли для лавристов благоприятный оборот. Хорошо спевшиеся защитники «марксизма» один за другим развивали то то, то другое положение своей программы. Возражения народников были более горячи, чем основательны. Кроме того, сегодня с этой стороны не было до сих пор ни одного выдающегося оратора. К середине вечера все яснее стала вырисовываться победа программы умерен-

ного, очень мирного, чисто пропагандисткого социализма лавристов.

— Мы не менее вашего революционеры. Но революция выростает естественно из всей совокупности социальных условий, а мы можем лишь подготовлять сознательных участников в ней, сопротивляясь всяким попыткам бунта, восстания, мятежа... Восстание не революция, а только тормозит революцию. Неудавшийся мятеж, — а мятеж не может удаться, должен не удаться, — отбрасывает движение на целые годы, на десятки лет назад. Преждевременный бунт — преступление перед социализмом и перед народом... Кровь погибших борцов, страдания побежденных масс, продолжительное торжество реакции, — все это должно лечь на совесть тех, кто все время толкает людей на «постоянную революцию», как выражается ваш Бакунин...

В первой комнате, где дружная группа марксистов, сидя и стоя у большого стола, выходила победительницей из прений, уже не находилось больше возражавших. Еще несколько минут — и торжество лавристов будет несомненно. Смущенные, раздосадованные бунтари перешептывались между собою и все поглядывали во вторую комнату, где вдруг раздались возбужденные, нетерпеливые голоса: «Жорж! Жоржик! Оратор! — Поздно! опоздал! — Как опоздал! Говори, Жорж!»

Из двери второй комнаты вышел, энергично раздвигая слушателей и пробираясь к столу лавристов, молодой статный человек, с умными, темными глазами, длинными, зачесанными назад густыми космами темных же волос и короткой черноватой, слегка отливающей в рыжий цвет бородкой.

— Прошу собрание извинить меня, но я не мог раньше прийти... Я только-что явился сюда по черному ходу с одной сходки, где я как раз занимался тем, в чем сторонники мирного прогресса упрекают нас, бунтарей: толканьем на «постоянную революцию». Проще говоря, я советовал представителям студенчества организовать к произнесению приговора по процессу 193 повсюду демонстрации в высших

школах и, если можно, сговориться и с нашими рабочими группами...

Теперь новый оратор вышел совсем на середину комнаты и смотрел в упор на стол победителей. Он был одет в длинный, очень легкий, пестрый балахон, полы которого развевались при каждом его резком движении.

Сжав слегка горсточкой обе руки и крепко ударяя верхушкой одной в ладонь другой, — он с этим жестом так и остался во все время своей короткой, но энергичной речи, — молодой человек в балахоне заговорил плавным, чистым, временами очень ироническим голосом:

— Я как раз пришел в то время, когда один из ваших ораторов чувствительно распространялся на тему, что он тоже, видите-ли, революционер, но отнюдь не бунтарь, что он, конечно, всей душой за добрую, хорошую, благодетельную революцию, но всем умом и сердцем против дурного, гадкого, пагубного бунта... Я оценил его благородство чувств, но не мог последовать его приглашению возлюбить добродетель в лице революции и возненавидеть порок во образе бунта... Не мог потому, что мною овладело сомнение: имеется ли у оратора такое бюро изобретений, где начавшееся движение может получить патент на правильную фабрикацию революции? Дайте мне такой патент, и я с вами! Но можете ли вы заранее, при самом начале движения, сказать, что это вот революция, а то вот бунт?.. А что если вдруг мы начнем делать скверный бунт, а из него станет выходить хорошая революция? Что же, без вашего патента мы не имеем права участвовать в стихийно разросшемся движении? Должны отказаться от всякого участия?.. Может быть, даже стать на сторону правительства и бороться с движением?.. А то вдруг, неровен час, из бунта вырастет беспатентная революция?.. А ведь это, Создатель мой, как страшно...

В аудитории чувствовался перелом настроения. Почти каждая фраза говорившего вызывала сочувственный смех бунтарей и прерывающие восклицания лавристов. Шум усиливался. Настроение поднималось с той и с другой стороны.

— Это софизм, — раздается из-за стола марксистов. — Когда разразится настоящая революция, никто не будет спрашивать, революция ли это, или нет...

— Извините, господа мирные революционеры! Это не так-то легко узнать по началу... С какого часа взятие Бастилии превратилось в Великую французскую революцию? На какой день трехдневное июльское восстание 1830 г. перестало быть восстанием и стало революцией, достойной упоминания в истории? А революция 1848 г.? Может быть, по вашему мнению, нужно было бы и тогда остаться при либеральных банкетах, а не толкать рабочих на улицу?.. Да либеральная буржуазия так и хотела сделать... Буржуазный либерализм и теперь говорит вашими устами...

Половина аудитории рукоплещет оратору. Другая половина прерывает его речь протестующими возгласами. Среди марксистов раздается:

— Опять софизм... Мы не буржуа, а социалисты... Мы сейчас ответим вам...

Снова балахон развевается по сторонам. Снова одна сжатая рука бьет по другой.

— Вы — социалисты? Не знаю, может быть. Но христианские богословы-то вы уж во всяком случае. Те тоже верят в непорочное зачатие и бескровное рождение... Мы, революционеры, не верим в него, как не верим в мирный прогресс человечества, как не верим в революцию с дозволения начальства. Все великие исторические приобретения человечества брались им только с бою, добывались только кровью... А в вас, претендующих на ученость, нет ни малейшего понимания истории и никакейшего революционного чутья... Оттого молодежь и оставляет вас, как оставил вас даже ваш старый учитель... Вы — общество взаимного обожания и больше ничего... Оставайтесь при своем патенте на одобренную вами же мифическую бескровную революцию!..

Оратор с пылающим лицом, с горящими глазами кончает речь и отходит к стенке, скрещивая руки на груди в ожидании ответа. К нему быстро подходит один из сту-

дентов, хозяев квартиры, и шепчет что-то на ухо. Оратор отрицательно качает головой. Все настораживаются.

— Товарищи, — слышится тихий, но явственный голос студента. — Свой человек предупредил нас из участка, что полиция предполагает заявиться к нам сейчас же сюда, так как не очень-то верит в наши именины... Не мешало бы убрать всех нелегальных...

Кой-кто поднимается и уходит... Говорившего последним уводят почти силою по черной лестнице.

— Жоржа ты моя, Жоржа милая! — проникновенно и даже слегка заунывно восклицает при общем хохоте собрания здоровенный рябой рабочий, который уходит вслед за оратором, «чтобы в случае чего», — и он показывает при новом взрыве хохота свой основательный кулак.

То ткач Петр, который, как нянька, ходит всюду за владельцем пестрого балахона и всячески старается оберегать — Плеханова!

То был, действительно, Плеханов. Я видел его здесь впервые, но сейчас же узнал по обращенным к нему названиям «Жорж», «Жоржик», «оратор», под которыми он был очень популярен в это время в студенческой и рабочей среде, ловко ускользая от преследований полиции со времени своей речи у Казанского собора.

Но Семеновский и Бубнов все же не хотят оставить безрезультатно собрание и обращаются к аудитории с письменным искусно составленным во время самих прений заявлением, из которого явствует, что русские марксисты в принципе и не думают отказываться от революции, но считают прежде всего необходимым изучать окружающие реальные условия и «насыщать идеями рабочего социализма» те элементы, которые наиболее способны к его восприятию, решительно восставая против всякой чисто агитационной, бунтовской работы...

Я ушел и с этого собрания более, чем когда либо, раздираемый сомнениями и нерешительностью. Вообще лавристы лучше соответствовали моему тогдашнему мировоззре-

нию. Но их чересчур мирная тактика шла в разрез со все более и более боевым настроением, овладевшим тогда русскою молодежью и отчасти заражавшим, хотя и в смягченной форме, даже русское общество.

Это сказывалось явственно на отношении интеллигентного Петербурга к большому процессу и особенно ярко прокинулось при покушении Веры Засулич на Трепова. В течение трех-четырех месяцев, что разыгрывалась судебная комедия над так называемыми «ста девяноста тремя» — фактически оставшимися лишь на почве проповеди апостолами социалистического благовестия, — симпатии к ним росли повсюду. Нечего уже говорить о молодежи: для нее судившиеся были образцом величайших гражданских добродетелей. Но и так называемое общество с каждым днем процесса проникалось к ним все большим и большим сочувствием. Не забудьте, что немалая часть подсудимых жила в Петербурге на поруках у своих же адвокатов, или у литераторов (напр. будущий катковец Говоруха-Отрок у Михайловского), высших чиновников, в либеральных, порою аристократических семьях, и успела возбудить у своих хозяев чувства искренней симпатии.

С другой стороны превосходный отчет, издававшийся нелегально революционерами, имел огромное воспитующее и агитационное значение. Такие речи, как Мышкина, нравственно опиравшиеся на столь бесстрашное поведение, которое обнаруживал перед судьями хотя бы тот же Мышкин, поражали даже самого тупочувственного обывателя удивительною душевною красотой. Судившиеся по большому процессу становились любимцами, баловнями общества. В двух-трех общежитиях, в доме Фредерикса, возле Николаевского вокзала, в доме Сивкова, еще в одном большом общежитии вблизи Технологического института, где на последние недели процесса были поселены легко скомпрометированные подсудимые, визиты не переводились с утра до вечера. Людям, которые из-за ничтожной брошюрки сидели по три, по четыре года и теперь были накануне оправдания, посетители

не знали, чем только выказать свое расположение. А те из подсудимых, которые жили одно время у поручителей, стали в роде любимейших членов семьи. Никогда еще правительство, администрация, юстиция не подвергались такому осуждению среди общества. Не только либералы, но честные консерваторы старались всячески бойкотировать сенаторов-судей и специальных судебных следователей по процессу (тогда не было еще слова «бойкот», но самая вещь — нравственное отлучение виновных от общения с порядочными людьми — проводилась так далеко, что даже семьи бойкотируемых высокопоставленных лиц горько жаловались на свое одиночество).

Революционное чувство в молодежи и фрондирующее настроение в обществе вспыхнули ярким пламенем, когда в одно серое, холодное январьское утро в столице разнеслась весть, что социалистка Вера Засулич стреляла во всемогущего петербургского сатрапа, градоначальника Трепова, и тяжело ранила его. Ликование было всеобщее. Надо было жить в эти минуты в Петербурге, чтобы видеть, как был популярен этот выстрел. О революционной молодежи много говорить само собою не приходится, хотя именно она была еще столь сильно в то время проникнута убеждением, что социализм борется не с лицами, а с учреждениями. И ей была еще в общем чужда та точка зрения, на которой считал возможным стоять такой благородный мыслитель, как Джон Стюарт Милль, говоря, что является еще серьезнейшим вопросом морали вопрос о том, не представляет-ли собою акта величайшей добродетели поступок гражданина, который убивает человека, поставившего себя выше закона и права. Во всяком случае покушение Веры Засулич было воспринято революционерами с чувством внутреннего удовлетворения и в немалой степени способствовало общему перелому настроения в смысле обращения к политическому террору.

Но этот выстрел в Трепова нашел сочувствие в широких и самых неожиданных кругах. Временщика столь же повсюду ненавидели, сколько и боялись. Факт знаменатель-

ный: даже пристава, околоточные, городовые, дворники, которым всем насолил петербургский Гарун-Аль-Рашид, промеж себя не стесняясь говорили, что и на таких самодуров находится узда. Приехавшие в 1878 г. на масляной финские «вейки», когда их очень притесняла полиция, грозились сплошь и рядом наслать на нее «самого Сасулиса с пуской».

Либеральные господа и особенно либеральные дамы из общества были в полном восторге от выстрела. В этих кругах любили даже по этому поводу пококетничать знанием Великой французской революции и провести некоторые параллели между Шарлоттой Кордэ и нашей Верой Засулич: Шарлотта Кордэ, убив Марата, бросает свой нож на пол и спокойно отдается в руки правосудия; Вера Засулич, выстрелив в Трепова, выпускает из рук револьвер и без сопротивления дает себя арестовать.

Не удался администрации и ее прием дискредитировать в ожидании процесса подсудимую. Из Москвы Катковым был подан знак, подхваченный кое-какими жалкими петербургскими газетками, представить акт Засулич как дело рук истеричной и порочной женщины, которая мстила за неинтересного арестанта, находившегося с нею, в числе многих политических преступников, в близких отношениях. Даже в этой клеветнической версии поступок бесстрашной девушки нравился чувствительным душам из категории обывателей-романтиков.

Что касается большой петербургской печати, то «Голос» и даже «Новое Время», после нескольких дней колебания, все время до процесса и первое время после суда, пока цензурным ведомством не было совсем запрещено говорить о деле, вели себя очень прилично, во всяком случае гораздо приличнее, чем то было в других соответствующих случаях. На следующий же день после полного оправдания Засулич присяжными, — эта весть, необыкновенно быстро разнесшаяся по городу, показалась, кстати сказать, петербуржцам столь невероятной, что некоторые сочли ее за первоапрельскую шутку, — орган Краевского поднялся сгоряча до таких

высот гражданского пафоса, что изобразил свое настроение на суде словами: «Судили не эту героиню, судили весь наш строй произвола и неправды, и вместе с ним судили всех нас, тех ленивых и нерадивых граждан, которые недостаточно сопротивлялись водворению этого строя». На второй день хамелеонствующий Краевский поторопился отдать редакции приказ ослабить либеральную ноту, и «Голос» стал бормотать что-то не особенно вразумительное. Но было уже поздно — впечатление было произведено, — как было поздно полиции стараться захватить на улице Веру Засулич, выпущенную из здания суда по распоряжению председателя. Революционные, главным образом бунтарские организации так мастерски маневрировали вокруг кареты, куда ими была посажена оправданная, что жандармы никак не могли задержать ее, и ходили слухи, что это именно они с досады убили молодого Сидорацкого, который упал в толпе с простреленною грудью.

С 1878 г. кривая террористических актов сразу прыгнула вверх, и выстрел Засулич оказал здесь заметное действие. Покушения пошли не только по всей России, — убийства шпионов в Москве, Ростове-на-Дону, покушение на убийство товарища прокурора Котляревского, убийство жандармского полковника Гейкинга в Киеве, убийство третьеотделенского генерала Мезенцева среди бела дня на одной из центральных улиц Петербурга, — но и заграницей: весной и ранним летом Гедель и Нобилинг покушались на Вильгельма I, осенью Пассананте на итальянского короля Гумберта. Мне лично бросилось в глаза это быстро крепнущее боевое настроение молодежи, после того как я просидел лето в Доме Предварительного Заключения, куда меня привело в гораздо большей степени комическое, чем трагическое происшествие, о котором я сейчас расскажу.

Когда после выстрела Засулич, полиция принялась, как бывает всегда в таких случаях, «подтягиваться», паспортные строгости очень усилились, и нам с Попкою надо было так или иначе найти понадежнее квартиру. Попка поселился без

прописки у одного из своих либеральных состоятельных друзей... Я все под тем же фальшивым видом Богословского нанял крошечную комнатку у одного из обер-кондукторов Николаевской железной дороги, почти у самого вокзала. Нам приходилось расстаться...

Печально я сидел в своей каморке и делал питания ради грошевые переводы для какой-то международной аптеки, пускавшей рекламы на немецком языке о новом сорте «магически блестящей» свечи Шандора, а на французском — о столь могущественном средстве для рощения волос, что клиенты любезно предупреждались аккуратнее браться за мазь, а то... густая шерсть могла вырасти на самых неподходящих частях тела, напр., на ладони. Ни первые лучи весеннего солнца, робко пытавшиеся заглянуть в мое низкое окошко путем отражения от больших стекол противоположного дома, ни коммерческая зазывная юмористика не могли рассеять того холода и мрака, которые царили в моей душе, обуреваемой сомнениями и сознающей мизерность результатов, полученных мною в смысле умственного и нравственного удовлетворения после 9 месяцев жизни, проведенных в столь, казалось бы, чудесной резиденции мысли и революции, как Петербург...

«Вход через хозяйку» открылся, и на пороге появились Попка и один из его южных приятелей Л., которого я имел случай видеть уже несколько раз. Л. был красивый 25-летний молодой человек, с кудрявой головой и волнистой пепельной бородкой, жертва российской обрусительной политики на Украине. За украинофильство он был исключен несколько лет тому назад из высшего класса Черниговской гимназии, привлекался даже к ответственности в качестве драгомановца, сидел некоторое время в тюрьме, но вскоре был выпущен, работал одно время под руководством известного местного статистика Червинского, а ныне готовился к поступлению на юридический факультет университета. Мне очень нравился мягкий, деликатный, всегда услужливый, начитан-

ный Л., и я лишь спрашивал внутренно себя, что привело его ко мне.

Сам Л., видимо, как будто стеснялся, но Попка без всяких околичностей принялся раз'яснять мне дело. Л. по семейным обстоятельствам нужно было во что бы то ни стало поступить осенью 1878 г. в университет, а для этого требовался аттестат зрелости. Выдержать это испытание экстерном не представляло бы большой трудности для образованного и уже великовозрастного молодого человека, не будь проклятого греческого языка, который в его бытность в гимназии совсем не проходился в высших классах. Л. бросился по своим влиятельным петербургским знакомым, и один из них, украинец и сам педагог, конфиденциально посоветовал ему найти подходящего заместителя для испытания на аттестат зрелости. По гречески он, мол, и в год не подготовится, а именно теперь, в эти переходные времена, когда классицизм еще не совсем внедрился в среднюю школу, часто приходится прибегать к чужой помощи... Словом, не соглашусь ли я держать выпускной гимназический экзамен за Л.?

Попка взывал к моим товарищеским чувствам. Сам Л., как всегда, ласково смотрел на меня, а на сей раз еще неоднократно жал мне руку. Им не пришлось особенно долго уговаривать меня. Мне не только захотелось помочь в немалой мере своему человеку: мною овладело немножко мальчишеское, задорное желание наклеить нос официальному толстовскому классицизму, который я, хоть сам и не плохой — по гимназическим понятиям, — классик, ненавидел однако всеми силами воспринятого от Писарева отрицания. Через полчаса мы уже уславливались о подробностях выполнения нашего плана.

Обрадованный Л. обещал поставить меня, а попутно и Попку, в удобные условия жизни на те несколько недель, в течение которых я должен был держать выпускной экзамен. Он прежде всего предлагал нам перейти в одну из больших меблированных комнат уже известного читателю дома Яков-

лева, где у Л. было не мало знакомств в наиболее приличной части этой каменной громады и где через знакомую коридорную он мог устроить нам и полный пансион: знай сиди и занимайся!

Так как экзамены начинались через какой нибудь месяц-полтора, то новую квартирную, а вместе с тем и паспортную комбинацию надо было осуществить по возможности немедленно. Начиналось переселение народов и паспортов. Я в качестве Богословского выписывался со своей прежней квартиры в дом Яковлева, но по виду Богословского должен был там жить выплывавший из туманов непрописного житья-бытья Богданович, я же пред'являл на новом помещении паспорт Л., тогда как подлинный Л. временно удалялся из Питера. Наконец, я и Богданович брали с собою и оставшееся у нас еще от Рождества студенческое свидетельство Русанова не с тем, чтобы прописывать его, — знакомые моего отца продолжали искать меня в столице через адресный стол, и потому пускать в ход мой подлинный паспорт мы еще не могли, — но чтобы на всякий случай иметь при себе хороший вид: мало ли на что может понадобиться такая бумага нелегальному человеку!

Сначала все пошло как по маслу. Л., то есть я, Русанов, —

Ведь Селестэн-то Флоридор,
А Флоридор-то Селестэн, —

переселившись в дом Яковлева, подал прошение в округ о разрешении держать ему экстерном экзамен на аттестат зрелости при одной из столичных гимназий, и начальство указало ему с этой целью Третью гимназию, которую предусмотрительное Провидение (как увидим ниже) поместило на Гагаринской, то есть совсем близко от тогдашнего Третьего отделения «у Цепного Моста». Богданович - Богословский селился со мной вместе, сказав, что занимается перепиской у одного адвоката. На его опытность по части грима расчитывал Л., чтобы придать мне, 18-летнему, почти безусому и совсем безбородому, при том очень тощему юнцу, вид

25-летнего молодого уже побывавшего в разных передрягах человека. Но как усердно ни скреб меня бритвой в течение двух недель перед экзаменом Попка, все же до бороды на моем лице мы с ним так и не могли доскрестись. Решено было взять серьезностью выражения, достоинством манер и приличной деловитостью костюма. Л. достал очень хорошую темную пару, к сожалению оказавшуюся чересчур обширной для моего щуплого тела. Приходилось надевать на себя по крайней мере две фланелевые рубашки, чтобы сюртук не очень сумил, а чересчур длинные брюки несколько раз завертывались даже в самую сухую погоду, что, впрочем, могло быть об'яснено моею крайнею аккуратностью и бережливостью...

Не без волнения после обычного визита гимназическим властям, пошел я на Гагаринскую, чтобы держать экзамен экстерном в заведении, где директором был комичный седовласый, сухенький немец Лемониус, а инспектором ражий, косматый россиянин Мохначев: я боялся гораздо меньше самого испытания, чем своего убийственно отроческого вида, который мог внушить всяческие подозрения. По счастью, я сразу понравился обоим столпам Третьей гимназии. На сей раз я держал экзамен не только не хуже, но еще удачнее, чем за самого себя в истекшем году в провинции. Всех нас экзаменовалось человек двадцать пять, из них несколько экстернов. Но почти с первых же письменных испытаний классик Лемониус взял меня под свое особое покровительство за мои успехи в греческом и латинском, а словесник Мохначев поставил в пример прочим мое сочинение на тему о литературе века просвещения, где я ввернул, не переврав, несколько французских фраз из случайно прочитанной мною незадолго перед тем «Исторической картины» Кондорсэ. Остальные преподаватели были тоже в общем довольны оказательствами моей зрелости. Мне оставалось лишь несколько устных экзаменов по второстепенным предметам, всего недели на две. Попка сиял и даже в неуравновешенном состоянии не бранил уже меня больше

ни «софистом», ни «гегельянцем». Сиял и Л., появлявшийся от времени до времени в Питере, чтобы справляться о ходе экзаменов, и обещавший мне достать хорошее место у своих знакомых в качестве репетитора... Я продолжал ходить на Гагаринскую.

Но, увы!

Часто злобный ков таится
За домашним алтарем.

Нелегальные друзья Попки попросили его принять третьим жильцом в нашу просторную комнату некоего Емельянова (кажется Николая), по прозванию «зверюшку», впоследствии ставшего одним из самых неистовых публицистов-охранителей на столбцах «Московских Ведомостей», а в эпоху, о которой идет речь, с гордостью называвшего себя одновременно бунтарем, якобинцем — и анархистом!.. Он был «блудным сыном» высокопоставленного морского чиновника в Николаеве и сгорал желанием прославиться хоть чем-нибудь. Здоровенный, лохматый, смахивавший на медвеженка, он, несмотря на свои неполные 17 лет и нелепые капризы романтического воображения, считался у южных бунтарей хорошим товарищем и надежным конспиратором. Один из одесских кружков этого направления послал его в Питер с довольно деликатным поручением: — принять на себя авторство этюда о южнорусской штунде, который был составлен на основании личных наблюдений одним из сидевших в тюрьме нелегальных революционеров, кажется, Ковальским, и должен был появиться в «Отечественных Записках». Для сношения с редакцией и для осуществления различных авторских прав и обязанностей и был выбран Емельянов, который эту часть конспирации выполнял с большою охотой и крайне таинственно, при уходе завертываясь покартиннее в свой плед и многозначительно произнося в двери:

— На Бассейную... В «Отечественные»... Насчет своей статьи, знаете...

За эту таинственность Емельянов вознаграждал себя необыкновенной экспансивностью в письмах, которые он по-

сылал в несметном количестве всюду и всем, даже плохо знавшим его людям, требуя от них непременного ответа. Немудрено, что редкий день этот неутомимый корреспондент не получал одного-двух писем, и детски радовался, когда их приходило к нему полдюжины. В этих посланиях такие же по большей части, как он сам, Емельяновы сообщали ему то с «химией», то без всякой «химии», но в прозрачно грозных выражениях о долженствующих произойти тогда-то или тогда-то революционных событиях. Наш сожитель считал нужным сообщать нам о наиболее сенсационных из таких вестей...

Уже через неделю Богданович возненавидел его и все время жаловался на судьбу, связавшую нас с этим яростным многописцем:

— Нет, к этому косматому черту, действительно, каждое утро сорок тысяч курьеров — по почте — отовсюду скачут... Влопает он нас, — помяни ты мое слово... Хоть бы экзамены твои поскорее кончались: сейчас бы махнули отсюда... Знаешь, если заявится жандармерия сюда, то ты, конечно, Л., но я не Богословский, а Русанов.

— Но ведь Русанов не прописан, а Богословский значится проживающим здесь.

— Ну, брат, в нашем доме Яковлева какая полиция угоняется за пропиской: та же Вяземская лавра, только почище, да с жульем и честные люди живут, вот как мы... Скажем, что Богословский уехал, а Русанов только что прибыл... Все же за Русановым ничего не числится, а возьмутся за Богословского, мигом узнают, что сей скромный молодой человек духовного сословия явился сразу на свет Божий 20 лет от роду и всего шесть месяцев тому назад...

Очаровательная белая ночь держала Питер в своих об'ятиях, когда возле нашего номера раздался столь знакомый всем звон шпор.

— Здесь Николай Емельянов?.. По предписанию... для производства обыска... Вставайте!.. — слышу сквозь сон все более и более ясно.

Открываю глаза и вижу всю нашу комнату заполненной жандармами, полицейскими, какими-то штатскими. Этот господин с бакенбардами словно из черного дерева — вероятно член прокурорского надзора. А вот и наш швейцар, вот и наша коридорная... Лавочник с угла, дворник соседнего дома, — должно быть понятые.

Емельянов, раздетый, но в величественной позе, с вытянутой правой рукой, принимает гостей.

— Это вот все мои вещи... Емельянов... Я... я... Емельянов... Прошу обыскать... Товарищи не при чем... Совершенно не при чем... Я беру на себя ответственность за все... Корректура моей статьи из «Отечественных Записок»... Прокламация группы южно-русских якобинцев... План Севастопольского порта... Свидетельство юнги... Я-с, я-с плавал юнгой... По распоряжению родителя... Входная карточка в Публичную библиотеку на мое имя... Занятия по расколу... Палка с свинцовым набалдашником... Знаете, выхожу по ночам. Нельзя-с!..

Господин с бакенбардами из черного дерева с легкой иронией слушает об'яснения «зверюшки». Усатый жандармский поручик (Соколов) деловито распоряжается обыском. Коридорная наша стоит у притолки, в классической русской позе, соболезнующе подперев щеку закопченной от вечного ставленья самоваров рукой.

— А этот господин кто? — спрашивают бакенбарды у Емельянова, показывая на меня, уже встающего и наскоро набрасывающего на себя пальто.

Емельянов — на сей раз очень благоразумно — умолкает в ожидании моего ответа.

— Л., держу экстерном при Третьей гимназии, — отвечаю не колеблясь я.

— А вот эта... необыкновенно крепко спящая особа? — обращается ко мне, желчно улыбаясь, член прокурорского надзора и показывает пальцем на Богдановича, над которым уже минуты две трудятся жандармы, но все не могут никак разбудить...

Я чувствую, что ловкий Попка притворился непробудно спящим и прислушивается к тому, что говорят вокруг него.

— Это мой приятель, студент Русанов, — отвечаю я.

— Что это он всегда у вас так крепко спит?.. Знаете, неудобно, на случай пожара... не всегда будут при этом жандармы, чтобы вынести... Оставить здесь двух солдат, пока господин не соберется с чувствами и не чихнет себе на здоровье! — пробуют рассмешить бакенбарды.

Но Попка лежит неподвижно и начинает даже слегка похрапывать.

— Ну, а вы, господа бдящие, пожалуйте с нами!

У под'езда нас ждут три кареты. В одну садится поручик Соколов со мной, в другую прокурор, в третью другой жандармский офицер и Емельянов... Его я уже больше не видел в течение всей жизни, а лишь читал двадцать пять лет спустя в осиротевшем органе Каткова.

Через полчаса поручик Соколов вводит меня в столь интриговавшее меня еще по рассказам Третье отделение на Пантелеймоновской и сдает на руки для дознания майору Оноприенко.

Меня ужасно смущает судьба Л. и Богдановича, и я со всем лукавством, к которому только способен 18-летний совершенно неопытный и мало еще лгавший на своем коротком веку юноша, стараюсь заинтересовать в своей участи вопрошателя.

— Если моя просьба, господин майор, может иметь для вас хоть какое-нибудь значение, я умолял бы вас не губить моей будущности и поскорее отпустить меня... У меня как раз сегодня устный экзамен из географии в Третьей гимназии, вот совсем недалеко от вас, и я бы просил у вас разрешения пойти на него.

Хитрый хохол, разглаживая свои рыжие бакенбарды, любезно соглашается и просит лишь в свою очередь откровенно дать ему письменные ответы на некоторые вопросы. Из этих вопросов я сейчас же заключаю, что в жандарм-

ской экспедиции на Садовую Богданович и я собственно не при чем, а пойманы случайно той же сетью, что была расставлена на Емельянова, в котором, как я замечаю не без внутренней улыбки, ловцы человеков видят пока важного революционера. Поэтому показания свои я пишу очень спокойно и уверенно и только смущаюсь несколько в одном месте, когда мне приходится упомянуть, что я, Л., уже привлекался к дознанию и следствию и сидел в тюрьме, но дело было прекращено: я боюсь, как бы не написать чего-нибудь неподходящего об этом мало знакомом мне эпизоде из жизни моего двойника.

Оноприенко относит, повидимому, это временное замешательство на счет моего нежелания вспомнить о компрометирующем маленьком прошлом и, вероятно, вспомнив, что еще Николай Павлович подал шефу жандармов платок с предписанием отирать слезы невинных, принимается рыцарски великодушничать:

— Не в видах высшего правительства возвращаться к прегрешениям вашей юности, раз оно видит, что вы искренно намерены отказаться от всяких вредных мыслей и заняться законным устройством вашей личной карьеры... Продолжайте, г. Л., держать ваш экзамен!.. Желаю вам всякого успеха и даю вам честное слово офицера, что в гимназии даже не будут и подозревать той крошечной неприятности, которую мы невольно причинили вам сегодняшним визитом, не вам и предназначавшимся... Я принужден только отдать приказ сфотографировать вас, взять с вас подписку о невыезде из Петербурга и просить вас являться к нам в Третье отделение, как только вы будете получать от нас повестку... Еще раз желаю вам успеха!

С выдержанного мною час спустя экзамена по географии, я направился в дом Яковлева, где нашел возвратившегося благополучно во свояси на таких же условиях Богдановича и Л., предупрежденного общими друзьями о неприятном происшествии. Решено было, чтобы я, как ни в чем не бывало, продолжал свои экзамены, тогда как сильно

скомпрометированному нелегальному Попке приходилось, как ни усложняло это нашей истории с Л., поскорее скрыться.

Через три дня вызвавший меня к себе Оноприенко принял меня очень сухо и заявил, что его офицерское слово остается пока в силе, но так как он доподлинно знает, что Русанов исчез неизвестно куда, то он принужден принять меры к пресечению и моего бегства.

— Отныне вы будете находиться под замком у нас в Третьем отделении и выпускаться лишь на часы экзамена в гимназию под надзором, который не будет заметным ни для кого со стороны, но — будьте уверены! — сделает бесплодной всякую попытку с вашей стороны не вернуться под наш гостеприимный кров, — саркастически обрисовал Оноприенко свой новый план действий по отношению ко мне. Вините во всем неделикатность вашего легкомысленного или, может быть, имеющего не совсем чистую совесть друга Русанова!..

Таким образом дней десять, вплоть до окончания экзамена, я всякий раз, когда то было надобно, ходил из Третьего отделения в Третью гимназию (забавная кабалистика чисел!), сопровождаемый в деликатном отдалении двумя жандармами, которые шли по другой стороне Гагаринской, как будто совершенно независимо, и терпеливо прохаживались напротив гимназии, пока я снова не возвращался в гнездо синих орлов. Обращались со мной мои хозяева очень вежливо, кормили меня хорошо, хотя не давали ножей и вилок, поднося все в разрезанном виде, и я уже начинал надеяться, что дело окончательно выгорит...

Ярким июньским утром пришел я, наконец, последний раз в гимназию, чтобы получить обещанный каждому из выдержавших на этот день аттестат зрелости. Увы! здесь меня ждало полное разочарование.

— А, это вы, г. Л., — шумно встретил меня ражий инспектор, — да знаете, аттестат у вас хоть куда, давно таких мы экстернам не писали, да вот беда: приказано не давать вам его на руки, а задержать и отправить в Третье

отделение!.. Во всяком случае, поздравляю вас с добытой у нас зрелостью!.. Будьте здоровы-с!..

Мохначев не без лукавства рассмеялся и отвесил мне на прощанье забавный увесистый поклон.

Светлое июньское утро смотрело на меня теперь сентябрем.

С тяжелым сердцем возвращался я в комнату, где жандармы две недели подряд «отирали мне слезы» синим платком своего филантропического ведомства.

— Поздравляю со вторичным окончанием гимназического курса, г. Русанов! — раздался вдруг необыкновенно веселый голос майора Оноприенки, который увидел меня, когда я проходил по коридору перед дверью его кабинета, и ласково поманил рукой к себе. — Что значит, родительское-то сердце: чужая мамаша на карточке не признала, а свой папаша так прямо расплакался... То-то, знаете, мне с самого начала подозрителен показался этот двадцатипятилетний экстерн, без малейших признаков растительности... Я на второй же день нашего приятного знакомства с вами разослал ваши карточки по родителям... Да-с, по родителям-с... Это азбука ремесла... И вот видите, ваш аттестат у меня!..

Оноприенко упивался торжеством своей сыскной — теперь бы сказали: шерлок-хольмсовской, — проницательности. Я же чувствовал себя дурак-дураком, краснел и бледнел, и не мог к своему негодованию выдавить из своего горла ни единого звука...

Майор продолжал шумно торжествовать.

— Да, г. Русанов, в качестве Л. вы были красноречивее и даже один момент слезу недурно подпустили... А, право славные у вас баллы! — почти сочувственно произнес Оноприенко, поглаживая одной рукой свои бакенбарды, а другой — развернутый перед ним на столе совсем еще свежий аттестат. — Очевидно, вы юноша не без способностей... Но зачем же это для других-то все стараться?.. Впрочем, это дело меня уже не касается. Политически преступного

я в вашей деятельности пока ничего не вижу, если не считать, что вы изволили назвать своей фамилией некое за сим скрывшееся и до сих пор неразысканное лицо... Может быть, скажете, кто это был?..

Я в негодовании мотнул отрицательно головой.

— Как знаете-с... Да этот господин, кстати, кажется, уже найден... А теперь вы имеете отвечать за проживательство по чужому виду, за укрывательство беспаспортного, за совершение под чужим именем действий, нарушающих права о состояниях и т. п., — все вещи, влекущие за собой общую уголовную, а не специальную политическую ответственность... Из Третьего отделения вы отправляетесь в Дом предварительного заключения.

И двери огромного здания на Шпалерной, которое в конце 70-х годов считалось царской администрацией столь же образцовым, как двадцать лет спустя рекламировавшиеся на весь свет Кресты, — двери «Предварилки» захлопнулись за мной, отделив меня от внешнего мира в состоянии немого отчаяния. Особенно первые две недели я жестоко страдал от стыда и гнева на себя. Я был посажен в корпус чисто уголовных, вдали от политических заключенных, вдали от тех нитей идейной солидарности внутри Дома и идейной связи с товарищами на свободе, которые были созданы в течение четырех лет, проведенных на Шпалерной подсудимыми по большому процессу. Меня считали даже повидимому за какого-то довольно опасного мошенника из письменных. И я слышал, как на вопрос вполголоса одного надзирателя обо мне:

— А это кто, мальченка-то безусый?

Другой надзиратель махнул рукой и тоже вполголоса ответил:

— Из молодых да ранний... Купеческий сынок... Протер глаза отцовским денежкам-то, да и накатай фальшивых векселей... За подлог...

У меня, повторяю, не было никаких сношений с революционерами ни внутри, ни снаружи, не было посылок с

воли, ни денег, ни писем, ни книг. Даже книгами из тюремной, хорошо подобранной политическими библиотеки, я не мог надлежащим образом пользоваться помимо содействия политических-же заключенных, потому что только путем соблюдения правильной товарищеской очереди можно было получать наиболее интересные и особенно сильно читавшиеся вещи.

Отсутствие добавочных с'естных припасов с воли меня всего менее заставляло страдать. Я так наголодался за последние полгода жизни в Питере, что с удовольствием ел и казенный суп, в котором было больше гнилого лаврового листу, чем свежего картофеля или капусты, и казенную кашу, трещавшую на зубах всеми остатками деятельной мышиной жизни в крупе, и куски казенного мяса, которые натягивались под зубами, как тетива тугого лука! Я даже стал полнеть от сидячей жизни. За то меня жестоко удручало внутреннее состояние.

Другие товарищи, — горько думалось мне, — и старше меня, и мои ровесники, если уже теряли свободу, если даже жертвовали жизнью, все таки могли быть довольны тем, что их деятельность оставляла полезные плоды. А что сделал я для идеи, для революции, для народа? И мне вспоминались мои более усердные, чем удачные занятия с рабочими; мучительное недоумение, которое оставляли во мне споры между различными течениями революционной интеллигенции; моя жизнь на Симбирской, закончившаяся этим нелепым скачком через корзину; столь же нелепая история с пятью копейками на Большой Дворянской; писание реклам о необыкновенном средстве против потери волос в маленькой каморке у Николаевского вокзала; и, наконец, приключения последних дней: аттестат Л. на столе у Оноприенко и — я в одиночной камере Дома предварительного заключения!..

И добро бы за что нибудь путное! Когда я решил разорвать всякую связь с «привилегированным» прошлым и работать нелегально, я был готов на всяческие испытания, и не без внутреннего удовлетворения повторял: «блаженны

вы, которых ижденут и рекут на вас всяк зол глагол». Меня «ижденули», но как героя гимназической мелодрамы, а «зол глагол» — Русанов сидит «за подлог»!..

Эти мысли кусали меня часами, как злые собаченки, — именно собаченки, ибо в них не было даже ничего большого и трагического, — пока я крутился целый день в своей маленькой казенной келье с привинченной к одной стене железной доской вместо стола, с прилаженной к другой стене железной рамой для постели, с высоко поднятым к потолку небольшим окном, через которое проникал ко мне неопределенный свет бесконечно длинных летних дней и белых ночей Петербурга.

И чтобы забыться, я старался целиком войти в обиход тюремной жизни, в шесть часов получая из рук надзирателя швабру с энергичным напутствием «пол натирать», в семь часов снимая с откидывавшегося в двери окошечка большой кусок черного хлеба и об'емистую кружку горячей воды при столь же энергичных восклицаниях разносивших эти предметы уголовных: «хлеб!»... «кипяток!» и т. д.

Однажды, вдоволь нагоревавшись по тому поводу, что все товарищи, очевидно, меня забыли, — да и на что им я, невидный и непрактичный до нелепости студентик? — я вдруг услышал в непривычный час легкий шорох у двери. Окошечко упало. Сквозь него раздался тихий вопрос знакомого мне надзирателя, высокого молодого литовца, который, мне чувствовалось, один смотрел на меня не без симпатии:

— Номер 37-ой? Вы — Русанов, Николай Сергеевич?

— Да, я.

— Вот вам фунт чаю от политических и в нем записка... Смотрите, не попадитесь...

И, подав пакет, он захлопнул дверцу и быстро удалился по коридору.

Я узнал позже, что он был распропагандирован политическими и сам через несколько лет сидел в Доме предварительного заключения, уже как революционер!

Мои руки слегка дрожали от волнения, когда я распаковывал ловко заделанный пакет. В великолепном душистом чаю я нашел от одного из старост корпуса, где помещалось наибольшее число политических, записку, в которой говорилось, что от товарищей с воли была сообщена моя история, и что отныне политические заключенные будут обращаться со мной, как со своим... Мне писали, что Л., который счел нужным явиться теперь из своей засады к судебному следователю для допроса, и Богданович, — здоровье которого, кстати сказать, становится все хуже, — оба рассказали товарищам о моем приличном поведении во время последнего приключения, что Мурашкинцев, Арцыбушев и другие заинтересованы моей судьбой, и что как только кончится предварительное следствие, меня постараются взять до процесса на поруки. Мне сообщали, что на мое имя внесено в тюремную контору несколько десятков рублей на случай, если бы я захотел выписать себе что-нибудь с воли, и что, впрочем, мне будут посылаться в тюрьму разные с'едобные вещи для улучшения моего казенного пайка, и книги...

Нечего и говорить, как подействовала на меня эта дружеская записка. С души свалилось тяжелое бремя. Конечно, оставалась досадная сторона ликвидации моего нелегального положения по совершенно посторонней причине, имеющей очень отдаленное отношение к революции. Но я теперь знал, что люди вполне определенных убеждений ничего не находили плохого в моем поведении во время катастрофы, а скорее наоборот. Словом, оставалось только вооружиться терпением и провести с наибольшею пользою время моего предварительного заключения.

Подавлявшаяся различными неблагоприятными условиями моей предшествовавшей жизни в Питере жажда знания охватила меня теперь с удвоенной силой. Я принялся читать с утра до вечера и гораздо позже, — в долгие часы белых ночей, — тщательно конспектируя то, что казалось мне интересным. У меня еще до сих пор перед глазами большой

лист бумаги первого полученного мною чайного пакета, на который я перенес наиболее значительные места из «Оснований политической экономии» Рикардо. А приобретенную мною из тюремной лавочки тетрадь я всю исписал выдержками из диссертации Зибера о Рикардо, «Опыта о законе народонаселения Мальтуса» в бибиковском переводе, одного тома физиократов на французском и т. п. преимущественно экономических вещей.

Между тем мое заключение затягивалось. В первые же два-три допроса судебным следователем и меня в отдельности, и нас вместе с Л., у меня получилось впечатление, что меня, вероятно, скоро выпустят на поруки. Следователь, из молодых и, может быть, сам еще помнивший огорчения, которые он претерпел от официального классицизма в гимназии, относился к нам очень сочувственно. С его губ не сходила улыбка, когда он ставил нам вопросы о том, как мы 18-летнего Русанова превратили в 25-летнего Л., а некоторые забавные перипетии моего экзамена в Третьей гимназии с даровым пансионом в Третьем отделении он пространно диктовал с моих слов своему секретарю, откровенно хохоча и повторяя: «пожалуйста, пожалуйста, побуквальнее».

Через неделю все показания были с меня уже сняты. Вина моя была настолько ясна и подкреплена таким обилием письменных свидетельств, что предварительное следствие было закончено. Но между тем как Л. жил у поручителя на свободе, меня продолжали держать в тюрьме. Товарищи, ждавшие со дня на день моего освобождения, недоумевали. Позже я узнал от своего защитника, что препятствовало моему выходу на поруки Министерство народного просвещения, которое горело желанием обрушить всевозможные кары на голову святотатца, осмелившегося подрывать основы с таким трудом водворяемого на Руси классицизма. Особенно негодовал на меня тогдашний попечитель петербургского округа, один из князей Волконских (чуть ли даже не сын декабриста Сергея), который случайно присутствовал на одном из моих

ответов и счел нужным сказать несколько любезных слов трудолюбивому экстерну, но только все изумлялся моему юному виду.

Чтобы покончить со всей этой трагикомической историей, я забегу несколько вперед и скажу, что все же в начале августа, накануне убийства Мезенцева, добрейшему Владимиру Александровичу Варгунину удалось меня взять на поруки, а в ноябре нас с Л. судил суд присяжных и оправдал при громких рукоплесканиях публики, которая состояла преимущественно из отцов, матерей и детей, жестоко страдавших от толстовской системы и поднесших нам после вердикта несколько букетов цветов...

Наш процесс превратился, действительно, в процесс всего правительственного классицизма. И как защищавший меня по просьбе Никольского и Грацианского знаменитый в то время цивилист Павел Антипович Потехин, так и адвокат Л. — забыл теперь фамилию этого видного криминалиста, — извлекли все, что только можно было извлечь из этой благодарной темы. Присутствовавшие то хохотали, то негодовали, по мере того, как развертывались обстоятельства дела и обрисовывалось трудное положение Л. Присяжные внимательно вслушивались в подробности и ставили нам вопросы, в которых с самого начала ясно проглядывало намерение оправдать нас. Прокурор обвинял больше для проформы и сам указывал на смягчающие вину обстоятельства. Хуже всего для нас вел себя председатель суда (за что и был на следующий же день изрядно отхлестан газетами), который все время старался изобразить нашу вину в виде серьезного государственного преступления, сближал мое держание экзаменов за Л. с моими дурными политическими знакомствами и отрицательными идеями. Его поведение приписывали давлению на него Министерства народного просвещения.

Меня это ведомство всячески старалось допечь. Когда после оправдания, опираясь на рекомендацию принявших во мне участие тогдашнего ректора университета, извест-

ного ботаника Бекетова, и профессора уголовного права Таганцева, я сделал попытку зачислиться студентом на юридический факультет, то из Министерства народного просвещения мне было отвечено, что по распоряжению свыше у меня отнято навсегда право поступить в какое бы то ни было учебное заведение. А когда я выразил желание держать через год экстерном экзамен на кандидата прав, то столичная полиция заявила, что в виду отзыва обо мне Министерства народного просвещения она не может выдать мне требующегося и для этого экзамена свидетельства о благонадежности. (Это удовольствие мне пришлось, повинуясь велениям судьбы, отложить на 33 года, а именно до весны 1911 г., когда я, уже несколько лет как возвратившись на родину, после четверти века, прожитой мною заграницей в качестве эмигранта, получил от Демидовского лицея диплом на кандидата юридических наук). Со времени моего приключения 1878 г. особым указом вменялось в обязанность всем экстернам представлять для экзамена свои засвидетельствованные полицией фотографические карточки.

VIII.

Я — литератор. — Приключение в „Русской Правде". — С. Н. Кривенко, Гирс, Нотович — Мои фельетоны в „Новостях". — Я перехожу в „Дело".

Отрезанный от возможности утолить жажду знания официальным путем, я решил, ничуть не отказываясь от своих радикальных знакомств, засесть серьезно за книги и вместе с тем попробовать удовлетворить другой с каждым днем мучительно нараставшей у меня потребности: во что бы то ни стало проникнуть в литературу. Учась, учить других, сразу многих других, проводить свои убеждения путем печати, служить идее пером — что может быть, казалось мне тогда, завиднее этой участи? Уже несколько лет во мне смутно бродило сознание, что я могу писать не очень хуже прочих, — все в мире относительно, не так ли? Мои гимна-

зические сочинения для себя и для других, составлявшиеся мною лет с пятнадцати рефераты, несколько стихотворений, понравившихся довольно широким кругам, планы литературных работ, которые я особенно развивал Мурашкинцеву и Арцыбушеву и которые встречались ими по большей части сочувственно, — все это укрепляло во мне мысль: а ведь, пожалуй, я литератор, во всяком случае больше литератор, чем что-нибудь другое. Я инстинктивно искал почвы, где бы я не был таким неловким, до смешного непрактичным, каким я оказывался до сих пор при столкновении с жизнью и людьми, оказывался тем более, чем более усердствовал, чтобы не отставать в практической работе от своих товарищей. Несколько благоприятных случайностей, но опять таки не совсем лишенных комической стороны, помогли осуществиться моему желанию.

Через студента Горного института, некоего Белоруссцева, приходившегося племянником столь известному в то время, если не широкой публике, то литературным кругам Григорию Захаровичу Елисееву, я в конце 1878 г. познакомился с сотрудником «Отечественных Записок» Сергеем Николаевичем Кривенкой (с самим Елисеевым я познакомился лишь позже). И это знакомство, если не прямо, то косвенно приоткрыло мне дверь литературы.

У французов есть хорошее выражение: «датировать портреты», отмечать года, к каким относится даваемая вами характеристика той или другой личности, ибо люди с течением времени меняются порою до неузнаваемости не только в физическом, но и в духовном отношении. В конце 70-х годов Кривенко был статным, красивым, уже довольно полным мужчиной лет тридцати, с лицом отчасти Иисуса, но Иисуса брюнета, с густой черной шевелюрой, с густой черной бородой, с добрыми карими, немножко томными глазами южанина, бледным прекрасным лбом, хорошо очерченными носом и ртом и звучным мягким голосом.

Доброты этот человек был необыкновенной, а среди столь часто желчных, нервных, завистливых литераторов

он поражал своей уравновешенностью и сердечностью. И вместе с тем, когда это было надобно, он обнаруживал редкую в этой среде деловитость и практичность. Но «надобно»-то это было ему для общественных и вообще чужих дел, так как об устройстве своих личных дел он старался заботиться возможно меньше. Это может, напр., показаться читателю анекдотом, но Кривенко, хотя имевший в то время жену и трехлетнюю дочку, отказался от повышения гонорара, предложенного ему самой редакцией «Отечественных Записок», все члены которой были к нему очень расположены, а Михайловский, так даже говорил ему в лицо: «Сереженька, ты — икона, сорвавшаяся со стены». Отказ свой Кривенко мотивировал тем, что ему прежней платы достаточно, так как потребности у него и его семьи скромные, а статьи его больше и не стоят.

Тут в сущности прокидывалась и другая черта Кривенки. Он был умеренным, но убежденным социалистом-народником, который не только умом, но и чувством придавал огромное значение физическому труду, заполнявшему жизнь огромного большинства, и считал, что не одна буржуазия, а и интеллигенция чересчур много получает за свой труд по сравнению с замученным работою народом. Автор неплохого популярного этюда о «Значении физического труда», Кривенко и в жизни старался оставаться верным своей основной идее. На Кавказе, где у него в Туапсе был небольшой участок земли, приобретенный им вместе с артелью товарищей, он сам возделывал кукурузу и разводил табак. В Петербурге он почти не держал прислуги и с чувством внутреннего удовлетворения убирал свою квартиру, подметая по нескольку раз в день с полу мириады конопляных зернышек, падавших на трех-четырех клеток с канарейками, которые вечно заливались на небольшой, но гостеприимной для птиц и людей квартире Сергея Николаевича... Впрочем, канарейки были, можно сказать, поэзией его существования: надо было только посмотреть, с каким умилением вслушивался Кривенко в трескотню своих пернатых жильцов, скло-

нив голову на бок и слегка повертывая ручку маленького органчика.

Кривенко не обладал большими теоретическими знаниями, но то, что изучил, он помнил хорошо. Он внимательно прочитал «Капитал» Маркса, был знаком из вторых рук с европейскими социалистами, обладал недурными сведениями по политической экономии и естественным наукам, Россию и русские условия знал действительно хорошо и больше на практике.

С первого же разговора со мной, затянувшегося на целый вечер, Кривенко очень заинтересовался мной и сказал обо мне Белорусцеву два-три теплых слова, так что мое юное сердце впервые забилось радостно после стольких месяцев неудач и реприманд судьбы. Я, впрочем, не особенно возгордился этим, так как мог, несмотря на свою молодость, все же понять, что хорошее впечатление, произведенное мною на Кривенку, зависело главным образом от не совсем обычного подбора книг, которые я успел прочесть к 19 годам, благодаря некоторым благоприятным условиям. Раньше я уже упоминал, что еще в Орле я, кроме «Капитала» Маркса, познакомился с его «Манифестом Коммунистической партии» и «Гражданской войной во Франции». В Питере же, работая целыми часами у себя и в Публичной библиотеке, я ко времени оправдания своего присяжными успел перевести для себя Маркса же «Нищету Философии» *) с французского и большую часть «Критики политической экономии» с немецкого. С другой стороны, познакомившись около этого времени с милейшим Александром Филипповичем Шуппе, тогда горняком старшего курса (о нем позже), я отчасти для упражнения в немецком прочитал вместе с ним несколько наиболее интересных глав из боль-

*) Я десятками лет хранил этот перевод. Он пригодился в 900-х годах в Париже кой-кому из моих приятелей русских марксистов, которые переводили в это время как раз „Нищету Философии“ на русский (однако, если не ошибаюсь, с немецкого) и желали для справок иметь под рукой мой старинный, насчитывавший более двадцати пяти лет от роду перевод . . . У книг своя судьба!

шого труда Лоренца Штейна об «Истории социальных движений во Франции». Кое-что из идей, встречавшихся в этих мало знакомых тогда в России книгах, не могло не привлечь внимания Кривенки даже в моей незрелой передаче, и он очень настаивал на том, чтобы я продолжал свои занятия и даже попробовал написать что-нибудь...

У меня как раз был набросан в это время небольшой «общественный фельетон», который я приурочивал к наступлению нового 1879 г. В данный момент у меня нет под руками этой моей первой печатной вещи, да она и не заслуживает того, чтобы на ней долго останавливаться. Скажу лишь, что там я изобразил аллегорически, под видом столкновения между старым и новым годом, борьбу между царским правительством и русским народом, высказал в стихах несколько литературных и общественных пожеланий и закончил критикой новых налогов, высыпав все, что я мог найти подходящего по этой части у Рикардо.

Кривенко дружелюбно отнесся к этой пробе пера и дал мне практический совет, который я выполнил со свойственной мне деловитостью.

— Знаете, что, Николай Сергеевич, ступайте-ка поскорее к Гирсу в «Русскую Правду» и предложите ему свой фельетон!.. Кстати, он не особенно доволен теперь своим фельетонистом Щ... Только вы, конечно, переговорите сначала с самим Гирсом.

На следующий день с тщательно переписанным творением моей начинающей музы я понесся в «Русскую Правду», редакция которой помещалась, кажется, на Моховой.

«Русская Правда» была ежедневная газета, издававшаяся года два в конце 70-х и начале 80-х годов Дмитрием Константиновичем Гирсом, роман которого «Старая и молодая Россия» произвел несколько лет тому назад огромную сенсацию. Блестящих надежд, возлагавшихся на автора этой радикальной вещи, Гирс впрочем не оправдал, но продолжал оставаться очень передовым писателем, и в своем органе, получившем массу предостережений и в конце концов

задавленном цензурою, и сам, и при помощи своих сотрудников, проводил очень крайние по тому времени идеи. «Русская Правда» усердно читалась молодежью, которая особенно возлюбила в газете обзор печати, принадлежавший остроумному перу Горшкова (Морозова «Отечественных Записок»), под каковым псевдонимом скрывался не оригинальный, но талантливый критик левого направления, Михаил Алексеевич Протопопов. Горшков выбрал своей специальностью веселую, хотя далеко не безыдейную полемику с российским национализмом в лице «Нового Времени» и успел довести до исступления все гнездо суворинских соколов.

Немудрено, что я сгорал нетерпением удостоиться чести сотрудничества в такой радикальной газете, и как только из приемной был допущен во вторую, редакционную, комнату, сейчас же с развязностью человека, поклявшегося храбро умереть на виселице, потребовал «немедленного и личного разговора с Д. К. Гирсом».

— Я — Гирс, — отозвался сидевший за большим столом господин, черты которого смыла в своем течении река времен из моей памяти. — А вам что угодно?

— Моя фамилия Русанов. Я принес к вам по совету Сергея Николаевича Кривенки общественный фельетон, который я очень просил бы вас сейчас прочитать и сказать мне, годится ли он для вашей газеты, читаемой молодежью и всеми честными людьми с величайшим интересом и удовольствием...

Эту фразу я проговорил залпом, почти не переводя духа, и голосом, в котором, несмотря на мое крайнее желание придать ему непринужденность, я с прискорбием сам расслышал быструю смену басовых нот фальцетными и фальцетных басовыми.

— Очень приятно слышать такой отзыв, — слегка улыбаясь промолвил господин, назвавший себя Гирсом, — но в общественном фельетоне мы совершенно не нуждаемся:

у «Русской Правды» есть для этой цели свой особый фельетонист.

Я почувствовал, что здесь-то и раскрывается обширное поле для моих дипломатических способностей, и многозначительно ответил:

— Но я, ведь, знаю, Д. К., что вы недовольны как раз этим фельетонистом.

Гирс почему-то сейчас же перестал улыбаться и, наоборот, очень сильно поморщился...

— Позвольте, г. Русанов, откуда же вы добыли это сведение? Мне казалось бы, прежде всего о таком своем мнении должен знать я, а я... ну да просто я считаю излишним об'ясняться с вами на счет этого... Повторяю, редакция не нуждается в вашем фельетоне: можете взять его! — уже совсем сердито прибавил Гирс.

«Ага, подумал я: ты хитришь! Но долго ли ты еще будешь хитрить?» И, словно бы я не слышал Гирса, я продолжал тоном глубокого убеждения:

— И вы совершенно правы... Фельетонист Щ. совершенно не подходит к общему направлению «Русской Правды»... Остроумно, но без всякой серьезной идеи...

Среди сидевших в той же комнате нескольких господ послышался смех.

Гирс в видимом отчаянии развел руками и, сунув мне мой фельетон, быстро заговорил:

— Извините, г. Русанов, но мы заняты... Ничего не могу прибавить к тому, что уже сказал.

А я на прощание пускал стрелу парфянина:

— Это не то, что Горшков!..

Смех перешел в хохот.

— Получи, брат! — весело крикнул один из смеявшихся другому.

Я с достоинством направлялся к двери. Меня остановил вопросом писавший до сих пор молча за боковым столом господин:

— А это ваше личное мнение о фельетонах «Русской Правды», г. Русанов, или это и мнение молодежи и всех честных людей, как вы изволили выразиться четверть часа тому назад?

Господин спрашивал добродушно и почти безучастно, но мне в его словах послышалась ирония, и, обернувшись, я вскипел:

— Это мнение всех тех, кто читал Добролюбова и кто помнит, как жестоко он отделывал дешевых остроумцев и умеренно либеральных обличителей à la Розенгейм... А с того времени прошло чуть не двадцать лет, и идейная молодежь еще более выросла...

Теперь смеялся снова и Гирс, вглядываясь в представителя идейной молодежи, столь выросшей по его словам со времени Добролюбова.

— Постараюсь передать вашу откровенную оценку фельетонисту и попрошу его, если еще не поздно, изменить свой жанр, — попрежнему добродушно и почти безучастно продолжал оторвавшийся на минуту от пера господин. — Позвольте кстати отрекомендоваться: — автор столь нелюбимых вами общественных фельетонов Щ...

Он любезно протянул вперед руку. Но ее уже некому было взять...

Я опрометью сбегал по лестнице, и в моем на миг ошеломленном, а теперь снова заработавшем во всю воображении вставала другая лестница по Симбирской, и корзина с бельем, и мой вынужденный прыжок через нее до самых низших ступеней, и лежанье с больной ушибленной головой на месте...

«Идиот! Идиот! всюду корзины! Добрые люди не поставят, так сам изобретешь!» — почти громко говорил я с собою, бежа самой гимнастической рысью в Измайловский полк к Кривенке...

С прошлого года мое подбитое рыбьим мехом пальто не приобрело нового опушения. Но мне было невыносимо жарко, потому что невыносимо стыдно.

— Сергей Николаевич! Вы не будете серчать на меня за то, что я натворил в «Русской Правде», — прерывающимся от волнения и скорого бега голосом заговорил я робко, ища сочувствия своему рассказу о катастрофе в приветливых глазах Кривенки.

«Икона, сорвавшаяся со стены» повела себя, как полагалось по штату ее естества. Сначала Сергей Николаевич только рукавами разводил и прерывал мое повествование восклицаниями: «да неужели», «ай-ай-ай», «как же это можно было», но скоро не выдержал и, расхохотавшись, крикнул своей жене:

— Людя! Людмила Николаевна! Поди, послушай, как Н. С. в фельетонисты к Гирсу на место Щ. прочил себя... А вы не сказали, что от меня слышали мнение Гирса о Щ.?

Хорошо, действительно, что я хоть этого не сказал! И уже без некоторой гордости я заявил Кривенке:

— Нет, я сообщил только, что пришел к Гирсу по вашему совету. А самому Щ. сказал, что то общее мнение...

Кривенко снова расхохотался.

Дня два спустя, Гирс, встретившись, спросил Сергея Николаевича:

— Батюшка, С. Н., скажите на милость, какого это вы на меня пещерного отрока наслали?.. Надо бы глупее, да нельзя! Говорит мне при Щ.: ну что, мол, ваш Щ., словно Розенгейм пишет, вы меня возьмите, так вот я вам как Добролюбов напишу!

— Вы уж не очень обижайте мне этого самого отрока, Дмитрий Константинович! Старается, работает, кажется, даже кой-что не по возрасту читал...

— Оно и видно, что должен был не по возрасту читать, чтобы таким идиотом показаться...

Кривенко посоветовал мне не терять однако надежды и отправиться к Нотовичу в «Новости». Я протестовал, говоря, что эта газета еле-еле либеральна, и что в таком органе, издающемся для среднего обывателя, мне не хотелось бы участвовать. Кривенко однако победил эти мои сомнения, ска-

зав, что «Новости», конечно, не «Русская Правда», но и не «Новое Время», а, пожалуй, будет в иных отношениях лучше «Голоса»: все таки таких вещей, как статья Евгения Маркова о Некрасове, в них не было. Кроме того переводчицей в них жена Шелгунова, а от времени до времени помещает там фельетоны такой радикальный писатель, как Станюкович из «Дела» (под псевдонимом «Пимен»).

В результате, накануне Нового Года я заявился (если не ошибаюсь, на Гороховую) в «Новости» и там был принят чернобородым, бледнолицым, красноглазым, золотушным, еще довольно молодым господином, который с самого начала произвел на меня, — по своей юности не бог знает какого сердцеведа, — совершенно определенное впечатлени хлестаковщины и легковесности. Впоследствии, кстати сказать, хотя мне мало приходилось с ним встречаться, мое первое впечатление осталось неизменным и даже укрепилось. То был Осип Константинович Нотович.

При его рождении феи сыграли над ним довольно злую шутку, положив в колыбель этого сына скромного провинциального раввина два роковых дара: неумеренную любовь к писательству, но чрезвычайно умеренный литературный талант. Однако, чтобы не окутать трагическим флером предстоявшее младенцу довольно длинное жизненное путешествие, те же капризные богини судьбы всунули ему под подушку еще два подарка: крошечный ум и колоссальное тщеславие.

Относительно размеров ума Нотовича один мой приятель, сам еврей, чрезвычайно умный человек, говорил: «Нет, Нотович положительно дискредитирует нашу расу; еврею непростительно жить на свете с таким умишком: Нотович — нуль на шкале умственного термометра». Это не мешало почтенному Осипу Константиновичу обладать большой практической сметкой и изворотливостью. Но слабость его логического аппарата препятствовала ему и при этих полезных житейских качествах добиться сколько-нибудь серьезных, заметных для всех успехов. Тщеславие постоянно нашептывало ему планы великой литературной славы, огромного политиче-

ского влияния, страшного материального обогащения. Но планы-то эти летели на слабых крылышках его беспокойно жужжавшего, но не двигавшегося с места комариного ума. Он смутно сознавал это и по своему, по комариному, терзался, ибо ни славы, ни влияния, ни больших денег не добился.

Этим об'яснялась даже единственная трагическая сторона его в общем беспечного, по своему счастливого существования, скрашенного непомерным тщеславием. Нотович действительно любил и вместе с тем действительно ненавидел одного человека в свете: это — старика Алексея Суворина!.. Обожал его, страшно завидовал ему, вечно подражал ему, вечно срывался на подражании, и мучительно стыдливо скрывал эту великую тайну своей маленькой души, как отвергнутый, но искренний обожатель скрывает тайну своей любви к гордой красавице. Его соблазнительно манил к себе действительный, но беспринципный, вскормленный и вспоенный скандалом литературный талант Суворина. Он сгорал завистью к мишурному по существу, но ему-то казавшемуся верхом реальности общественному влиянию виртуоза политики «Чего изволите-с», неизменно служившей — и подхалимствовавшей — калифам царского правительства. Он задним числом рвал себе волосы на голове и бороде, что не он, а Суворин расписал в целой корреспонденции с Балкан слезы чувствительного Александра II у изголовья раненого «солдатика» и получил за то от царя золотую табакерку. Много лет спустя, если рак с клешней из «Новостей» потянулся на участие во франко-русских празднествах печати в Париже, то главным образом потому, что конь с копытом из «Нового Времени» уже раньше поскакал туда патриотическим галопом.

А что касается действительно блестящих, действительно осязательных материальных успехов Суворина, то они воистину потрясали Нотовича. Суворин Ежедневный («Новое Время»), Суворин Еженедельный («Приложение»), Суворин Ежемесячный («Исторический Вестник»), Суворин Ежегодный

(«Русский календарь»), наконец, Суворин вне времени и пространства, Суворин Искусств, Суворин Театральный, — повсюду все он, все тот же Суворин, настоящий Каннитферштан немецкой идиллии, или может быть нечто еще более грандиозное, напоминавшее ту комету фантастического рассказа, которая, перед тем как спалить нашу бедную крошечную землю, захватила весь горизонт и нестерпимо заливала своим зловещим блеском и ночи, и дни.

Накануне Нового 1879-го года, когда я принес свой фельетон редактору-издателю новостей, этот гипнотизм перед Сувориным не достигал еще у Нотовича такой степени. Незадолго перед тем он приобрел маленькую газетку, слил ее с «Биржевой газетой», сделал из двух одну, изрядно большую, по крайней мере по размерам, газету и питал в душе надежду побороться с Сувориным за читателя и даже победить великого соперника. Сам он нестерпимо мелко-либеральничал в своих передовицах и этот жанр поощрял в своих сотрудниках. В личном отношении был незлым и даже услужливым человеком, если это не мешало его делам и делишкам.

По моему настойчивому желанию Нотович сейчас же принялся за чтение моего фельетона и через четверть часа решил, что напечает его.

— Недурно-с для первого раза... Приходите дня через два-три, когда увидите фельетон в «Новостях». Тогда и потолкуем обо всем. А пока желаю счастливо встретить Новый год, г. Русанов!

Я чувствовал внутреннее удовлетворение, хотя и жалел, что приговор над моей первой предназначенной для литературы вещью произнесен, как мне показалось, не бог знает каким компетентным судьей. Фельетон появился, кроме того, не на Новый год, как подсказывала его форма, а, кажется, через неделю. Но мне радикальный гонор не позволял идти справляться в умеренно-либеральной редакции, и я, что называется, выдерживал характер.

За то я был вознагражден ощущением, — ах! как далеко оно отодвинулось от меня теперь! — встретить впервые свои мысли в печати и знать, что их прочтут другие, и сколько других, и между ними может быть такие, которых сам читаешь и заочно любишь!.. Помню, я шел по одной из линий Васильевского Острова. Было холодное серое утро. А мне было тепло и солнечно: у меня в руках был развернутый на второй полосе номер «Новостей»... — Я не обращал внимания ни на мороз, пощипывавший мои голые пальцы, ни на плохо сбитые еще дворниками снежные шишки на тротуарах, о которые спотыкались мои изношенные ботфорты, но за то очень внимательно читал и перечитывал свой фельетон, негодовал на не по-моему расставленные запятые, страшно огорчался на опечатки, которые словно нарочно, как мне казалось, искажали самые замечательные мои мысли, горько сожалел о том, что не сказал того-то и еще того-то, а главное, возмущался на себя за малодушие, которое позволило мне (о чем я забыл упомянуть читателю) согласиться на предложение Нотовича заменить мой первоначальный, великолепный, энергичный, истинно-радикальный — так думалось мне — псевдоним «Не-ваш» гораздо более смиренным, умеренно-либеральным и разве что немножко ироническим «Скромное Я». Ах, яд должен таиться у скорпиона в хвосте, а у идейного писателя — в подписи!.. Но, увы, сам Господь Бог не мог уже теперь изменить прошлого, моего бесславного шага в прошлом, столь недавнем, но уже непоправимом прошлом, на квартире Нотовича.

Не одни впрочем шипы, а и розы выпали мне на долю в этот первый день моей писательской карьеры. Несколькими часами позже я вкусил и сладкой отравы публичного одобрения: я становился общественным человеком, которого всякий мог, конечно, порицать, но также и хвалить! Прежде всего, зайдя в портерную, я нашел сидящим за столом у окна какого-то молодого человека, повидимому студента, со свежим номером «Новостей» в руках... Он читал, судя по по-

ложению газеты, мой фельетон и улыбался... Над чем улыбаешься ты, отныне моя читающая публика? Что понравилось тебе: проза моя, или стихи?.. Я готов был обнять молодого человека и даже посоветовать ему остановиться подольше на одном, как мне казалось, особенно удачном месте. Но, к огорчению моему, мой читатель чересчур скоро положил газету на стол, расплатился и вышел...

Придя в свою маленькую комнату, — я жил тогда у родственницы Кривенки, — я узнал от квартирной хозяйки, что к ней по своему делу заходил Сергей Николаевич и просил, между прочим, передать мне, что мой новогодний фельетон его заинтересовал, и не одного его, а кой-кого и из его знакомых литераторов. К вечеру ко мне пришел Мурашкинцев, который, конечно, был в точности осведомляем мною о моих литературных приключениях и теперь явился поздравить меня с удачным, по его мнению, началом. Вообще, в первые дни я получил от моих приятелей не мало поздравлений по поводу моего литературного дебюта и пожеланий продолжать идти по тому же идейному пути. Сердце продолжало биться радостно, и голова горела от желания не разочаровать друзей...

Вскоре я узнал, но уже при довольно огорчительных обстоятельствах, что мой фельетон привел в некоторое волнение и всю редакцию «Новостей», часть которой даже отсоветывовала Нотовичу печатать мою вещь, находя ее резкой и претенциозной, словом, не соответствующей вкусам обычной публики «Новостей». Оттого, между прочим, мой фельетон и не появился на самый Новый год. С другой стороны, много лет спустя, я узнал не без некоторого душевного волнения от никого другого, как Владимира Галактионовича Короленка, что он в качестве тогдашнего корректора газеты правил эту мою статейку, и некоторые из моих стихов, вкрапленных в нее, даже запоминались ему, напр., пожелание,

Чтоб не стал Михайловский опять
С де-ла-Сердой на брань выезжать,
Шваброй грозно в руке потрясать
И толедский клинок отражать....

Конечно, мне тогда и в голову не могло придти, что ужасно иронизирующей судьбе угодно было поставить корректором моего первого литературного опыта грядущую звезду русской литературы. Что крепко сидело тогда в этой голове — это желание стать идейным писателем. И я во втором фельетоне задумал выкатить все свои радикальные орудия. В форме разговора двух приятелей, которые перебираются на другую квартиру и просматривают вместе коллекцию прошлогодних газет, чтобы знать, что взять с собой, а что бросить на старом месте, я подобрал несколько полос вырезок, из коих явствовало, что после победоносной русско-турецкой кампании остался в сущности один великий побежденный: это — сам русский народ, который заплатил за мнимо-освободительный царский порыв десятками тысяч убитых и искалеченных, новыми тяжелыми налогами и голодовкой во многих местах России и Сибири. Составляя этот фельетон, я советывался с идейными товарищами, вложил в него, что называется, всю душу и возлагал на появление этой вещи большие надежды...

Когда я пришел дня два спустя за ответом, почтеннейший Осип Константинович с комично торжественным видом провел меня в общую редакционную комнату, где штаб главных сотрудников был уже в сборе, и произнес, или лучше сказать, протараторил комично торжественную же речь, как если бы перед ним находился не автор принесенного на просмотр фельетона, а посланник некой, хотя и маленькой, но не совсем дружественной державы:

— Извините, уважаемый г. Русанов, но я с самого начала же должен заявить, что ваш второй фельетон не пойдет и не может пойти в «Новостях»... Я не отрицаю в авторе некоторых литературных способностей и даже кой-какого писательского огонька... Но его точка зрения резко расходится с общей позицией моего органа... И если уже прошлый раз ваша пробная статейка была помещена не без возражения со стороны некоторых из самых уважаемых моих сотрудников, — то ваш второй фельетон был забракован

редакцией единогласно... Он неприятно поражает своей односторонностью... Прочитав его, можно подумать, что в нашей великой и обильной России, — да-с, великой и обильной России: я говорю это без всякой иронии, — нет ни одной светлой точки, а все только тени...

— В современной России ничего и нет, кроме теней, — мрачно-убежденно ответил автор бракуемого фельетона.

— Позвольте не согласиться с этим-с, уважаемый г. Русанов, — весело-убежденно возразил судья-браковщик. — И лучшим доказательством этому является присутствующий здесь симпатичнейший и остроумнейший сотрудник наш, Владимир Осипович Михневич, он же Коломенский Кандид, который в своих воскресных фельетонах умеет сочетать здоровый смех с уважением к вещам, действительно достойным уважения, и ведет в газете внутренний отдел как раз под многозначительным названием «Свет и тени», давая тем понять публике, что кроме мрачных явлений, существуют на родине и светлые... светлые... знаете... э-э-э... ну, словом, светлые происшествия... Не так ли, наш милейший Коломенский Кандид?

Жужжащий ум Нотовича уже складывал свои комариные крылья и не мог лететь дальше. В ответ на хозяйскую интерпелляцию, кто-то басовито крякнул: «гм... — да-с...» Подняв глаза по направлению этого внушительного звука, я увидел стоящего и пишущего за конторкой румяного, пухлого, усатого, бородатого блондина с голубыми глазами в золотых очках и энергично прокидывавшейся лысиной.

«Так вот ты какой... упитанный, — подумал я, взглянув на этого Вольтера петербургских мелких чиновников и образованных кофейниц. — И литературную кличку-то ты хорошо себе выбрал: ишь как тебя, Коломенского Кандида, от светлых происшествий разнесло»...

— И таково же мнение всех наших сотрудников по газете о вашем не столько плохо написанном, сколько чересчур по юношески задуманном фельетоне-с, — снова зажужжал, отправляясь в поход, слабокрылый ум Нотовича, — и на-

шего специалиста по тюремным вопросам, г. Никитина, и нашего ученейшего литературного критика, г. Чуйко...

У меня не было ни малейшего желания выслушивать мнения всех этих нотовических авторитетов, которым редактор-издатель раздавал тут же похвальные листы и отзывы, словно директор ученикам на гимназическом акте. И я отрясал прах от своих ботфортов на красный ковер «Новостей», направляясь к двери, как вдруг Осип Константинович изобразил дипломатическую любезность на своем лице и загородил мне бочком выход:

— Позвольте одну минутку-с, г. Русанов!.. Нам все же не хотелось бы расстаться с вами при самом начале приятно завязавшегося знакомства из-за... из-за... вашего слишком мрачного взгляда на положение дел в России. Вы сами-с увидите и сознаетесь... много лет позже... Я сам бы также прежде написал...

Я продолжал продвигаться к двери.

— Но не будемте теперь говорить об этом-с!.. Я хотел бы сделать вам новое предложение: в одном отношении вы могли бы оказать нам существенную услугу... Вы знаете, конечно, вы должны знать, что «Новости» растут с каждым днем, становятся большой газетой, что они имеют претензию выражать интересы всей России, всех широких кругов нашего дорогого отечества, быть действительным органом русского... национализма... в хорошем-с, в хорошем смысле этого слова, г. Русанов, не в суворинском-с... Я льщу себя надеждой, что это законное честолюбие моей газеты понято всеми русскими гражданами... всеми грамотными людьми... что уже... «Новости» становятся застольной газетой всякого русского интеллигентного и даже... по преимуществу неинтеллигентного человека... Да-с, это законное честолюбие, и вот...

Нотович окончательно заслонил мне дорогу к выходу. На его лице дипломатическая любезность уступила место беспокойному желанию поубедительнее высказать какую-то повидимому очень занимавшую его мысль. И вдруг человек с

законным честолюбием, словно печаянно разрядившийся пистолет, выпалил в меня вопросом:

— Вы, конечно, не любите попов-с, г. Русанов? И педагогов-с то-же? Ну, конечно, конечно, вы не можете их любить... Это уже входит, так сказать, в ваше мировоззрение... Не оправдывайтесь... Не любите?.. Это даже хорошо, очень хорошо...

Я и не оправдывался, потому что не понимал этого внезапного устремления Нотовича повидимому в совершенно другую сторону. Сам же редактор-издатель органа не-суворинского национализма просто сиял теперь.

— Ах, если бы вы знали, какая у меня масса подписчиков, особенно в провинции, из лиц духовного и учительского сословия... Да-с, попики, простые деревенские попики... И представьте себе, выписывают газету Осипа Константиновича Нотовича... И учителя тоже-с... Смотрители уездных училищ, экономы маленьких семинарий, даже много частных учителей из западных и южных городов... Сельские, правда, учителя сами не выписывают, но берут читать у других. Не смотря на сравнительную дешевизну такой большой политической и литературной газеты, как «Новости», изобилующей очень поучительным и самым свежим материалом из всех частей света, они не имеют средств на абонемент-с, но читают из вторых рук и создают нам репутацию... И «Новости» благодарны всем этим подписчикам и читателям из духовного и учительского круга и стараются удовлетворить их запросам и вкусам... Вот-с...

Лоб Нотовича снова отразил борение мысли с ее выражением. И снова затрещала речь:

— Этих скромных читателей надо поощрять-с, надо давать им подходящую пищу... Казалось бы, для них существует специальная пресса... все эти духовные и педагогические журналы... Но они их-с не читают... И они правы... Нет-с таланта, нет чутья в этих изданиях... Так вот, если бы вы, г. Русанов, были настолько любезны, чтобы взять на

себя литературное обозрение упомянутых журналов?.. Тут открывается простор вашему критическому настроению, тут самая мрачность уместна-с, даже требуется самим делом... Тут я вас не буду стеснять и даю вам заранее карт-бланш... Будем любить наших скромных читателей, деревенских попиков и провинциальных учителей... Но к попам-с писателям, к педагогам-с издателям будем строги и покажем их естественным читателям, что они не умеют для них писать...

Нотович словно побывал где-то недалеко от Фавора. Его физиономия лучилась. Идея нашла, наконец, подходящую форму.

— Понимаете-ли: никто-с в большой печати не обращает внимания на духовную и педагогическую печать, а вот «Новости» обратили-с, и у «Новостей» есть специальный обозреватель ее, горячий-с, убежденный либерал... э-э-э... даже больше того: прогрессист... э-э-э... и того больше: отрицатель-с, колебатель основ-с. Вы не любите важных попов, г. Русанов, ни важных педагогов? Тем лучше, и не любите их! Но вы любите деревенских попиков и сельских учителей, наших скромных читателей, и ради их, ради малых сих, — вы, ведь, демократ, г. Русанов-с! — вы пишете ваше обозрение... И вас будут читать, г. Русанов, вас не могут не читать... Вы еще молоды, чтобы трактовать важные политические вопросы... Но, судя по первому вашему фельетону, у вас есть, скажу без комплиментов — идея-с и... способность задирать... Словом, улыбается ли вам, г. Русанов, перспектива быть присяжным обозревателем духовных и педагогических журналов в «Новостях» и писать-с совершенно свободно все, что вы о них думаете?.. Над вами никакой цензуры в нашей газете-с не будет, кроме разве тех случаев, когда вы очень увлечетесь-с, и можно будет опасаться вмешательства уже другой-с цензуры, императорской, построже моей!

Очень довольный собой, Нотович расхохотался, и его смех поддержал на басовых нотах Коломенский Кандид...

— Прошу лишь принципиального согласия, г. Русанов, а о деталях мы поговорим... Так, знаете ли, фельетона два в месяц: один о духовных журналах, другой о педагогических...

Нотович отошел от двери, давая этим жестом понять мне, что я, если хочу, то могу теперь и уйти: редактор-издатель большой русской газеты сказал все, что он, по его мнению, должен был сказать несуразному дебютанту...

Признаюсь, я был поколеблен аргументацией Нотовича и чуть не дал сейчас же своего согласия. Но воспоминание о корзине, которая всегда попадается мне под ноги, когда нужно принять какое-нибудь практическое решение, заставило меня быть осторожным и я попросил у Нотовича два дня на размышление.

Моим первым движением было ухватиться за предложение Нотовича. Оно, прежде всего, соответствовало моему страстному желанию писать, высказывать свои мысли, вступить в постоянное общение с читателем. Следует прибавить, что из всех речей, которые мне в течение нескольких лет пришлось слышать от Нотовича (хотя в «Новостях», как увидит читатель, я через какой-нибудь год перестал писать), эта речь руководителя «большой русской газеты» показалась мне наименее нелепой и скачущей. Обыкновенно мало-мальски серьезные разсуждения Нотовича поражали своей легковесностью и детским тщеславием. В данном же случае он излагал мысль, повидимому давно занимавшую его и вполне соответствовавшую калибру его малого, но далеко не лишенного практической смекалки ума. И в том, что он говорил об особенностях некоторых категорий своих читателей, о характере нашей духовной и педагогической печати, заключалось немало верного.

Таково было, впрочем, не одно мое мнение, — я был тогда еще очень неопытен даже в чисто литературных вопросах, — но и мнение такого уже видного в то время писателя, каков был С. Н. Кривенко. Как только я рассказал ему о своем свидании с Нотовичем и о предложении послед-

него, он посоветовал мне не откладывать дела в долгий ящик и сейчас же взяться за подвертывающуюся работу. А мои радикальные друзья (особенно Мурашкинцев) развернули предо мною даже блестящие перспективы популяризации социалистических идей с высоты критической трибуны в «Новостях»...

Конечно, разбор педагогических и духовных журналов — не общественный, не политический фельетон, который так привлекал меня к себе. Но, при обещанной мне Нотовичем почти полной автономии моего отдела, можно было и в нем проводить свой идеал. И я дал Аннибалову клятву воевать за него с попами и педагогами.

Финансовая сторона дела таким образом отступала для меня на задний план, хотя молодому организму хотелось есть, и есть больше, чем до сих пор мне удавалось это в Питере. Поэтому, когда я принес через несколько дней свое согласие Нотовичу, а он мне предложил за два фельетона 25 рублей в месяц, то я не только сейчас же принял эти условия, но вскоре, ободренный благоприятными отзывами моего хозяина и его радушным предложением не стесняться величиною моих фельетонов, я и сам незаметно для себя скоро довел свои обозрения до таких размеров, что из двух фельетонов стало получаться четыре, — по фельетону в неделю, — все за те же 25 рублей в месяц...

За то началась для меня великая «Анкрамморская битва» с пастырствующими и учительствующими,

Где потоками кровь их лилась
Где на Эверса грозно Боклю напирал,
Где за родину бился Дуглас....

Так, по крайней мере, казалось мне, когда я злорадно просматривал все эти «Христианские чтения», «Странники», «Православные Обозрения», или «Педагогические музеи», «Народные школы», «Семейные вечера» и т. п. и изыскивал в них наиболее уязвимые места для моего режущего и колющего оружия. Не могу на расстоянии 45 лет от этих критических операций и не имея под рукой соответствующего ма-

териала решить, насколько убедительность моих фельетонов отвечала убежденности самого автора, но этою убежденностью они во всяком случае преизбыточествовали.

Я не только «не любил», как предполагал Нотович, я ненавидел всеми силами души разбираемых мною авторов: попы-охранители и педагоги-педанты были еще совсем свежими, можно сказать личными врагами для меня, для меня, едва оставившего гимназическую скамью и дважды прошедшего чистилище аттестата зрелости. С пастырями я принужден был еще несколько сдерживаться. Сколько раз мне, напр., ужасно хотелось вступить, по поводу статей из области догматического богословия, в ратоборство с Высоким Господином, доказать в присутствии читателей, что он собственно не существует. Но Нотович благоразумно отсоветовал мне эти небесные карательные экспедиции à la Лукиан. И я вознаграждал себя менее претенциозными земными походами, и, например, по поводу ученых исследований какого-то архипастыря о еврейском юбилейном годе я цитировал отзыв социалистических писателей о первобытном коммунизме и о факте вековечной борьбы классов, каковую, мол, кончит лишь социализм...

Но что касается педагогов, то тут я целиком держал свою Аннибалову клятву. Их я преследовал в прозе и в стихах:

. . . . . .

Рви, мой друг, на полях педагогии
Цветы жалкие, мысли убогие, —

поощрительно иронически обращался я к самому себе, и на самом деле «рвал» и подносил читателю все, что произрастали курьезного скудные тогда педагогические российские нивы, не столько удобренные, сколько заваленные привозным немецким хламом...

Эти мои обзоры стали действительно читаться... за непочтительность к г.г. Роговым, Песковским, Евтушевским. И Нотович только потирал руки, уверяя меня в виде поощрения, что в дни моего педагогического фельетона розничная продажа «Новостей» поднималась на — 7 номеров. И

тут же присовокуплял, — вероятно из опасения, как бы я не возгордился и не попросил прибавки, — что в дни фельетона Коломенского Кандида разница поднималась на 77 раз 7 номеров. Я же искренно гордился этими семью покупщиками и считал их в благодарности своего писательского сердца чуть не семью греческими мудрецами: семь, да мои, только семь, но они читают меня и разделяют мои взгляды!

Моя критическая звезда в органе Нотовича достигла своего зенита, когда в каком-то ученом педагогическом журнале, кажется «Народной Школе», появилась большая статья, посвященная специально «Скромнику из Новостей», (то есть мне, «Скромному Я»!) и подписанная одним из грознейших авторитетов в области образования. Увы! вознесшись столь высоко, упомянутая звезда сразу же и скатилась... с небосклона «Новостей». Нотович был в восторге от такого, хотя и отрицательного, внимания к его газете: пусть ругают, лишь бы не замалчивали! Но он струсил грознейшего авторитета в области педагогии и не дал мне свободно ответить ему.

Дело было в том, что, передавая читателю в комическом виде систему, — кажется, Грубе - Евтушевского — развивать мышление детей при помощи «фребелевских палочек», я сделал то непочтительное предположение, что в конце концов простому русскому человеку из народа все эти «палочки» до такой степени осточертеют, что он вздумает их испробовать на самих педагогах. И вот грознейший авторитет не придумал ничем лучшим ответить мне, как принявшись уверять читателей, что теперь уже весь русский народ должен пустить в ход по отношению к «Скромнику из Новостей» «здоровую русскую дубину». Возражая ученому педагогу, я кончил свой новый обзор замечанием, что лучшей «дубины», как сам грознейший авторитет, «русскому народу», пожалуй, и не найти для моего наказания. Потому, мол, я заранее умолкаю перед такой увесистой ферулой!

Нотович пришел в трепет от моей продерзости и ни за что не хотел напечатать моего фельетона. Моя автономия

кончилась. Условие было нарушено — и не мною. И я, выражаясь торжественно, выходил из «Новостей» с гордо поднятой головой, не особенно даже огорчаясь этим обстоятельством, так как перед тем нашел более подходящую для себя трибуну в благосветловском «Деле». Но прежде чем приступить к рассказу о том, как я вошел уже в большую журналистику, я считаю нужным возвратиться несколько назад и перебрать свои воспоминания, касающиеся гораздо более крупного вопроса, а именно того перелома в русской революционной мысли, который привел ее к народовольчеству.

IX.

Перелом к террору и народовольчеству. — Либералы, радикалы, революционеры. — „Северный союз русских рабочих". — Покушение Соловьева. — Некультурные и культурные обыватели. — „Отечественные записки" и Михайловский. — „Дело" и его редакция: Благосветлов, Шелгунов, Бажин.

Как все в мире, этот перелом подготовлялся постепенно, но впервые прокинулся более или менее ярко приблизительно с начала 1878 года и продолжал все быстрее и быстрее развиваться в течение полутора лет, пока не создалась воплотившая новое направление партия Народной Воли. Суть его заключалась в признании социалистами необходимости борьбы за политическую свободу.

Что активная русская интеллигенция была социалистична, в этом никто не мог сомневаться, кто был знаком с ее деятельностью и с ее литературой. И всякие попытки доказать задним числом, что она была лишь очень демократична и прогрессивна, а только политические условия, гнет правительства и т. п., придавали ее мировоззрению поверхностную розовую окраску, разбиваются о факты.

Но активная русская интеллигенция была и революционна. И столь же мало успешны усилия представить ее состоящею исключительно из апостолов мирного общественного преобразования. Даже самые последовательные сторонники постепенной пропаганды проповедывали все же в конце

концов коренной переворот общества, великую социальную революцию, и лишь ставили ее в зависимость от подготовленности народа. И только когда такие пропагандисты, хотя бы в лице отмиравших лавристов - «марксистов», отрекшихся от Лаврова, как он отрекся от них, принимались проповедывать отказ от всяких решительных выступлений, они сами сбрасывали себя со счетов революции, но за то утрачивали и всякое влияние на живую молодежь.

Словом, русскую активную интеллигенцию нельзя было винить ни в недостатке социалистичности, ни в отсутствии революционности. Чего ей не хватало, это вещи, которая теперь нам кажется столь простой и само собой разумеющейся: понимания важности некоторых предварительных политических условий, без которых были немыслимы ни пропаганда социализма, ни подготовление революции. Но и легендарное яйцо Колумба было тоже простою вещью: стоило только разбить его кончик и поставить на него. И, однако, в силу известных исторических обстоятельств, заслонявших перспективу общественной деятельности, русская интеллигенция, несмотря на всю свою инициативность, не могла разбить до поры до времени того предрассудка относительно политической свободы, будто она лежит собственно вне задач социалиста и революционера.

Конечно, не надобно умышленно упрощать этой точки зрения, как порою это делали либеральные полу-историки, полу-публицисты, преважно рассуждая на ту тему, что какие, мол, были глупые все эти социалисты и революционеры, не понимавшие значения свободы слова, печати, собраний, тогда как они, их строгие критики, понимают это так великолепно. Никто из тогдашних социалистических и революционных деятелей России, кроме, может быть, кой-каких нелепых набатчиков, помешавшихся на диктатуре, не относился отрицательно ни к одной из этих свобод. Но они думали, что стоило только совершить социальную революцию, и тогда в новом строе разом осуществлялись не только отдельные, частичные свободы, но полная и всесторонняя свобода всех

и каждого, беспрепятственное развитие человеческой личности в трудовом гармоническом обществе людей-братьев.

И русская общественная мысль все время билась в кругу, ища выхода из роковой задачи, как перевернуть историческую толщу эксплуатации и угнетения человека человеком при помощи огненного рычага революции, не утвердив его точки опоры на самой же почве. Лишь мало по малу и разными путями, и, — как зачастую бывает в истории, — путями не всегда и не целиком удачными, наша активная интеллигенция подошла к решению задачи.

Прежде всего она инстинктивно устремилась к ней по пути политических убийств (я не соединяю здесь с этим термином никакого морального осуждения, согласно английской поговорке: умертвить, еще не значит убить), по пути, который должен был неизбежно перейти в путь политического террора. В одной из предшествующих глав я упомянул, какая волна убийств и покушений прокатилась по России, — а отчасти перелилась заграницу, — после выстрела Веры Засулич в Трепова. Но важны были в известном отношении не столько сами эти приемы борьбы, к которым люди пламенной души, в роде Валериана Осинского, тяготели уже довольно давно, сколько их теоретическое обоснование.

В этом смысле любопытна хотя бы прокламация «Смерть за смерть», которая появилась в начале августа 1878 года в Питере, чтобы оправдать убийство генерала Мезенцева против нападок легальной печати, чересчур легко бросавшей революционерам обвинение в «убийстве из-за угла», и которая была написана той самой рукой (Кравчинского), которая нанесла смертельный удар начальнику Третьего Отделения. Автор еще крепко держится за народнические понятия о смысле общественной борьбы, происходящей в России: то борьба социальная, борьба между эксплуатируемым народом и привилегированным буржуазным меньшинством. Но не вина идущих на стороне народа социалистов, если правительство вступается в эту борьбу и обрушивается на революционеров всевозможными репрессалиями. Русская революционная пар-

тия должна защищаться и будет защищаться силою против правительственного произвола, не останавливающегося перед казнями социалистов, и не выпустит из рук оружия, пока царское правительство не прекратит преследований так называемых политических преступников, не даст полной амнистии, не передаст политических процессов суду присяжных и т. п., то есть, в сущности-то (обобщая эти требования), пока оно не осуществит некоторой политической свободы и не признает некоторых конституционных прав. Так определенно это не выговаривалось. Но вывод напрашивался сам собой, хотя и не был сделан всеми членами общества «Земли и Воли», ставшего к тому времени наиболее сильной организацией народников.

Эта первая формулировка сочетания политического террора и борьбы за социализм еще ярче выразилась в начавшем выходить с осени все того же переломного 1878 г. органе упомянутого общества, органе, получившем по организации и свое заглавие «Земля и Воля». В этой газете, которая, благодаря выдающимся качествам своих главных сотрудников —романтическому размаху Кравчинского, еще не зрелому, но крепнувшему с каждым днем полемическому таланту Плеханова, здоровому юмору Клеменса, — представляла собою и далеко незаурядное литературное явле́ние, прямо говорилось, что совершить социальную революцию может только народ, что свалить господство одного социального класса может только другой социальный класс. Но что революционная партия при теперешних условиях должна иметь особый террористический отряд, который охраняет всю организацию, направляя свои удары против наиболее вредных противников в правительственном лагере. Террор, но лишь для осуществления некоторых минимальных условий простора в социалистической борьбе, хотя бы в виде устранения лиц как Трепов, Котляревский, Мезенцев, — вот какую драматическую по своим внешним проявлениям, но все еще половинчатую по существу форму принимала становившаяся исторически необходимою задача сочетать борьбу за социализм

с борьбой за политическую свободу. Позже мы увидим, как народовольчество превратило террор в одно из главнейших орудий решения этой задачи.

Обратим теперь внимание на другое параллельное течение общественной мысли, которое усиливало в русской революционной интеллигенции тягу к борьбе за политическую свободу: это течение резко демократическое (пропитанное элементами социализма), которое отчасти поддерживалось чисто буржуазным либеральным течением, но чаще сталкивалось с ним. Теперь, на расстоянии десятилетий, становится виднее, что движение это, в то время, казалось бы, встретившее лишь слабый отклик среди активной интеллигенции, на самом деле в немалой степени подготовило почву для народовольчества, так как популяризировало мысль о политической свободе, или, по крайней мере, о некоторых предварительных условиях ее.

Я позволю себе снова обратиться к своим личным воспоминаниям. Выше я упомянул вскользь, как на одной из радикальных квартир дома Яковлева, в котором мы жили тогда с Богдановичем, мы встретились с Ольгой Натансон и сопровождавшим ее Адрианом Михайловым, принесшим «Приложение» к газете «Начало» и не без интереса читавшим и комментировавшим его в нашем присутствии... То была замечательная в своем роде прокламация «Обращение к русскому обществу», в котором автор требовал перехода общественных дел в руки самого общества, то есть, значит, совершенно определенно конституционного правительства, а в противном случае грозил возникновением в стране тайного комитета общественной безопасности, — что представляло знаменательное предвосхищение появившегося немногим более, чем через год, Исполнительного Комитета Народной Воли.

Комментарии Михайлова сводились главным образом к указанию на любопытный факт политического покраснения «либералов», которые заговорили теперь гораздо более определенным и резким языком с правительством. Тут, конечно,

было значительное недоразумение со стороны одного из наиболее последовательных народников того времени, но недоразумение неизбежное, об'яснявшееся общей позицией партии. Михайлов мог и не знать, что прокламация принадлежала перу Н. К. Михайловского, которого нельзя было зачислить в лагерь либералов, который в первой половине 70-х годов блистательно защищал на страницах легальных журналов некоторые положения народничества, а теперь проявлял большую самостоятельность мысли, не отказываясь от социализма, но вместе с тем требуя политической свободы и конституционных гарантий. Но, и не зная этого факта, тот, кто читал бы без всякого предубеждения прокламацию, не сказал бы, что она не могла быть написана социалистом.

Увы, предубеждение и предубеждение историческое, зависевшее от общих условий эпохи, закрывало эту истину от глаз даже выдающихся представителей народнического социализма. «Так тогдашние социалисты не писали: значит, прокламацию мог написать только либерал». А к этому присоединилось еще то обстоятельство, что прокламация была издана в виде приложения к газете «Начало», которая тоже считалась революционерами либеральной, а не социалистической, и тоже в силу известного предубеждения. Газета казалась, и не могла не казаться, либеральной нам, тогдашним социалистам, потому, что, хотя она и признавала общие принципы социализма, она указывала вместе с тем на необходимость политических и экономических реформ, то есть была в сущности органом того направления, которое называется теперь реформистским социализмом. «Начало», действительно, выдвигало известные меры в известной последовательности, пропагандировало, как теперь сказали бы, программу-минимум. Революционные же социалисты выдвигали не ряд мер, а революцию, и не имели программы-минимума, потому что не различали между максимумом и минимумом, а крепко верили, что социалистический идеал будет осуществлен в короткий промежуток времени.

У меня, к сожалению, нет под рукой «Начала», чтобы цитатами из него подтвердить справедливость моей оценки. Но я помню как свое общее впечатление старых годов, так и разговор, который я вел много лет спустя, приблизительно около 1910 года, с Николаем Федоровичем Анненским об этом органе, небезынтересном продукте сотрудничества некоторых легальных литераторов очень радикального направления и кой-кого из социалистов.

В «Начале» участвовали как Михайловский, так и Анненский, а если память мне не изменяет, то и Лесевич... Социалисты были представлены уже упоминавшимся выше Александром Ивановичем Венцковским, в то время, если не ошибаюсь, кончившим курс технологом, который довольно близко стоял к Михайловскому и находился в некоторых отношениях под сильным влиянием Николая Константиновича. Анненский в разговоре со мной особенно подчеркивал, что он и Михайловский были не только «несомненными социалистами» («хотя нас бунтари и обзывали порою катедер-социалистами»), но и «политиками» в то время, когда еще роль политики не была надлежащим образом оценена русскими социалистами. И что если Михайловский написал прокламацию «К Русскому обществу», — то ее мог бы написать и сам он, Анненский, так как его взгляды на необходимость, — «но лишь при известных исключительных условиях», — террора ничуть не расходились со взглядами Михайловского и разделялись целой группой радикальных легальных литераторов. Участие же в газете «социалиста» Венцковского сказывалось не столько на внесении в программу социалистического принципа принадлежности продукта труда самому работнику, сколько на требовании заменить деспотическую центральную власть (разумелось прежде всего царское правительство) свободной федерацией общин. Здесь роль поляка Венцковского (и украинца Лесевича?) была вполне естественна: в этой форме выражался протест против императорского руссификаторства. Я очень сожалею, что не успел проверить этого взгляда Анненского разговором с Венцковским.

Не лишено интереса другое обстоятельство. Прокламация Михайловского, принятая революционерами за произведение насмелевших либералов, большинству либералов показалась, наоборот, чересчур резкой и делающей в некоторых местах слишком большие уступки революционным течениям. Настроение и язык нашей либеральной «оппозиции Его Величества» несомненно, — особенно под впечатлением неудач внешней политики и хаоса внутренней, — крепчали. Но отсюда до позиции автора прокламации было еще далеко.

Одно время едва ли не наиболее энергичным языком заговорили славянофилы, не шедшие однако дальше того доморощенного либерализма, который считал верхом политической мудрости формулу: «правительству — сила власти, стране — сила мнения». Их всколыхнул Берлинский конгресс, обнаруживший в общем неприязнь всей Западной Европы к военной политике России. Когда в самый разгар конгресса, в конце июня 1878 г., Иван Аксаков закончил свою речь в славянском комитете громозвучными словами: «неужели с высоты престола раздастся нам, верноподданным, веление: молчите, честные уста! гласите лишь вы, лесть и неправда!», их подхватило не только славянофильское, но и вообще либеральное мнение. И два месяца спустя, в половине августа, мне, незадолго перед тем выпущенному из тюрьмы, пришлось у Грацианского быть случайным свидетелем небольшого, но очень шумного собрания адвокатов, которое говорило о переломе с весны настроения либеральных и даже умеренно-консервативных кругов. Государствовед Николай Михайлович Коркунов напыщенно-восторженно читал (кажется, к тому времени уже запрещенный) полный текст речи Аксакова и сопровождал ее восторженными же комментариями при рукоплесканиях присутствующих.

Но перелом не обозначал еще полного отказа от тогдашней очень умеренной тактики наших Сьейесов и Байльи. Земская и городская либеральная оппозиция старалась даже пользоваться революционным движением исключительно для того, чтобы просить у правительства для себя некоторой свободы

в целях отнятия уже всякой свободы у революционеров. Действительно, как только царская власть, которой в борьбе с растущим террористическим движением не помогали теперь и призванные на помощь военные суды, обращалась к обществу с требованием поддержать ее в этом поединке, наши земства и города неизменно отвечали: они и рады бы помочь, и знают, как помочь, ибо у них есть верное средство утихомирить крамолу, но, к сожалению, правительство держит их самих на короткой привязи. Пусть оно развяжет им руки, и тогда они покажут, какие они хорошие охранители и усмирители!

И все же, несмотря на этот наивный верноподданнический маккиавелизм, русские умеренные либералы играли некоторую прогрессивную роль, приучая общество к понятию о правовых гарантиях. Начавшиеся против них, хотя и очень отеческие, репрессии создавали им некоторую популярность среди обывателей. И если Харьковский профессор и земец Гордеенко, «которого уже совсем было в Архангельскую губернию сослали, да с дороги вернули», служил в течение нескольких месяцев мишенью незлобивому остроумию революционеров, которых не только «совсем» сажали в Петропавловку, но «совсем» вешали и «совсем» расстреливали, то ссылка черниговского земца Петрункевича, хотя тоже заявлявшего в своем адресе и о желании и о бессилии либералов помочь правительству в борьбе с революционерами, возбудила к нему в обществе довольно широкие симпатии.

Как бы то ни было, и может быть против своей воли, умеренный русский либерализм создавал для будущих принципиальных террористов, народовольцев, те облегающие и питающие их слои из наиболее смелых и идейных либералов, которые способствовали в известный момент популярности боевой партии в самых разнообразных кругах. Так что утверждение Тихомирова, уже «переставшего быть революционером», в «Московских Ведомостях» относительно того, что годовой бюджет Народной Воли в 80.000 рублей слагался почти исключительно из крупных пожертвований сочувствую-

щих либералов, а отнюдь не из скудных взносов студентов и рабочих, пожалуй и не так далеко от истины, как можно было бы предполагать в виду подозрительности самого источника.

Но мысль о необходимости политической свободы для развития и торжества социализма входила в сознание революционеров еще через другую дверь, откуда, казалось бы, нельзя было в это время ожидать пришествия этой означающей серьезный умственный перелом идеи: из среды наиболее выдающихся представителей петербургского пролетариата, от так называемого «Северного союза русских рабочих».

Расскажу все, что знаю об основании и характере этой интересной организации, начало которой до сих пор теряется в некоторой полутьме, так как не только тогда, но, сдается мне, и позже, и до сих пор никто из создателей «Северного союза» не захотел или не мог поделиться сведениями о возникновении их детища. Мои сведения идут из вторых, хотя и надежных рук, от Мурашкинцева, который был в это время особенно близок с душою союза, Степаном Халтуриным, но которого Степан все же не считал возможным посвятить во все тайны образования этой первой на севере самостоятельной рабочей организации.

Вообще Халтурин в конце 1878 г. ходил с озабоченным, немножко конспиративным, но довольным лицом. Его план, разделявшийся Обнорским и другими вожаками рабочих, создать чисто рабочую политическую партию в России встречал все больше и больше сочувствия среди Петербургского пролетариата. Нужно было оформить это стремление, набросать план программы предполагавшегося общества, обсудить окончательно программу на собраниях наиболее сознательных и починных рабочих. И прежде всего нужно было найти подходящую квартиру. В это время взбудораженные повсеместными террористическими актами власти принялись развивать лихорадочную деятельность в борьбе с революцией, и столичная полиция под руководством Дрентельна, ко-

торый заменил убитого Мезенцева, особенно зорко следила за всякими собраниями и сходками. Как тут быть?

Вывел из затруднения Халтурина уже упоминавшийся мною раньше личный приятель его, телеграфист, тот самый, который возил меня на Сиверскую читать реферат сельским учительницам и фамилию которого я, к сожалению, никак не могу припомнить. У этого телеграфиста была сестра замужем за приказчиком богатого гостинодворца Скворцова, а у этой сестры была довольно обширная, отчасти сдававшаяся ею в наймы, квартира на углу Среднего проспекта и одной из дальних линий Васильевского острова. На этой-то квартире, на святках 1878 года, и воспринял крещение «Северный союз русских рабочих», программа которого была обсуждена и принята единогласно членами основателями на двух больших собраниях и ряде частных совещаний. Обнорский, Шмидт, Иванайнен, братья Петерсоны, Хохлов были, кроме самого Халтурина, в числе этих основателей или главных присутствующих членов.

Немедленно же отпечатанная в одной из нелегальных типографий программа произвела на революционную интеллигенцию не особенно сильное, скорее смешанное впечатление, но развитыми, увы, далеко не многочисленными в то время рабочими была принята с восторгом, для рабочей же массы прошла почти незамеченной. Революционеров собственно заинтересовал и обрадовал самый факт появления программы, написанной более или менее самостоятельно рабочими. Говорю «более или менее самостоятельно», так как в полную самостоятельность авторов не верили. Да притом было известно, что с некоторыми личными приятелями, как лавристами, так и народниками, Халтурин советовался по кой-каким пунктам, правда в общей форме и не говоря, что дело идет о программе уже почти совсем готового рабочего союза.

Несомненно, что некоторыми мыслями программа забегала вперед наиболее распространенного тогда мировоззрения среди революционной интеллигенции, но забегала по пути,

по которому шла вся эволюция этого мировоззрения, а именно в сторону отчетливой формулировки важности политических свобод. Выйди этот документ несколькими месяцами позже, когда политика была уже ярко подчеркнута возникшей партией Народной Воли, на долю программы Северного союза мог бы выпасть гораздо более значительный успех. Но организация была уже разгромлена весенними арестами 1879 г., и иронизирующей судьбе угодно было перевести в ряды террористов самого Халтурина, который был одним из главных авторов программы, одним из виднейших руководителей союза, и который еще незадолго до апрельского покушения Соловьева на царя, встретившись со мной на моей прежней квартире у родственницы Кривенки, где я, по случаю быстрого от'езда в Орел, передал ему право столоваться в течение трех недель, заговорил с негодованием на своем окающим вологодском наречии о террористических актах: «интеллигенции твоей не терпится, Сергеич, она чинарей принялась жарить, а мы робочие за то отдувайся. Ни сходок, ни кокой организации невозможно... Проклятые!..»

Программа Северного союза прямо говорит, что именно политическою свободою обеспечивается решение социального вопроса, и потому выставляет требование свободы слова, печати, собраний, всяких убеждений и действий. Но к чисто политическим требованиям она присовокупляет требования уже экономического и социального характера, не особенно, впрочем, строго отграничивая одну группу мер от других. Так, в одной плоскости она требует и отмены паспортной системы, и уничтожения сыскной полиции, вообще отказа от преследований политических преступлений, и уничтожения сословных прав и преимуществ; обязательного и бесплатного обучения и замены постоянных войск народной милицией; самоуправления сельских общин и замены косвенных налогов прямыми; а затем и ограничения рабочего дня, и учреждения производительных ассоциаций, и дарового кредита как рабочим ассоциациям, так и сельским общинам.

Это — программа-минимум. Но есть и программа-максимум, которая собственно и служит исходной точкой всего заявления. Многозначительно связывая свою деятельность с социально-демократической партией Запада («тесно примыкая по своим задачам» к ней), союз ставит своею целью: ниспровержение существующего политического и экономического «строя государства»; учреждение свободной федерации самоуправляющихся на началах русского обычного права общин; уничтожение поземельной собственности с заменой ее общинным землевладением; и даже «ассоциационную организацию труда», при которой и орудия производства, и производимый продукт принадлежат рабочему.

Любопытно кстати сказать, что, возникнув среди петербургского пролетариата, организация рассматривает себя, однако, как «обще-русский союз рабочих», который сплачивает «разрозненные силы городского и сельского рабочего населения» для «борьбы с социальным бесправием».

Из нет ничего не выходит, и во всяком явлении приходится рассматривать элементы, образовавшие его своим сочетанием. Спрашивается поэтому, где и в чем искать корней этого замечательного для своего времени выражения мыслей и чувств, слагавшихся у наиболее передовых представителей тогдашнего рабочего класса России?

По моему мнению, программа Северного союза была небезынтересным продуктом взаимодействия и взаимопроникновения марксистских (лавристских) и народнических взглядов. А оригинальность ее заключалось в той яркой, в той заостренной формулировке некоторых требований, на которую не пошла бы в отдельности ни та, ни другая из боровшихся партий, но которую обе они, пожалуй, всетаки не без удовольствия видели в манифесте рабочих.

Насколько я припоминаю, ни лавристы, ни народники не были целиком довольны программой Союза. Это и показывало, что она была сочетанием известных начал, взятых и оттуда и отсюда, и, сверх того, еще чем-то. Мурашкинцев говорил мне, напр., что ни он, ни его товарищи лавристы

не претендуют на роль вдохновителей или суфлеров при авторах программы. Халтурин, хоть лично и близкий к Мурашкинцеву, советовался с ним по разным вопросам социалистической теории и практики, но ни разу не сказал ему прямо, что имеется в виду немедленно же образовать рабочую организацию и выпустить ее заявление. И, однако, он, Мурашкинцев, с радостью увидал в программе союза отражение кой-каких мыслей, которые были дороги ему и его идейным друзьям. Упоминание о связи с социал-демократией Запада, перечисление некоторых чисто практических и непосредственных мер, крайне полезных для рабочего, — ограничение рабочего дня, запрещение детского труда, отмена паспортной системы, всеобщее даровое обучение, свобода слова, печати, собраний, — представлялись ему вещами, имеющими тесную связь с тем, что лавристы (марксисты) развивали во время прений на собраниях и противоставляли всеоб'емлющим революционным планам народников, а в частности вспышкопускательству бунтарей.

И, наоборот, Мурашкинцев пожимал плечами, встречая в программе требование федерации свободных общин («Улита едет, когда то будет!»), да еще самоуправляющихся на основах обычного права («Успенского да Михайловского читать надо, что они говорят о мерзостях, творящихся на этих самых основах в деревне!») и т. п. По его мнению, это было лишь отзвуком традиционной пропаганды народников, которые принимают желательное за возможное, возможное за действительное, а идеал за уже осуществившееся...

Я не припоминаю отдельных разговоров с народниками о программе. Но общее впечатление у представителей этого направления было таково: основные требования поставлены как следует; непосредственные же практические требования, хотя бы некоторые из них могли приносить кой-какую пользу рабочим, очень мелки сравнительно с великой целью, — социальной революцией, — и должны были бы ставиться не социалистами, а либералами. Бунтари были особенно недовольны тем, что программа, провозглашая в самом начале

необходимость ниспровержения современного «строя государства», мирно заканчивалась приглашением быть готовыми, подобно апостолам, на всяческие гонения, чтобы «воскресить великое учение Христа о братстве и равенстве» и вести эту пропаганду по городам и селам, «опоясавшись духовным мечом истины»: этого, мол, оружия основанное на насилии и живущее насилием государство ничуть не боится!..

Две крупные вещи странно упускались тогда из виду большинством революционеров при чтении программы: ее интернационализм (правда, не лавристами) и слитие в ней борьбы за социализм с политической борьбой. Ибо в ней находились, с одной стороны, следующие знаменательные строки: «Рабочие! великая социальная борьба уже началась и нам нечего ждать; наши западные братья уже подняли знамя освобождения миллионов — и нам остается только примкнуть к ним. Рука об руку с ними мы пойдем вперед и в братском единении сольемся в одну грозную боевую силу». Как в ней же читалось, с другой стороны, и следующее вкратце уже приведенное мною место: «Так как политическая свобода обеспечивает за каждым человеком самостоятельность его убеждений и действий, и так как ею прежде всего (курсив мой) обеспечивается решение социального вопроса, то непосредственными требованиями союза должны быть» — следует перечисление мер.

В такой рельефной, энергичной форме тесная связь между социализмом и политической свободой не была еще формулирована в тогдашней России. И Северный союз в этом отношении являлся предвестником готового сложиться народовольчества, которое именно и соединяло тесно экономику и политику. Но я пишу не историю и не теоретическую статью, а воспоминания, и потому возвращаюсь снова к личным переживаниям накануне, с одной стороны, образования новой партии, с другой, моего вступления в большую журналистику, что приблизительно совпало во времени. Из чего читатель, конечно, сделает лишь тот вывод, что и крупные

общественные события, и частные обстоятельства соединяются в нашем мозгу по законам ассоциации идей.

Новым шагом по пути перехода от отдельных террористических действий к систематическому террору, и прежде всего к цареубийству, было покушение на Александра II, совершенное 2-го апреля 1879 г. Соловьевым в Петербурге и, подобно каракозовскому покушению 4 апреля 1866 г., во время утренней прогулки царя. Как непосредственно отразилось это событие на политической атмосфере столицы, я не могу сказать, потому что был в это время в провинции, а именно в родном городе Орле, куда меня пригласил погостить отец, временно примирившийся со мною (его самолюбию льстило, во первых, то, что я вторично выдержал экзамен на аттестат зрелости, а, во вторых, что я — «писатель»!). Но за то я отчетливо припоминаю, как покушение на царя было воспринято в одном из значительных и притом в то время довольно умственных центров средней России.

Меня прежде всего поразил контраст с теми воспоминаниями, которые я сохранил от 4-го апреля 1866 г. Тринадцать лет тому назад даже я, тогда семилетний мальчик, почувствовал, что произошло что-то огромное и необыкновенное, что потрясло всех обывателей. Этого впечатления я не находил теперь. Я не говорю уже о настроении местных революционных кружков, среди которых я нашел кой-кого из прежних идейных товарищей: здесь шли споры лишь о целесообразности цареубийства, как приема политической борьбы, но почти все чувствовали известное нравственное удовлетворение. Что касается до орловских «либералов», то они негодовали, но я бы сказал: довольно слабо и очень условно. Некоторые из них даже с горечью ссылались на речь, произнесенную после покушения царем, кажется перед депутацией городской думы, как на доказательство того, что Александр II утерял теперь всякое политическое чутье, всякое желание считаться с лучшими чаяниями общества и говорил, как перепуганный обыватель: «заводите, господа, дворников, побольше дворников заводите, — ведь скоро от

крамольников порядочному человеку нельзя будет выйти на улицу!»

Средний обыватель в Орле был действительно перепуган, но перепуган меньше царя, — «мы люди маленькие, нас не тронут», — а главное, в нем не замечалось столь яркого проявления верноподданнического патриотизма, как 13 лет тому назад. Тогда это было повальное безумие негодования, и каждый старался перещеголять соседа бурнопламенностью выражения любви к царь-отечеству. Теперь негодовали почти только из приличия, а больше чувствовали некоторую жуть перед растущей неизвестной силой.

Курьезная вещь, под впечатлением события некоторые клеточки моего мозга словно оттаяли, и я процитировал отцу известное (внушенное страхом иудейским за судьбу «Современника», все равно тем не спасенного), стихотворение Некрасова в честь чудесного спасения 4-го апреля 1866 г. Это стихотворение, рядом с другими произведениями патриотической музы, обошло тогда всю печать. И его я, семилетний чтец, десяток раз прочитал в это время своим родным, конечно, нисколько не понимая его смысла, потом как будто основательно забыл, а теперь вдруг снова вспомнил:

Не громка моя лира: в ней нет
Величавых торжественных песен.
Но придет, народится поэт,
Вдохновеньем велик и чудесен,
И великую песню споет;
И героями песни той чудной
Будут: царь, что стезей многотрудной
Царство русское к счастью ведет,
И народ...

— Вот видишь, сказал отец, выслушав стихи, — тогда и «ваш» любимый Некрасов считал долгом выразить свои чувства к государю. А теперь все распустились и все расхлябалось, и только ждешь, какое еще злодейство твои хваленые передовые люди завтра же совершат... Нет нигде и ни к кому почтения. Только чувствуешь, что со всех сторон что-то новое и мерзкое на тебя ползет, а бороться с ним

ни у кого нет ни настоящего желанья, ни настоящего уменья... Николай Павлович таких бы беспорядков не допустил, а в самом бы начале пресек. А то разлиберальничались — и нажили крамолу. Теперь хоть все щели затыкай, а она знай себе лезет и все ломает и в государстве, и в семье...

Я знал, что в мое отсутствие по моим «стопам» пошла старшая, следующая за мной сестра и уходом из родительского дома тоже завоевала себе полную свободу. На отца это поведение его любимой дочери, — «старшунихи» и «разумницы», — так подействовало, что с ним случился даже первый, легкий удар. Он и теперь говорил со мной слегка заплетающимся языком.

Силу крамолы он даже преувеличивал... Не знаю, каким образом, но в голове этого когда-то неглупого и много читавшего, хотя порою и сумбурного человека сложился целый политический роман. Он был теперь глубоко уверен, что по всей России образовалось одно революционное братство, «франмасонство», и все члены его переговариваются знаками при встрече, сообщая друг другу о страшных готовящихся или уже совершенных преступлениях. Как-то, когда мы шли с ним вместе по улице, и я сделал прошедшему по другой стороне знакомому приветствие рукой, отец вдруг принял таинственный вид и, озираясь по сторонам, многозначительно спросил меня:

— Ну, что вы еще там натворили?.. Что тебе сказал этот франмасон?.. Что ты ему?..

Я совершенно искренно не понимал его и, наконец поняв, ответил, разумеется, что никаких секретных переговоров у меня со встретившимся не было, что все это лишь игра его воображения. Но отец и слышать не хотел моих об'яснений, очень обиделся, — «не жандарм же я», — и остался в полной уверенности, что мы, крамольники, разговариваем между собой на франмасонском языке и покрыли все лицо земли русской сетью франмасонских обществ убийц.

Отец был обыватель с фантазией. Но и обыватели без особой фантазии испытывали в то время ощущение, что в

России народилось что-то новое, в немалой степени таинственное, и, пожалуй, способное завтра же пред'явить свои требования к обывателю, — какие, обыватель путем не знал и немножко праздновал трусу. После орловской сырой обывательщины судьбе угодно было забросить меня на несколько месяцев в среду столичной культурной обывательщины, притом особого рода, а именно в семьи полупрофессорского, полупасторского выводка немцев, живших постоянно или проживавших летом в Царском Селе. И здесь, однако, я встретился с тем же обывательским настроением недоумения, ожидания и трепетности... Приходится вспомнить и об этих своеобразных культуртрегерах мужеска и женска пола, а кстати и о том, как я попал к ним...

Приехав в Питер в мае месяце, я застал волны бешеной правительственной реакции, последовавшей за соловьевским покушением, уже несколько улегшимися. Но полиция продолжала свирепствовать и завела необыкновенные строгости по части прописки и выписки. Были произведены обыски у немалого числа моих знакомых, лавристов и бунтарей, часть которых или скрылась, или раз'ехалась на летнее время в провинцию. Было серьезно тронуто общество «Земли и Воли». Рабочие организации жестоко разгромлены. Степан Халтурин куда-то исчез. Студенты и курсистки, гимназисты, семинаристы и фельдшерицы подвергались жестокой слежке. Встретившийся со мною уже знакомый вскользь читателю Александр Филиппович Шуппе, кончавший в то время курс в Горном Институте, познакомил меня с таким положением дел и предложил мне, по крайней мере на лето, спокойное убежище под Петербургом в качестве репетитора одного из его дальних родственников: писать в «Новостях» я могу, мол, и из Царского Села.

Дело шло действительно, о ежедневных занятиях втечение двух-трех часов с одним великовозрастным, но мало способным немчиком, которого надо было главным образом натаскать по русскому языку и русскому сочинению для предстоящего экзамена в юнкерское училище. Остальное

время я могу делать, что угодно. Мне давалась большая комната в мезонине одной из прекрасных дач, расположенных по дороге в Павловск, давался «сытный немецкий» стол и даже несколько десятков рублей месячной мзды. И вот я — среди колонии почтенных немецких бюргеров, в считавшемся тогда фешионэбельным, но консервативным Царском Селе (слава фешионэбельного, но либерального места укрепилась в то время, наоборот, за соседним Павловском, где, кисло фрондируя, доживал свой век брат царя, Константин Николаевич, этот последний могикан правительственного прогресса 60-х годов).

Представьте себе, читатель, русского мальчика без штанов в обществе немецких мальчиков в штанах и немецких барышен в соответствующих полу и культуре одеяниях. Ибо, хотя я был уже «писателем», но нравы сохранил русского «мыслящего пролетария» и изяществу манер ни в какой специальной школе не обучался, если не считать все той же орловской улицы и все той же русановской дворни. Особо грубых оплошностей против принятого в окружавшей меня культурной среде обихода, впрочем, я не делал, поставив себе за правило подражать приютившей меня семье — и прислуге, в хороших домах являющейся главной носительницей традиций и приличий. Но сколько раз моя российская, вз'ерошенная, неуравновешанная, все куда-то мятущаяся и чего-то жаждущая душа натыкалась, как непривыкшая еще к клетке птица, на частокол этикета и привычек, а главное идейных курьезов балто-германской цивилизации!..

На даче, где я репетировал, и на двух-трех соседних дачах жило несколько связанных между собою всевозможными степенями родства и свойства немецких семей, находившихся в разных фазисах обрусения, в общем, однако, не очень далеко заходившего и имевшего главным образом целью дать возможность главам их жить на казенных русских хлебах. То были семьи профессоров и академиков германского происхождения. Два-три человека из них были, действи-

тельно, крупными учеными, а большинство принадлежало к трудолюбивым посредственностям, которые отличались чрезвычайной любовью к русскому царскому правительству и очень умеренною к русскому народу, неимоверным филистерством и страстью к ловко и дружно плетшимся этой почтенной корпорацией интригам против русских собратий по высшим школам и академии наук. Надеюсь, читатель не заподозрит меня, интернационалиста, в каком-нибудь национальном предубеждении: я рассказываю только факты и впечатления, отмечая лишь решительное преобладание консервативных тенденций в русско-немецкой ученой среде и нисколько не скрывая, что и среди чисто русской профессуры карьеризм и монархизм были всегда очень распространенны (мнение, между прочим, В. В. Семевского, о чем как-нибудь позже.)

Царскосельский немецкий выводок грелся в немалой степени на солнце действительно огромного имени Карла Эрнста Бэра, для русского обихода Карла Максимовича. Сам Бэр умер у себя в Прибалтике года за три-четыре перед тем, как судьба бросила меня на несколько месяцев в гелертерскую среду Царского Села. Но здесь жили его родственники и свойственники, которые — особенно женский персонал — на каждом шагу произносили имя «великого» Бэра, хотя, повидимому, и не особенно интересуясь, чем он был, собственно, велик. Здесь жила родственная же с Бэром семья тоже уже к тому времени умершего ботаника Франца Рупрехта, семья, где лишь на младшем поколении стало отражаться влияние русской, и притом прогрессивной, культуры. Старшие члены этой семьи, например, вдовствующая родоначальница, прожив не один десяток лет в России, совсем почти не говорили и с трудом понимали по русски, так что для об'яснений даже по самым простым вещам нуждались в переводчике. Сыновья и дочери, зная немецкий, хорошо говорили и по русски, и кой-кого из них решительно тянуло к русской интеллигентной молодежи. Вспоминаю в особенности добродушную, маленькую, кругленькую, довольно красивую «Марихен», которая дружила с русскими студентами

и студентками и охотно прислушивалась к радикальным мнениям своего «кузэна», Александра Филипповича Шуппе. (Сам Шуппе, несмотря на свою изрядно германскую, в общем привлекательную наружность, — серо-голубые глаза и рыжеватую бороду, — был уже типичным «сочувствующим» революции русским студентом, которого все мы любили за его товарищеские наклонности и доброе сердце).

Жил также, или наезжал в Царское, широко разветвленный род Б., главы которого, все эти Карлы, Эдуарды, Иоганны и Фридрихи, занимали разные хорошо оплачиваемые места в университетах и академиях и перелицовывались тогда в Александров и Федоров, но под русскими именами питали неизменно верноподданнические чувства к императорам и изрядную долю презрения к невежественной нации. Лишь один-два из них могли бы указать на некоторые научные заслуги, а остальные были типичными людьми 20-го числа, которые по обывательски и по чиновнически реагировали на крепнущее террористическое движение, — сначала страхом и лойяльным возмущением, а затем, с образованием «Народной Воли», мучительным вопросом: а будет ли им платить жалованье новое правительство?..

И, однако, соприкосновение с этой категорией личностей не прошло без пользы для меня. Оно воочию показало мне существенную разницу между культурой и цивилизацией, ту разницу, которую подчеркивал Лавров в своих «Исторических письмах», и которая об'ясняла, почему формально культурный человек может быть самым заурядным обывателем, или, как скажет позже тот-же Лавров, «культурным дикарем», живущим всецело под властью своей среды. Я даже был отчасти доволен, что мне пришлось познакомиться с некоторыми сторонами этой, — не знаю, как и сказать, — может быть, русско-германской консервативной культуры, которая все же заключала в себе кой-какие развивающие «цивилизационные» элементы.

Я в особенности говорю это о моей непосредственной обстановке. Я был репетитором у сына вдовы петербургского

ученого пастора и, судя по оставленной им библиотеке, правого гегельянца Б., умершего уже лет десять перед моим появлением на даче его семьи. Эмилия Карловна, пятидесятилетняя рослая, здоровая, краснощекая, уже сильно поседевшая брюнетка, когда-то замечательная красавица (как свидетельствовал ее большой портрет масляными красками, висевший в гостиной), была из всего старшего поколения царскосельского немецкого клана наиболее развитой в литературном отношении и наиболее подвергшейся влиянию интеллигентных знакомств дамой. Поэтому, проживал у Бл. на даче, я если и не успел обучить как следует русскому языку моего малоспособного ученика, но за то сам успел выучиться изрядно немецкому и познакомиться с классиками Германии.

Эмилия Карловна доводилась, по ее словам, «внучатной племянницей» Гете — теперь уже не помню, каким образом — и с гордостью показывала мне небольшую пачку пожелтевших писем великого поэта к кому-то из дальних родственников. Содержание их не произвело на меня большого впечатления, — в них Гете не был Гете, — но я удивляюсь и до сих пор, как из всего этого круга культурных немцев никому не пришло в голову познакомить публику с неизданной перепиской гения. Публицистика и революция скоро заставили меня забыть об этих письмах, и я не знаю их дальнейшей судьбы...

Но уже не только с гордостью, а с умилением, исторгавшим из ее солидной груди чувствительные вздохи, показывала мне бывшая красавица свой альбом, в котором на первом месте фигурировало, помеченное концом сороковых годов, любовное послание к ней почтенного Эдуарда Ивановича Губера, недурного поэта и переводчика Гете, начинавшееся не знаю почему запомнившимися мне строками:

Когда Коломну я оставлю
И посох странника направлю
Я на Васильевский, к Т е б е...

Заметив мою любовь к поэзии (я должен покаяться читателю, что, несмотря на Писарева, я все время зачитывался

поэтами, хотя и испытывал угрызения совести по причине этой слабости, недостойной «мыслящего реалиста»), Эмилия Карловна предоставила в мое распоряжение свою библиотеку и дала разрешение своей старшей 23-летней дочери, с добрым сердцем и миловидной совершенно не немецкой, а скорее цыганской физиономией, читать со мной и помогать мне понимать классиков. И вот мы взялись за Лессинга, Гете, Шиллера, Бюргера, Уланда. Никогда в течение каких нибудь четырех-пяти месяцев мне не пришлось проглотить такого количества немецкой поэзии. Мне было чертовски скучно среди царскосельских немцев, — моя наставница тоже изрядно скучала, вздыхая на луну и уносясь в «мир идеала» при звуках действительно превосходного Павловского оркестра, который мы слушали два раза в неделю. Совместное чтение было поэтому для нас большим развлечением... Помните ли вы эти часы, милая, добрая, очаровательная (ныне 67-летняя) фрейлейн, или, по всей вероятности, фрау?.. Я, по крайней мере, их ношу в своем благодарном сердце.

Ношу и вспоминаю о некоторых курьезах, связанных с этим чтением. Эмилия Карловна была дама, хотя и сентиментальная, но очень строгая по части нравственности, и потому во всех изданиях великих поэтов, хранившихся на даче в большом старомодном шкафу из черного дерева, отметила крестиком на листах оглавлений как раз те вещи, которые ей казались чересчур вольными: «осторожно! окрашено!». Надо ли говорить читателю, что мы с наставницей едва ли не первыми прочли эти произведения под предостерегающими знаками, — о, смею уверить читателя, не по каким-нибудь дурным мотивам, а чтобы узнать, что собственно казалось дорогой мамаше («либес мюттерхен») столь предосудительным. Словом, мы с меньшим аппетитом вкушали от древа жизни, чем от всех этих древес познания добра и зла отмеченных крестиками в мамашином саду классической немецкой литературы.

Так мы прочли, конечно, Гетевскую мраморно-прекрасную и мраморно-холодную «Ифигению», повздыхали над

«Страданиями молодого Вертера», но уже с восхищением и неоднократно перечитывали глубоко гуманную и очень свободомыслящую легенду «Магадева и баядерка» и пускались в серьезные разговоры о роковом непостоянстве любви по поводу «Сродства душ». Нам ужасно нравился Шиллер «Торжества победителей» и «Вильгельма Телля», но нас приводил в восторг Шиллер «Разбойников», — тоже отмеченный мамашей, вероятно потому, что в этой пьесе злодей Франц ругается хуже всякого мальчика без штанов. И в Бюргере нас привлекала не столько известная и переизвестная «Ленора», сколько страстные излияния поэта его любимой свояченице Молли (Эмилия Карловна поставила даже три креста на стихотворении «Прекрасная Сусанна», где Бюргер обращается к «ученым людям» с патетическим вопросом, почему это все на свете «любится, целуется и спаривается»).

Еще другой курьез. В это время из поэтов я особенно увлекался Генрихом Гейне (которого стал вскоре анонимно и псевдонимно переводить), и больше всего его политическими «Современными стихотворениями», «Аттой Троллем» и «Зимней сказкой». Поэтому я предложил своей добровольной наставнице, почти не знавшей Гейне, почитать его со мной. Но «либес мюттерхен» признавала из Гейне одну лишь «Книгу песен», да и из нее-то лишь самые невинные, можно сказать небесно-голубые стихотворения, которые стали входить даже в школьные христоматии, в роде «Подобно цветку ты прекрасна», «Глаза твои лучше алмаза» и т. п. Вообще же Эмилия Карловна считала Гейне безбожником и развратником, и, стало быть, об открытом чтении его произведений на добродетельной немецкой даче в Царском Селе нечего было и думать. Мы придумали поэтому, на случай если войдет мамаша, прикрывать маленькие томики Гейне большим однотомным изданием избранных стихотворений Шиллера, читать в присутствии «либес мюттерхен» что-нибудь из сладкозвучного идеалиста, а по отбытии ее переходить снова к злокозненному насмешнику... Эффекты получались удиви-

тельные, и мы задыхались порою от смеха над нашим непроизвольным попури.

Например (для простоты изображаю это в переводе):

Гейне (в отсутствии мамаши):

Ты — король, пастух-красавец!
Этот холм не трон-ли твой?
Это солнце над тобою
Не венец-ли золотой?

А король сквозь сон лепечет:
Тяжело быть королем ...
Отдохнуть хотел бы вместе
С королевою вдвоем...

Шиллер (при входе мамаши):

И не всякий насладится
Миром, в свой пришедши дом:
Часто злобный ков таится
За домашним алтарем.

Гейне (по уходе мамаши):

Часом тем бразды правленья
Принимает верный пес.
Всем известен нрав министра,
Громкий лай и чуткий нос...

Или:

Жалоба Цереры (из Шиллера: мамаша присутствует):

Снова гений жизни веет
Возвратилася весна,
Холм на солнце зеленеет,
Лед разрушила волна.

Прозерпины, Прозерпины,
Прозерпины моей нет!

Жалоба Цереры (из Гейне: мамаша ушла заказывать обед):

Теща милая, Церера,
Не кручинься и поверь:
Переполнилася мера!
Растворись ты, ада дверь!

Библиотека покойного пастора, тоже предоставленная в мое распоряжение Эмилией Карловной, заключала в себе очень мало вещей, которые могли меня интересовать при моем тогдашнем настроении. Почти все полки были заняты учебниками протестантского богословия и протестантскими же историями церкви. Из них помню лишь одного Неандера, который мне даже пригодился как-то для справки, когда я писал свой фельетон о духовных журналах в «Новости» (весь 1879 год я аккуратно помещал в этой газете разбор духовной и педагогической литературы вперемежку, порою до четырех раз в месяц). Из светских книг я заинтересовался розенкранцовской «Жизнью Гегеля» и самим Гегелем, полное собрание сочинений которого в хороших, «строгих» переплетах одно занимало целую полку. Но своеобразный гегельянский жаргон, с которым я еще не был тогда хорошо знаком, сильно затруднял меня, и за все мое пребывание у Бл. я успел только прочитать «Логику», «Философию природы» и «Философию истории».

Всего труднее досталась мне «Логика», и здесь отчасти помог преодоленный мною еще в отроческом возрасте «Капитал» Маркса, а именно его первые главы. «Философия природы» больше забавляла своими курьезами, и некоторые из гегелевских определений навсегда, кажется, врезались мне в память по самой странности своей. «Целое пищеварения состоит в том, что организм, раздвоясь сам в себе, ставит себя в гнев по отношению к внешнему миру», — эту фразу я процитирую еще и теперь по-немецки, если бы меня внезапно разбудили среди ночи и спросили о ней. «Философия истории» привела меня в восторг, особенно введение, которого одного достаточно для того, чтобы убедиться, какую существенную оговорку приходится сделать к очень распространенному мнению, что «Гегель был плохой стилист». Мысль этого введения о значении великих личностей в истории я использовал несколько лет спустя за границей в первом же номере «Вестника Народной Воли» (о чем позже).

Как видите, время моего пребывания среди немецких культуртрегеров было не совсем потеряно для меня. Но сама по себе эта филистерская среда приводила меня в отчаяние, порою в бешенство, и тогда находило непреодолимое желание исчезнуть с вечера на сутки в Питер и — простите грубое выражение — прежде всего «нарезаться», долго-долго сидеть в трактире, слушать сквозь винные пары хриплый орган, простую русскую речь, а затем придти на ночевку к идейному товарищу, лечь на полу на подостланный плед и проговорить всю ночь, отводя душу от благовоспитанной пресности немецкого гнезда...

Легче всего мне было привыкнуть к чисто внешней, материальной стороне этой идущей, как хорошо заведенные часы, жизни. Правда, часто повторявшиеся, как я их называл, обеды по триаде Гегеля, начинавшиеся со «сладкого фруктового супа» и кончавшиеся «сладким фруктовым киселем» (деньги - товар - деньги; черника - мясо - черника), казались изрядно приторными русскому луженому желудку. Но в общем, я за последнее время никогда еще так хорошо не ел, — всего подавалось вдосталь, и почти все было вкусно,— и от чистого сердца, по купецки, благодарил хозяйку по принятии пищи. Нравился мне также и правильный, строго размеренный образ жизни, который так выгодно отличался от русской безалаберности: я знал, когда ко мне приходил мой ученик; знал, когда я свободен; знал, когда молодое поколение отправлялось на прогулку; знал, когда нужно было всем возвращаться домой, чтобы не ломиться полчаса в калитку, пока ее откроет крепко спавший дворник, мой «земляк» из-под Тулы, Федор.

Но меня угнетала внутренняя сторона этой расчисленной во всем жизни. На наших и соседних дачах существовал строго определенный круг понятий и слов, из которых нельзя было выходить, не нарушая приличий, при чем употребление этого словаря высоких мыслей и высокого слога усложнялось еще различными условиями времени, места, обстоятельств и т. д., не легко запоминаемыми свежим человеком.

За нарушение этого кодекса старшие, искусившиеся в нем, призывали младших немедленно к порядку словами: «ты осрамился», «не срамись», «какой срам». Для чего существовал забавный термин «зихь бламирен», «бламаж», перенесенный во времена оны с французского, но употреблявшийся совершенно в особом значении прегрешений против правил общежития.

Так в смешанном мужском и женском обществе не позволялось обозначать иначе, как описательно, некоторых частей туалета непрекрасного, а особенно прекрасного пола. Этот запрет касался обыкновенно покровов, созданных цивилизацией для частей человеческого тела ниже пояса, и вообще белья. Но бывал раз в две недели день, кажется пятница, когда происходил семейный бук, и тогда почтенные матери семейств, увлеченные хозяйственными интересами, даже в очень смешанном обществе с чрезвычайною точностью обозначали различные виды белья, которых коснулся неумолимый зуб времени и которые поэтому нуждались в починке. При рассказе о приданом разрешалось также точное обозначение самых интимных частей туалета. В конце концов я совершенно запутался и не знал, когда, в какой день и час, можно было произносить слова «унтерхозе», «унтерклейд», и в какой нельзя.

Точно также мы не могли «потеть» (швитцен), а могли только «транспирировать», или «быть мокрыми». Потеть могли лошади, младенцы, а мы лишь когда были больны. Потеть над чем-нибудь мог достопочтенный доктор Мартин Лютер, когда старшие члены семьи и гости мужеска пола, все эти доктора, профессора, академики, штатсраты, рассказывали о нем различные анекдоты, и тогда всем, вплоть до нежнейших «фрейлейн» и до «бакфишей», разрешалось громко смеяться.

Кстати, при разговорах, даже среди хорошо знакомых, нужно было непременно величать друг друга именно геррами профессорами, академиками, штатсратами, при чем превышение титулов, — например, сказать по ошибке

«герр гехеймрат» вместо «герр штатсрат», — не возбранялось, а даже поощрялось улыбкою жертвы приятной ошибки.

О царских особах говорилось с особым пиэтетом и с непременным присоединением титулов «Его Величество», «Его Высочество», «Его Светлость». Все русские императоры, а особенно императрицы, — конечно, германского происхождения, — были необыкновенно умны, образованы, добродетельны, человеколюбивы, и вообще чересчур хороши для русского народа, который был, наоборот, целиком глуп, ленив, порочен. Русская интеллигенция ничего не знала, а только фрондировала, и русской науки совсем бы не было, если бы самоотверженные пришельцы из Вестфалии, Саксонии, Восточной Пруссии и истинно-русские немцы из Прибалтики не унаваживали своими замечательными трудами тощую ниву русского образования. Революционное движение возникло потому, что великодушный император освободил невежественных крестьян слишком рано и притом с землей, а русская так называемая интеллигенция очень много пила, очень много курила, портила себе нервы чересчур крепким чаем и чересчур вольным обращением между собой обоих полов на высших курсах, отчего утратила веру в Божественный промысл и мудрость императоров. Гидру революции надо ненавидеть всей душой, в особенности потому, что она начинает все усиливаться и может, пожалуй, ввергнуть всю страну в состояние анархии или же выдвинуть такое правительство, которое не будет нуждаться в верноподданнической науке...

Такие речи мне приходилось слышать почти от всех представителей этой культуртрегерской среды, кроме некоторых младших членов, и отчасти Эмилии Карловны. Слышать в то самое лето 1879 г., когда правительственная реакция достигла, казалось, своей высшей точки, Россия была разделена на шесть генерал-губернаторских сатрапий, Осинский был повешен, даже не успев выстрелить из револьвера, а с другой стороны на Липецком и Воронежском с'ездах в июне и на окончательных петербургских переговорах в

августе совершился великий раскол общества «Земля и Воля», распавшегося на политическое крыло «Народной Воли» и на (более) экономическое «Черного Передела».

Когда я от времени до времени наезжал из Царского в Питер, мне не удавалось здесь встретить почти никого из знакомых революционеров, которые могли бы сообщить мне о столь серьезном кризисе внутри наиболее живучей тогда социалистической партии. О нем в очень глухой и неопределенной форме мне впервые сообщил Кривенко, у которого я познакомился на сей раз с Михайловским. Это происходило в августе месяце, на даче в Рыбацкой, где Кривенко жил летом 1879 г. Нечего говорить, с каким любопытством я вглядывался в черты человека, которым зачитывалось большинство тогдашней молодежи, хотя крайние бунтари и видели в нем полу-либерала, полу-марксиста, как это можно было заметить еще год тому назад, в 1878 г., из полемики между Михайловским в «Отечественных Записках» и Юзовым-Каблицем в «Неделе».

Кривенко говорил мне о серьезных разногласиях среди землевольцев, — я думаю, он и тогда уже собирался примкнуть к Народной Воле, — как вдруг в комнату, служившую Сергею Николаевичу кабинетом на его бесхитростной даче, вошел быстрыми шагами довольно молодой, небольшого роста господин в легком летнем пальто серого цвета, в красной рубашке под пальто, перетянутой демократическим ремнем. Я сразу же узнал Михайловского по портрету у входа в знаменитую тогда фотографию Шапиро на Невском, где автор «Что такое прогресс» и «Записок профана» фигурировал на общей выставочной доске рядом с другими корифеями тогдашней литературы.

Тот-же чудесный высокий лоб, та-же великолепная волнистая борода, тот-же правильный, скорее европейский, чем русский нос («нос картошкой на широком основании», как определил эту черту российской физиономии несколькими годами позже историк Ключевский), тот-же интересный овал лица, с волнистой шапкой волос на голове. Лишь

глаза не походили на глаза портрета. На фотографии они казались темными и блестящими. У действительного Михайловского глаза были серые, без блеска, «сорочьи», как у моего приятели Мурашкинцева, (который шутя любил говорить, что это черта всех великих людей). И взгляд этих матовых глаз был пронзительный, я бы даже сказал, тяжелый. Эта особенность лица Михайловского мне наименее нравилась. Но я слышал по этому поводу от одной страстной почитательницы Михайловского: «эх, юноша, вы ничего не понимаете... То глаза бога: он смотрит на вас и видит вас насквозь, а вы смотрите на него, — и ничего не можете проглядеть в этой глубокой душе, скрытой за пеленой непрозрачных, словно изваянных из мрамора глаз».

Михайловский был очень возбужден и сразу же принялся рассказывать, как у него этой ночью была жандармерия и перевернула все вверх дном, упорно ища каких-то «прокламаций и статьи о Блонки...»

— «О буланке, о буланке, полковник, может быть?!» — спросил я, наконец, старшего из синих болванов, взбешенный этим многочасовым шареньем в моих бумагах», — нервно рассказывал Михайловский, возмущаясь столь же бесцеремонностью обыска, сколько невежеством обыскивавших, которые несколько раз с торжеством бросались на корректуры статей из «Отечественных Записок», принимая их за искомые прокламации: «вот-вот эти самые... Свеженькие-с и с одной-с стороны напечатаны, чтобы наклеивать»...

Михайловский заключил этот рассказ словами, что лично он не террорист, но вполне понимает террористов и приветствует начинающуюся среди революционеров тягу к образованию не только социалистической, но и резко политической партии. К этому времени, если не ошибаюсь, относятся его статьи о Дюринге и о значении, придаваемом этим мыслителем чувству мести, как основе справедливости. Не надо было обладать особой проницательностью, чтобы расшифровать смысл этих этюдов в приложении к

тогдашней русской действительности. А об обыске (этом или одном из следующих?) он рассказал в «Отечественных Записках», изображая, как внезапно на мирного русского гражданина, ночью, набросились агенты сыска и охватили его руками, словно железными обручами, как если бы он был страшный уголовный преступник, — что вызвало припадок пошлого остроумничанья со стороны Буренина, который на столбцах «Нового Времени» пытался изобразить в смешном виде, как это «стонет сизый голубочек либерализма в железных об'ятиях жандармов», стонет, и интересничает, и надеется разжалобить тем почтеннейшую публику.

Михайловский оставался у Кривенко недолго, но говорил очень резко и вполне определенно в таком духе, что не трудно было угадать, на чью сторону он станет при предстоящем расколе революционеров, расколе, о котором и он и Кривенко говорили лишь в общих чертах, так как, кажется, еще и сами не знали подробностей пока не окончательно оформившегося разрыва. Меня Михайловский, повидимому, стеснялся при этом разговоре столь же мало, как и знавший меня уже с год Кривенко, который, кстати сказать, дал обо мне благоприятный отзыв Михайловскому и несколько раз передавал ему от меня статьи для напечатанья в «Отечественных Записках». Большинство этих статей не удовлетворяло строгую редакцию знаменитого журнала. Из некоторых Михайловский мастерски выкраивал рецензии. А одна большая статья, носившая юношески-претенциозное заглавие «Современные проявления капитализма в России» возбудила интерес, но и разногласие в редакции (Щедрин высказался за, Михайловский колебался, решительно восстал против нее за «анти-народнический дух» Елисеев), пролежала изрядно долго в портфеле «Отечественных Записок» и была, наконец отвергнута. Ее я помещу — лишь через несколько месяцев — в нашем артельном журнале «Русское Богатство», о чем речь будет ниже. Пока мне предстоит рассказать читателю о моем

сотрудничестве в «Деле» и о моем знакомстве с значительным числом известных тогда петербургских литераторов...

Мои фельетоны о «попах и педагогах», как называл их в редакции Нотович, привлекли внимание почти никогда не бывавшего в «Новостях», но порою писавшего в них Станюковича, который замолвил доброе слово о них Шелгунову, а этот передал мне через свою жену, работавшую в «Новостях» по переводной части, желание повидаться со мной.

После смерти Шелгунова я дал его характеристику в заграничных «Материалах по истории русского революционного движения», которые я издавал с Лавровым, а много лет спустя перепечатал ее в «Былом». Подробно возвращаться к ней я поэтому не буду, здесь же коснусь ее лишь в связи с общим направлением «Дела», которое в то время не особенно соответствовало преобладающему настроению среди передовой русской интеллигенции.

Николай Васильевич Шелгунов, тогда 55-летний, изрядно претерпевший в провинциальной ссылке человек, в пику своей немножко мефистофельской наружности, обладал золотым сердцем. Он чрезвычайно чутко и гуманно относился к людям, что заставляло его порою, несмотря на ясный ум, подпадать под влияние далеко не стоивших его личностей, но за то позволяло ему с меньшим предубеждением оценивать новые общественные течения, если только ему приходилось встретиться с типичными их представителями. А всякое свежее течение не могло не выдвигать таких людей. Через сердце в ум — так можно было бы охарактеризовать обычный путь, каким совершалось у Шелгунова ознакомление с новым явлением. Этим об'ясняется, почему Николай Васильевич, если не ошибаюсь первым из всего твердокаменного благосветловского «Дела», почувствовал потребность допустить живую струю в этот орган застывшего радикализма 60-х годов. Как этим же об'ясняется, почему с такой симпатией он обрисовывал перед своей смертью в «Русской Мысли» только что нарож-

давшийся тип девятидесятника, снова принципиального политика, который шел на смену восьмидесятнику, человеку малых дел и обывательских мыслей.

А между тем теоретическое мировоззрение Шелгунова как раз противоречило этому его душевному строю с перевесом аффективной стороны над рассудочной. Создавшееся у него сравнительно поздно под влиянием господствующего направления умов на рубеже 50-х и 60-х годов, оно считало главной, можно сказать исключительной пружиной личного и общественного прогресса мысль, логику, разум. Только бы понять, а там дело само собой пойдет, — этот рационализм проводился Шелгуновым в чрезвычайно многочисленных статьях, которые он писал в «Русском Слове» и «Деле». Наоборот, прогрессивное течение 70-х годов наиболее ярко отражавшееся в революционном движении, если не было прямо иррациональным, то придавало огромное значение общественным условиям, социальной среде и в частности скептически относилось к возможности решить великий социальный вопрос одним распространением знания. И если Юзов-Каблиц доходил в этом отношении до крайности, открыто ставя «чувство» выше «ума» в роли «фактора прогресса», то Михайловский хорошо передал настроение эпохи словами, что настоящему общественному деятелю не приходится ставить ни ума на запятках у чувства, ни чувства на запятках у ума.

Таким образом, головным, чисто рассудочным путем Шелгунову было бы столь же трудно воспринять новое мировоззрение, как, скажем, рационалисту-вольтерианцу дореволюционной эпохи во Франции «новое христианство» Сэн-Симона и его школы в 30-х годах девятнадцатого века. Но тут на помощь Николаю Васильевичу пришла уже упомянутая мною выше особенность его психологии. Когда я шел к нему в первый раз, — кажется, на Пушкинскую, — я готовился к жестокой борьбе за свои идеи против миросозерцания 60-х годов. Такой борьбы, во всяком случае резкого столкновения, между нами не было, и я скоро за-

метил, что Шелгунов скорее сочувственно вслушивается в мои горячие юношеские слова, которыми я старался, между прочим, поскорее поставить своего собеседника в известность, что молодежь, огромная часть молодежи, стоит решительно на стороне «Отечественных Записок», аттакуемых в «Деле» Ткачевым под псевдонимом «Все того-же».

Шелгунов только улыбался милой улыбкой доброго Мефистофеля, а в результате разговора предложил мне войти сейчас же в число постоянных сотрудников «Дела», «сначала по отделу библиографии, а там попробуете себя и на больших статьях». С другой стороны он отозвался так тепло обо мне некоторым моим знакомым и своему старшему сыну «Мише», скоро ставшему моим личным приятелем на почве стихотворства и восхищения Гейне, и даже сравнил меня с одним из очень крупных прежних друзей, что я усердно принялся за предложенную мне работу, чтобы хоть не совсем осрамиться перед Шелгуновым. Надо ли говорить, впрочем, что я, несмотря на свою молодость, и не мог претендовать оправдать целиком возлагавшиеся им в эту пору на меня надежды? Я знал, кроме того, что его доброе отношение ко мне в значительной степени об'яснялось тем, что, получив, наконец, после долгих скитаний по провинциальной России, разрешение поселиться в Питере, Шелгунов сейчас же столкнулся здесь с очень выдающимися представителями 70-х годов среди революционной молодежи и часть симпатии перенес и на меня.

Но в «Деле» Шелгунов был не один, и руководящая роль в журнале принадлежала Григорию Евлампиевичу Благосветлову, бывшему фактическим редактором этого выходившего под разными фиктивными редакторствами, — как водилось в тогдашней России, — издания. На следующий же день Шелгунов повел меня в редакцию «Дела», помещавшуюся, кажется, на Спасской, в собственном доме Благосветлова. Предупрежденный о моем визите Шелгуновым, Григорий Евлампиевич принял меня, насколько мог, ласково. Мог же он в этом отношении не бог знает как много. Где-

то он говорит о себе, как о существе, скованном из железа и потому внушающем не особенно нежные чувства окружающим. На меня он произвел впечатление массивного обрубка из прочного дерева.

Роста слегка выше среднего, плотный, широкоплечий, сутуловатый, с грубым выразительным лицом, изборожденным не по возрасту глубокими морщинами (ему, как и Шелгунову было в это время лет 55), с седыми, коротко остриженными волосами, с щеткой коротко подрезанных усов и короткими же бакенбардами, он производил впечатление силы, прямолинейности,— и бесцеремонности... Сколько раз после я называл его про себя Собакевичем, да он и был Собакевичем радикализма.

Его темные, умные глаза глядели упорно вперед, но у него была своеобразная, в конце концов страшно раздражавшая собеседника манера смотреть вам прямо в лицо, но выше ваших глаз, приблизительно в верхнюю часть лба. При этом он немножко раскатывал оси своих глаз, точно смотрел куда-то очень далеко на неподвижную звезду, и говорил грубым голосом короткие фразы, которые падали на вас словно редкий, но, как ему полагается по штату, холодный град. Иногда он прерывал их коротким же смехом, если ему казалось, что он сказал нечто остроумное. Иногда брал вас за пуговицу, клал руку на плечо, или ударял по коленке.

Именно этим жестом он начал свой ласковый, как уверял Шелгунов меня, прием, об'ектом которого был двадцатилетний юноша, не без почтения вглядывавшийся в человека, бывшего в свое время, как никак, другом, учителем, вдохновителем и даже, по некоторым сведениям, бесцеремонным исправителем Писарева.

Как только, после представления меня Шелгуновым, мы сели с Благосветловым друг против друга на креслах, он скользнул глазами по мне, уперся ими в мои длинные, тогда зачесанные назад волосы и не глядя, но очень ловко, ударил меня как раз по коленке и глухо рассмеялся.

— Вас, Николай Матвеич... то бишь, Николай Сергеич, — вас, ведь, кажется так зовут? ну да, впрочем, все равно, — вас пригласил Николай Васильевич к нам на библиографический отдел в «Дело». Я очень рад... Я вашего ничего до сих пор не читал. Знаете, когда приходится, как редактору, с утра до вечера сидеть над чтением и хороших и плохих вещей, а по большей части дряни, нет времени следить за всей литературой... Но Николай Васильевич хвалил: говорит, направление хорошее, в общем наше, и грамотно, а порой по молодому тепло... Вы знакомы, конечно, с «Делом»?

Я ответил, что знаю не только теперешнее «Дело», но и с тех пор, как оно началось: сам из прежних годов статьи вырезывал для библиотеки орловского кружка.... Снова посыпался благосветловский град.

— Пишите, как чувствуете, как выходит, не стесняясь особенно ни слогом, — здесь выправим, если надо, — ни размерами. В «Деле» допускаются длинные рецензии, почти маленькие статьи: в этом отделе можно много свободнее высказать, да и цензора не так придираются... Над нами цензура жестокая, Николай Сергеевич... Это не то, что в «Отечественных Записках»: у нас предварительная, у них так называемая карательная... Да их и не карают: не за что!.. А вы, вероятно, как большинство теперешней молодежи, поклонник «Отечественных Записок»?

Взор Благосветлова упорно уставлен в мои волосы. Меня это начинает раздражать. И почти патетически я отвечаю:

— О, конечно!

Благосветлов тоже начинает раздражаться. И еще резче:

— За мужичка любите?

— За социализм и за науку, Григорий Евлампиевич! — запальчиво парирую я, тщетно стараясь поймать его взгляд, неизменно направленный выше меня. Но я ловлю другой взгляд: Николай Васильевич прохаживается все время около нас, своей легкой, эластичной, немножко в припрыжку по-

ходкой и ласково, не то укоризненно, не то сочувственно поглядывает на меня. Я отвечаю Шелгунову от всего сердца улыбкой... Он останавливается, скрещивает руки на груди и комически покачивает головой: «ай-ай-ай» — истолковываю я этот жест моего доброго Мефистофеля и ангела-хранителя....

Наконец-то взгляд Благосветлова встречается с моим. Диктатор «Дела» сдвигает еще более складки на своем лице. Губы слегка дрожат. Руки чуть-чуть стучат по ручкам кресла:

— Социализму и науке наш журнал служит не менее «Отечественных Записок», но только не кокетничает, как Михайловский, награбленным добром у Ножина. Вот посмотрим, что ваш философ будет писать, когда все ножинские рукописи поспишет!..

Эту нелепейшую выдумку на Михайловского, которую мне столько раз придется с тех пор услышать из уст сотрудников «Русского Слова» и «Дела», я слышу впервые в моей жизни от Благосветлова и стараюсь по возможности демонстративно громко расхохотаться, но от негодования не могу. Глаза Григория Евлампиевича жестко стреляют выше моей головы.

— «Все того-же» читаете, Николай Сергеевич?.. Ткачева... может быть знаете?

— Знаю... И некоторые вещи его даже очень люблю, вот, напр., «Люди будущего и герои мещанства»...

— Гм... Это уже лет десять тому назад написано... А теперешнюю его полемику с «Отечественными Записками»?

— Не одобряю! — отчеканил я эту фразу и про себя подумал: «а что, если Благосветлов тебе сейчас ответит: ну да, совсем как Зудотешин у Тургенева... Тот тоже «сею рукопись читал и содержание онной не одобрил»... С него станется... Что на это скажешь?»

— Не одобряете?.. А вы вот посмотрели бы, что у нас в типографии делается, когда ткачевская статья при-

ходит... Рабочие рвут друг у друга по частям, чтобы набирать. А старый корректор, еще из «Русского Слова», взял последнюю статью, стал поправлять, да как разрыдается: «Петра Никитича... Петичку... ох, самого-о-о-Пе-е-тичку чита-а-а-ю!...»

В подражание чувствительному корректору, Благосветлов захныкал, но так грозно, словно бульдог зарычал.

На сей раз я уже без всякой политики расхохотался от всей души. Григорий Евлампиевич еще выше устремил взор надо мной и высыпал на меня новый запас рубленых фраз.

— Да и не одной науке и социализму, а и «мужичку»,— по нашему мужику, — служим... Служим, но не прислуживаемся... Я, вот, охоту не меньше Некрасова люблю, и даже в компании кой с какими знакомыми лесную дачу для этого под Новгородом снял, но не хвастаюсь публично, что с друзьями-мужичками «по болотинам брожу»... Вот тоже принялся он деланным мужицким языком за свою бесконечную горе-поэму «Кому живется весело, вольготно на Руси»...

Меня окончательно взорвало. Это грубое упоминание о Некрасове, со смерти которого не прошло еще и двух лет, привело мне на память, что как раз во время печатания поэмы Благосветлов приютил в «Деле» пакостный стихотворный шарж на нее Буренина. И я выразил не особенно дипломатично свое удивление по этому поводу: мне бы казалось, мол, что, несмотря на некоторые расхождения, прогрессивная печать все же должна была бы чувствовать известную солидарность и не открывать свои страницы и столбцы всяким «прохвостам».

— Хоть и прохвост скажет правду, она не перестанет от того быть правдой, — возразил на сей раз угрюмо-равнодушно Благосветлов и, словно, чтобы перебрать все больные места во мне, заговорил с необычайной резкостью о Щедрине:

— Тоже вот Щедриным восхищаются... Есть чем восхищаться!... С пятидесятых, с шестидесятых годов не успел от смеху отдышаться... Все еще хохочет...

— Ну, — подумал я, — это уже из писаревских «Цветов невинного юмора».

— Да и как хохочет... Надо всем, над всеми и над самим собой... Над собой, пожалуй, хохочи, но оставь нас в покое.. А то принялись трубить: ах, это Свифт, это выше Свифта, это такой политический памфлетист... Памфлетист!.. Что «Историю города Глупова»-то написал?.. Позвольте, господа народолобцы, вас спросить: а над кем смеется там ваш великий Щедрин? «Над правительством?» Нет, не над правительством, а над русским народом. «Рукосуи» — кто придумал это слово. Все мы — рукосуи, видите ли... Все мы поголовно дураки и негодяи...

— Но, Григорий Евлампиевич, Щедрин, может, чутче всех других русских писателей отражает веяния эпохи и даже предчувствует, предвосхищает их... Жизнь становится сложнее, серьезнее, трагичнее, — сложнее, серьезнее и трагичнее становится и сатирик...

— Та-та-та... Сатирик? Скажите, «гудочник», скажите «шут-Балакирев», Николай Сергеевич, а название сатирика приберегите для лучшего употребления....

— А типы хищников, Григорий Евлампиевич, которые он выводит в своих последних вещах?.. А их дружба, их совместный с администрацией поход на русский народ?..

Благосветлов отмахнулся от моих, становившихся все более страстными возражений, словно от досадливой мухи, и потом, внезапно приняв совершенно спокойный деловой тон, заговорил о моих функциях в «Деле»:

— Вы сейчас же принимайтесь за работу... Вот посмотрите там, во второй комнате, на столе новые книги и подберите для себя... Всякие, какие хотите... Пишите заранее, так недели за три до выхода в свет книги «Дела»... А условия такие: 50 рублей за лист, но чтобы вам не приходилось иногда сидеть без денег, вам контора будет во

всяком случае выплачивать каждый месяц 50 рублей в виде постоянного жалованья, а там, что придется свыше, как гонорар.

Итак, я становился присяжным рецензентом «Дела». С октября 1879 г. и вплоть до моего от'езда заграницу в марте 1882 года, большинство отзывов об экономических, политических, исторических, порою литературных работах принадлежало мне. Кстати сказать, мой вышеприведенный взгляд на Щедрина я провел в своей рецензии о «Монрепо», появившейся в «Деле» же несколько месяцев спустя и после большого сопротивления со стороны некоторых членов редакции, с своей точки справедливо полагавших, что такое мнение рецензента о Щедрине радикально расходится с прежним отношением к нему «Дела».

Первые же принесенные мною рецензии изрядно приглянулись Благосветлову, особенно одна о каком-то из наших батальных романистов, чуть ли не о Каразине. Однако, рецензия о некой брошюре, по поводу тогдашнего положения общины, прошла лишь с «исправлениями» главного редактора, который нашел в ней народнические ереси — не знаю почему, так как в эту первую пору моей литературной деятельности я был гораздо больше «марксистом» в тогдашнем значении этого слова, чем «народником». Вообще, редактором Благосветлов был самым бесцеремонным и, не могу сказать, чтобы всегда удачным. Порою он напоминал мне фокусника, юмористически описанного Некрасовым:

Ломал он вещи целые,
На мелкие куски,
Вставлял середки белые
В пунцовые платки.

Только у Благосветлова середки-то бывали обыкновенно красные (в смысле крепкого словца) и порою попадали не туда, куда следует. Однажды, читая мою рецензию о народном образовании в Вятской губернии, он преспокойно вставил в нее несколько цифр из лежавшей у него на

столе брошюры о Вологодской губернии, не заметил этого и ругательски изругал почтенных вятичей на основании данных из другой местности, закончив патетическим восклицанием: «Да, нечего сказать, хороши господа вятские земцы!».. Общее недоумение читателей и резкое письмо от ни в чем неповинного вятского земства... А я, в качестве автора рецензии, с чувствительностью сивки, которую еще не укатали крутые горки, ужасно вскипел, —

Вскипел Бульйон, потек во храм, —

и, притекши в «Дело», излил все свое негодование добрейшему Николаю Васильевичу Шелгунову (Благосветлов, хотя человек совсем не конфузливый, на сей раз почему-то сконфузился и не принял меня под предлогом нездоровья).

— Милый мой Н. С., — дружески заговорил мой добрый Мефистофель — стоит ли так огорчаться и волноваться? Если бы вы знали только, что проделывал Благосветлов со всеми нами, с Шеллером, Шашковым, Бажиным, мною, даже во время оно с Писаревым... Да его оплошности и вполне понятны при его взгляде на редакторские обязанности. Он мнит себя Наполеоном, который должен быть повсюду, чтобы поправлять ошибки своих маршалов, и поэтому вменяет себе в долг читать в журнале все от первой строки до последней. Он, например, просил меня взять на себя редактирование «серьезного» отдела, а Бажина — литературного. Но разве он доверяет нам? Да нисколько! Сидит с утра до поздней ночи, а иногда до другого утра, над статьями или корректурами, и, конечно, когда дочитается до такой степени, что глаза на лоб выскочат и вращаются по касательной, все путается у него в голове, и почтенные вятичи должны отвечать за прегрешения вологодцев...

И Шелгунов рассказал мне забавную историю, как Благосветлов, дочитавшись до чертиков плохого перевода какого-то английского романа, оставил название города Яффы в английской форме «Джоппа», а затем, благодаря установленному им нелепому правилу сохранять в иностранных

словах из двух стоящих одинаковых букв только одну, — т. е. писать «Миль», а не «Милль», «Боп», а не «Бопп», — и при коварном содействии недовольного чем-то корректора, превратил в конце концов злополучный город в такое чисто отечественное слово, которое за общеизвестностью не печатается в кратких лексиконах русского языка и создало обширную популярность этому номеру «Дела» в юмористической прессе...

— Да вас, знаете-ли, Николай Сергеевич, Благосветлов даже возлюбил политически, — продолжал меня утешать Шелгунов. — Говорит как-то мне: «если не свихнется наш мальчик в народничество, так, пожалуй, толк выйдет. Когда я его при первом свидании нарочно подзадоривал, то он огрызался, и порою не совсем невпопад... И рецензирует ничего себе»... Нет, я дружески советую вам: пишите и пишите, и не ставьте всякое лыко в строку, не обращайте внимания на мелкие, неизбежные тернии нашего писательского существования, когда и крупных не оберешься...

Точно ли Благосветлов «возлюбил меня политически», я не мог, конечно, знать. Но что он не возлюбил меня «экономически», в этом я мог убедиться после нескольких же месяцев сотрудничества. Я, например, в простоте сердца полагал, что 50 рублей «постоянного жалованья» в месяц есть, действительно, сумма, на которую я во всяком случае могу расчитывать. Оказалось, то были пустые слова. Потому, что когда меня стала щипать цензура, и в книжке не появлялось ни одной моей рецензии, то я ничего и не получал, и даже принужден был всякий раз христом богом выпрашивать у Благосветлова мое «постоянное жалованье» авансом. Должен прибавить, что почтеннейший Григорий Евлампиевич не лучше обращался в денежном отношении и с другими и прижимал, где только мог. Он был типичнейший кулак и в ту эпоху едва ли не один из идейных литераторов оставил после своей смерти жене и сыну дом и изрядное по тогдашнему состояние...

Но не одна хрупкость моего материального положения угнетала меня: я привык к хроническому недоеданию, хотя мой выход из «Новостей» в начале 1880 года сопровождался для меня чувствительным сокращением моего скромного бюджета (в «Новостях» после того я написал, кажется, всего один раз какую-то библиографическую статью по личной просьбе Нотовича, подкрепленной Шелгуновым). Меня больше всего в «Деле» удручало ощущение идейного одиночества. Кроме Шелгунова и Станюковича, который притом проживал часто за-границей, — главным образом в Швейцарии, — члены редакции и сотрудники «Дела» встретили меня холодно. Они, видимо, интересовались мною, они вглядывались в меня, но смотрели на меня, как на постороннего, им чуждого человека, который сверх всего прочего осмеливается прогуливаться по заповедным лугам радикальной литературы, остававшейся, как они воображали, исключительно на их попечении с 60-х годов.

Я мог без особого огорчения взирать на недружелюбность библиографа и стихотворца Петра Быкова, который был притом лишь официальным, а не действительным редактором. Но меня искренно огорчало, когда Михайлов-Шеллер, которого мне хотелось так поблагодарить за его статьи по рабочему вопросу на Западе и за его тенденциозные, но славные романы, все эти «Гнилые болота», «Жизни Шупова», коими я зачитывался в своем отрочестве, принимался коситься на меня не только физически (он слегка косил), но и нравственно. И меня совсем уж больно царапало, когда встретивший было меня радушно товарищ Кривенки по воронежскому корпусу, Николай Федотович Бажин, стал во враждебные отношения ко мне после одного разговора со мной о Марксе и его школе.

Бажин был большой, нескладный брюнет лет 35, с редкой бородой и такими же усами и огромной лысиной, с карими глазами за синими очками и странным недостатком речи: он как-то больше стучал своими сильными челюстями, чем выговаривал членораздельные слова; нескольких букв

он совсем не произносил. Я знал, что Николай Федотович был человек удивительной нравственной чистоты, годами живший на небольшой литературный заработок, с женой своей, Серафимой Никитишной, писательницей для детей, и старой больной собакой. Но он никак не мог забыть, что он был, под псевдонимом Холодова, автором «Степана Рулева», «Трех семей» и т. п. радикальных творений, имевших успех в 60-х годах, и потому серьезно полагал, что все остановилось с тех пор в России, ни литература, ни наука более не существуют, и с нескрываемым презрением смотрел на современных писателей, за исключением — не знаю почему — Лескова. Его-то, в числе других тенденциозных беллетристов-шестидесятников изобразил в печати, и дорисовывал в частных разговорах, Глеб Успенский, комично описывая, как вся эта школа в сущности в десятый и сотый раз переписывала Рахметова, а потому и героев-то своих кормила не по человечески, а по особому, — даст им фунт пороху, а потом фунт дроби, — и, конечно, начиненный таким образом суб'ект только и может совершать, что героические, необыкновенные подвиги.

Тогда только-что вышел по немецки особым изданием памфлет Энгельса «Переворот в науке, произведенный г-м Евгением Дюрингом», и я как-то заговорил о нем с Бажиным. Послушал-послушал меня Николай Федотович и вдруг простучал высоко над моей головой своими крепкими, с трудом роняющими слова челюстями:

— Вы... вот... Николай Сергеевич... говорите... все... о... вопросе... желудка!.. А.... ведь... и... голод.. ощущается... только... мозгом... Значит... все.... в мире... управляется... мозгом... то есть... идеей!..

Не нужно было быть особым мудрецом, чтобы ответить, что даже если все, — или многое, по крайней мере, — регистрируется мозгом, то вопрос о преобладании таких или иных побуждений в человечестве нисколько этим не снимается с очереди. Я так и ответил. Ответил и нажил себе в Бажине непримиримого не только идейного, но и

житейского врага. Так ему стало казаться, что в качестве поборника «вопроса желудка» я и статьи-то все свои пишу «из-за пятачков», что он мне и принялся как-то «выстукивать», но был дружески остановлен Шелгуновым... Как видите, «разумный эгоизм» 60-х годов имел свои предубеждения и своих фанатиков.

С искренним огорчением я рассказал о своем столкновении с Бажиным Сергею Николаевичу Кривенке. Кривенко, которого нельзя было заподозреть в особой любви хотя бы к тогдашнему, только что намечавшемуся в России марксизму, покачал головой и только промолвил:

— Господи, ведь я знаю Бажина с младых ногтей... Это благороднейший и добрейший человек на свете... Но он тоже заснул с самых 60-х годов, сидит себе на одной и той-же квартире со своей Серафимой Никитишной, никуда не ходит, кроме как из дому в редакцию и обратно, ничего не видит и не слышит, что на свете делается... Жена Лота... соляной столб... Да они все такие в «Деле»... Вам приходилось когда-нибудь с ними об «Отечественных Записках» говорить?

Я улыбнулся: мне припомнился Благосветлов... И страстно захотелось уйти от соляных столпов к живым людям. Словно отвечая на мою мысль, Кривенко принялся рассказывать о плане, который зреет между группой кой-каких литераторов помоложе завести свой артельный орган, и что для этой цели будет, вероятно, куплено у некоего Рыбакова бывшее до сих пор специальным хозяйственным органом «Русское Богатство». Он, Кривенко, заранее приглашает меня в члены артели. Я, конечно, с радостью дал свое согласие.

Но прежде чем перейти к этой новой фазе моей литературной деятельности, я считаю необходимым вернуться назад и коснуться гораздо более крупного вопроса: образования и первых политических шагов партии «Народной Воли».

БИБЛИОТЕКА ЦКВ (П. 6) ИСТПАРТА

X.

Политический террор Народной Воли. — Взрыв поезда в Москве и взрыв Зимнего Дворца. — Мое участие в „Русском Богатстве“ и „Деле“. — Успенский, Златовратский, Эртель, Анненский, Иванчин-Писарев. — Моя полемика с В. В. и Тихомировым.

Если не изменяет мне память, первым, кто мне дал уже более или менее определенные сведения о происшедшем среди землевольцев расколе, был В. М. Иохельсон, (будущий исследователь наших инородцев), с которым я познакомился еще осенью 1878 года, и который, год спустя, перешел в ряды Народной Воли. А вскоре новая партия привлекла к себе общее внимание своей литературой и своими задуманными по широкому плану покушениями против царя. Публике довольно долго оставалось неизвестным совсем неудавшееся покушение под Александровском. Но взрыв поезда, в котором случайно не проехал царь, под Москвой, 19 ноября 1879 года, прогремел на всю Россию. О террористах заговорили теперь все, и поистине жалким ответом правительства на возраставшие в обществе симпатии к цареубийцам была попытка противоставить революционной деятельности народовольцев, кроме усиления репрессий, чувствительно религиозную пропаганду о божественном происхождении и святости царской власти.

Этим занялся, между прочим, генерал Богданович, начавший издавать ряд назидательных листков и проповедей. А через две-три недели после взрыва петербуржцы иронически поглядывали на выставленную в художественной фотографии Дациаро на Невском не то картину, не то икону, — не знаю, как и назвать, — написанную кем-то из верноподданных художников и изображавшую чудесное спасение царя под Москвой. Огромный ангел парил над крошечной станцией и нес в своих руках игрушечный императорский поезд. Зрители невольно спрашивали себя: но ведь один поезд-то всетаки был взорван, только царя в нем

не было; значит небесная лейб-гвардия Александра II спасает императоров, подводя под убой верных слуг их?

Настроение общества представляло, действительно, в это время любопытную смесь настороженности, интереса, почти злорадного ожидания и невольного уважения к грозной, таинственной силе, не побоявшейся вызвать на поединок владыку шестой части мира. Это еще более сказалось после взрыва Зимнего дворца (5-го февраля 1880) Халтуриным. Я считаю кстати по этому поводу упомянуть одно, как мне кажется, до сих пор не известное обстоятельство, которое рисует тогдашнюю политическую позицию этого выдающегося вождя рабочих в несколько ином свете, чем об этом до сих пор писалось. Было принято думать, что с осени 1879 года Халтурин бесповоротно примкнул к Народной Воле и без всяких колебаний принимал самое деятельное участие в боевых действиях партии. Но вот что знаю я.

На святках 1879—1880 г. ко мне на квартиру, которую я занимал на 7-й линии у мастера одного из василеостровских заводов, пришел Мурашкинцев в необычном, приподнятом настроении. Воплощенная простота, — он не любил громких фраз и актерских жестов. Но тут он стал почти торжественно против меня и торжественно же произнес:

— Николай Сергеевич, я пришел к вам по одному очень важному делу, — и не только от себя, но и от человека, который вам, как и мне, вполне доверяет и желал бы знать в данном случае мое и ваше мнение... Но я попросил бы вас согласиться сначала на одно предварительное условие нашего разговора: все, что будет сказано здесь, останется безусловной тайной между нами. Вы согласны?

Такое начало в устах Мурашкинцева меня сильно заинтересовало, и я дал ему «честное слово социалиста», что ничего не выйдет из стен этой комнаты.

Он поблагодарил и пожал мне руку.

— Человек, от которого я к вам прихожу, это — Степан...

На мгновение я не мог сообразить, о ком идет речь.

— Степан Халтурин!

Не видя Халтурина несколько месяцев, я, признаться, только теперь вспомнил о нем из двух-трех Степанов, которых мы знали с Александром Андреевичем в Питере...

— А... Но я думал, он уехал к себе в Вятку...

— Он во дворце, в Зимнем дворце... и приготовляется его взорвать. О подробностях говорить нечего, но он был у меня и говорит, что абсолютно уверен в успехе своего предприятия... Он спросил только меня, что я думаю по этому поводу, и что думаете вы...

— А вы?

— Я дал ему благословение!

— Вы?!

— Вас удивляет это? Теоретически я против террора, но времена теперь такие тяжелые и сумбурные, что когда видишь перед собой энергичного и глубоко честного человека, задумавшего пойти даже на самый рискованный шаг, то язык не поворачивается остановить его... Но вы-то, сами вы?

— А мне, Александр Андреевич, мне нравственное чувство подсказывает, что Халтурин совершает высокий подвиг, но теоретически, как выражаетесь вы, или, по моему, лучше сказать, политически, я против этого акта...

— Знаю, знаю, это ведь и моя точка зрения... И однако... Но что передать от вас Степану? Он желает непременно знать и ваш взгляд!..

— Я решительно воздерживаюсь и не хочу оказывать на него никакого давления... Ни поощрения, ни порицания... Пусть решает сам... Но разве он колеблется?

— Не колеблется, но видимо желал бы, чтобы мы были целиком на его стороне... Совсем измучился... Понадобятся, говорит, месяцы...

Не через месяцы, а всего через несколько недель, когда я сидел у себя вечером на диване, отдыхая от рецензий для «Дела», в дверь моей комнаты нервно постучали, и на пороге показался мой столь обыкновенно спокойный, а на

сей раз страшно взволнованный хозяин... Он сильно запыхался, очевидно, после быстрого хода, и по его окаймленному черной бородой обычно невозмутимому, а ныне раскрасневшемуся лицу катились крупные капли пота.

— Знаете, Н. С., что случилось?

Я чуть было не выдал себя, но сдержался, подавив уже набежавшее на кончик языка слово «дворец».

— Дв... А что, Михайло Иваныч?

— Зимний дворец взорвали... Покушение на Государя...

— ?!

— Я, знаете, с Морской к себе возвращался, — управляющий по делу вызывал, — но едва вышел из-под арки на Дворцовую площадь, как грохнет что-то, да так страшно, в один раз, совсем без раскату, точно огромное дерево хряснуло... Чуть было на землю не упал... Вижу, полиция, народ, отовсюду ко Дворцу бежат, побежал и я... Караульные рогатки выдвинули, цепь строят... «Не смей, не подходи!» Побежал дальше, завернул на набережную... Повсюду суматоха. Стою... Бегают полицейские, придворные с фонарями... «Слава тебе Господи! Государь сам жив, а гвардейцев много побило». Солдат убитых и раненых выносят... Пожарные с факелами мчатся... Жандармы, казаки скачут... Взял меня тут страх и бросился я к себе...

Халтурин привел свой план в исполнение скорее, чем он думал, и, говорят, под давлением Желябова. Во всяком случае тот факт, что в то самое время, как он уже готовил покушение, он искал случая переговорить с людьми, которые были его личными, а отнюдь не партийными друзьями, указывает, по моему мнению, что бывший организатор петербургских рабочих не примыкал еще тогда формально к Народной Воле. Человек большого смысла и стального характера, Степан не мог бы в таком случае рисковать партийными секретами даже в самом интимном разговоре и с самыми близкими людьми... Правда, он ни полусловом не обмолвился

Мурашкинцеву о том, что он готовит взрыв по соглашению с какой-нибудь партией. Но было бы наивно предполагать в своих собеседниках таких политических младенцев, чтобы они не могли понять, с кем в союзе работал Халтурин. Мы с Мурашкинцевым, кстати сказать, так и подумали, но секрет Степана остался личным секретом между нами тремя...

Позицию, на которую стал в этом деле Александр Андреевич, я не мог вполне уяснить себе. Но если не ошибаюсь, в это время Мурашкинцев или уже отбыл, или же готовился отбывать свою воинскую повинность в лейб-гвардии Финляндском полку, — где он прослужил вольноопределяющимся несколько месяцев после выхода из Медико-хирургической академии и перед поступлением в университет, — и находился, как он шутя говорил, в «самом болгарском настроении». Издевательство начальства над солдатами, зуботычины и истязания выводили из себя Мурашкинцева, у которого было в то время немало знакомых между нижними чинами и который познакомил и меня с ними. Я до сих пор, например, помню как капитан «Петух» — забыл его фамилию, а кличка ему дана была за его отчаянное горланье в пьяном виде на солдат, — чуть было не арестовал меня, когда я пришел в воскресенье к Мурашкинцеву в казарму и принялся читать и комментировать нескольким унтер-офицерам какую-то совершенно безобидную популярную брошюру по геологии. Возможно, что Александр Андреевич переносил свою ненависть с казармы и на центральную фигуру всего строя и не отговаривал поэтому Халтурина от его грозного эксперимента...

Что касается моей позиции, в этом отношении у меня совершенно определенно жили в груди две души. С тех пор, как я себя помню сознательным человеком, у меня никогда не было нравственного возмущения перед убийством насильников. Поэтому, когда защитники произвольной власти чувствительно распространяются о святости человеческой жизни, хотя-бы и тирана, мне хочется воскликнуть: «Начните

соблюдать эту святость прежде всего сами». Но политически я совершенно отвергал опыт цареубийства, так как находился тогда, если применить ко мне триаду Гегеля, в самом кульминационном пункте тезиса: убеждении верховенства экономики над политикой. Убить царя с целью изменить ход общественного развития казалось мне столь же мало целесообразным, как снять ту фигуру, которую древние ставили на носу своих кораблей, с целью повернуть, вопреки ветрам и течению, направление судна.

С самого начала я отнесся именно так, критически, к мировоззрению, которое излагалось на столбцах органа партии «Народной Воли», появившегося осенью 1879 г. и сразу же встретившего большое сочувствие среди революционной интеллигенции и в обществе. Интересно составленный и очень литературно написанный, он уже выдвигал новую народовольческую аргументацию, которая носилась тогда в воздухе и которую — с экономической точки зрения — скоро будет не без таланта и оригинальности защищать В. В(рощов). Народников смущало то соображение, что как-никак, но основная цель революционеров — социальная революция, а систематический террор может отвести их в сторону, тем более, что политической свободой и конституцией воспользуются, мол, прежде всего, имущие классы. И вот, чтобы устранить эти сомнения, новая партия указывала на особую форму русского капитализма, что должно, мол, вызвать и соответствующее изменение в характере социальной борьбы.

У нас главным капиталистом, главным социальным противником рабочего народа является, по мнению Народной Воли, само государство, обладающее огромными земельными имуществами, огромными заводами и опирающееся на чиновничество и на армию. Привилегированных классов, соответствующих по силе и значению имущим классам Запада, у нас нет. Дворянство, вопреки усилиям правительства, скорее клонится к упадку. Буржуазия не столько является основою и поддержкою политического строя, сколько сама поддержива-

ется нашим царским правительством, которое искусственно насаждает капитализм, изливая на наших промышленников золотой дождь субсидий, гарантий, покровительственных тарифов и т. п., и всячески защищает паразитное поместное сословие от естественного напора на него эксплуатируемого им крестьянства.

Отсюда вывод: разбейте самодержавное государство, сбросьте с русского народа эту железную, подавляющую его силы и способности покрышку, и он разовьет на вольной воле все великие заложенные в нем возможности и пойдет по дороге политического и социального прогресса, опираясь на исконные, сохранившиеся в нем еще живучими учреждения общины, артели, самоуправляющегося мира. Сплавляя в эту лучшую пору своей деятельности огнем политического энтузиазма довольно разнородные элементы якобинства (представленного Ашаниной и Тихомировым) и демократического народничества (выражаемого Желябовым), партия Народной Воли отражала в своем органе, отражала не без искусства и не без знания политической перспективы, эти различные течения.

Якобинство пока не выпячивалось здесь на первый план, но получало свое, так сказать, законное назначение в виде организации заговорщицкого центра, производящего нападение на царский абсолютизм и низвергающего его. Но сейчас же выдвигались на первый план и широкие демократические требования. Революционная партия позаботится о том, чтобы прижатое к стене правительство (якобинцы предпочли бы составленное из них самих временное правительство) дало стране все политические свободы, — и прежде всего свободу слова, печати, собраний, — необходимые для вполне свободных же выборов. Нет никакого сомнения, что при этом условии девять десятых депутатов, выбранных великой общинной, артельной и вообще мирской страной, будут социалисты. Но пока центр тяжести переносится в город, — и в этом чувствовалось отчасти влияние лавристского «марксизма», — так как работать при

теперешних политических условиях в деревне значит биться «как рыба об лед» (мнение, если можно так выразиться, эксперта по этому вопросу, писавшего под псевдонимом Кудрявцева, под которым скрывался Иванчин-Писарев, о коем ниже).

Каково было мое отношение к этой программе? Смешанное, но с преобладнием решительного отрицания всякой возможности политическим террором произвести тогда же изменение в социальном строе. Собственно централистское, даже конспиративное направление Народной Воли не только меня не отталкивало, но скорее должно было притянуть: от моего отрочества у меня оставалась якобинская закваска, заброшенная в душу Зайчневским. Но политический переворот представлялся мне лишь последним звеном, результатом и выводом в длинной цепи экономической эволюции России, — тут я был решительным марксистом, насколько я понимал тогда Маркса, — а сама эта эволюция рисовалась мне в форме движения по пути капитализма (в каком виде, скажу позже, когда буду говорить о своих больших статьях в «Русском Богатстве» и «Деле»). Перенесение центра тяжести революционной работы из деревни в город я приветствовал, но опять таки лишь как систематическую попытку организовать в городских центрах из интеллигенции и рабочих сильную рабочую партию. В возможность же добиться немедленно от абсолютного правительства конституции и свободных выборов верилось очень мало. Но производить давление на то же правительство путем демонстраций, чтобы получить прежде всего дорогую для меня свободу печати и прочих выражений мнения, казалось мне возможным и желательным.

В таком, не могу сказать, чтобы очень определенном с практической стороны настроении мне пришлось столкнуться и близко познакомиться с целым рядом тогдашних литераторов, — а между ними с людьми очень крупного калибра, — на литературном же предприятии «Русского Богатства».

Я уже упомянул вскользь об этом плане. Его душою был наиболее практичный — и наиболее «мирской» — человек между нами, С. Н. Кривенко. Дело шло о том, чтобы купить захудалый и умиравший журнальчик, который сначала занимался вопросами сельского хозяйства и промышленности, а потом пообещал присоединить к ним в довольно забавном сочетании охоту... и науку, но так и сел в этом новом воплощении на первом же номере. Издатель, у которого вряд ли было и двадцать платных подписчиков, но немало долгов, соглашался, если не ошибаюсь, продать его за 500 рублей. У Кривенки сейчас же родилась мысль приобресть его целой артелью, составив ее из «молодых» писателей более или менее одного, радикального, направления.

В таком органе чувствовалась потребность. Людям этого рода было в то время изрядно тесно в существовавших тогда двух больших органах, проводивших подходящее им мировоззрение, «Отечественных Записках» и «Деле» (третий радикальный журнал «Слово», имевший одно время большой успех, висел на волоске, или, вернее сказать, над ним висел на волоске Дамоклов меч запрещения, каковое вскоре и произошло). Как «Отечественные Записки», так и «Дело» велись, каждый орган по своему, но хорошо. И, однако, сама сравнительная многочисленность радикальных литераторов, которые, конечно, не пошли бы ни в катковский «Русский Вестник», ни в стасюлевичевский «Вестник Европы», полемизировавший тогда с революционерами во внутренних обозрениях Л. А. Полонского, создавала известную монополию для упомянутых двух журналов, делала их редакции чересчур строгими в выборе, а порою до известной степени капризными.

Даже такие тонкие ценители и сами первоклассные писатели, как Михайловский и Щедрин, подвергались порою упрекам в пристрастности. Скабичевский и Протопопов жаловались мне, например, каждый на свой лад, что Михайловский, к которому они в то время относились в общем

с огромным уважением, не дает им ходу после смерти Некрасова, бывшего, по их мнению, менее придирчивым редактором. Немножко забавный в своем самомнении, Протопопов, который считал свою «Литературную злобу дня», помещенную в «Отечественных Записках» 1877 г., за перл общественной критики во всей русской литературе XIX века, запальчиво уверял меня, что Михайловский умышленно свел его на роль рецензента, бракуя все его большие статьи, так как чует в нем крупного соперника. Скабичевский-же менее шумно, но с большей обстоятельностью, перечислял мне все чисто литературные темы, которые он предлагал Михайловскому, но которые тот неизменно перехватывал для себя: «писал бы по социологии и общественной философии, — там он, действительно оригинален и велик, — но оставил бы мне, как было при Некрасове, разбор чисто художественных произведений».

В свою очередь Гаршин был очень огорчен тем, что его грациозная сказочка «Атталеа Принцепс» (которая была помещена позже в нашем артельном «Русском Богатстве») была отвергнута Щедриным за ее недоуменный конец: «читатель не поймет и плюнет на все!» Златовратский и даже Успенский, которым Щедрин ужасно дорожил, принесли тоже в «Русское Богатство» один или два раза отвергнутые «Отечественными Записками» вещи.

«Дело» было собственно менее разборчиво. Но у Благосветлова была своя мания: он не допускал в свой журнал никакого произведения, даже беллетристики, где встречалось хоть слово одобрения направлению «Отечественных Записок», или «Дома на Бассейной», как он презрительно называл орган Щедрина, Елисеева, и Михайловского. В «Деле» с годами накоплялись также когда-то сносные, теперь исписавшиеся романисты, которым становилось все труднее и труднее помещать свою «прозу» даже на страницах этого более снисходительного журнала. Эти тоже потянулись в «Русское Богатство», так что недаром Щедрин,

раздраженный «затеей» Кривенки, сказал ему однажды не особенно любезно:

— Да на кой прах, Сергей Николаевич, вы завели эту... водосточную трубу? Как кому приспичит, так сейчас бежит в ваше «Богатство». Этак и те из вас, кто умеет пока писать, совсем разучатся грамоте.

В этом была известная доля правды: наш журнал являлся до некоторой степени «салоном отверженных», тем более, что совсем нищенское вознаграждение, которое мы только и могли платить друг другу, заставляло нас от времени до времени и ради питания отдавать что получше в большие журналы и, наоборот, возвращенные оттуда статьи приносить в артель.

И, однако, в «Русском Богатстве» были не одни только отбросы. Не говоря уже о некоторых прекрасных вещах Успенского, Златовратского, Гаршина, там были добросовестные статьи Скабичевского, очень интересные социально-экономические этюды Берви-Флеровского (под псевдонимом; помню его «Философию и поэзию крупного землевладения»), бойкая полемика с атаковавшей нас печатью (Кривенки), недурные разборы книг. Там пробивала себе, наконец, путь новая и отнюдь не однообразная струйка, представленная молодыми писателями: Харламовым, с его жестокой критикой идеализации раскола; Плехановым (Г. Б.), который с чисто народнической точки зрения разобрал книгу М. М. Ковалевского об «Общинном владении» (много лет спустя сам Максим Максимович говорил мне, со слов Плеханова, что внушил ему эту мысль Михайловский); мною с уже упоминавшеюся статьею «О современных проявлениях капитализма в России» и т. д., в которой, наоборот, наша экономическая жизнь того времени истолковывалась с точки зрения первоначального русского, изрядно незрелого, марксизма и т. п., и которая любопытна главным образом лишь в том отношении, что в ней я впервые в нашей л е г а л ь н о й литературе пытался приложить к русской действительности некоторые экономические и социологические взгляды Маркса.

В ней я задавался вопросом «должна ли Россия в сравнительно недалеком будущем неизбежно сойти на время на окольную проторенную Западною Европою дорогу капиталистического производства, или же прямо выбраться на столбовой путь производства народного».

И отвечал на этот вопрос так: «Переход народного богатства в руки нации» несомненен. Мы стоим у преддверия капитализма. Община, при всем своем благодетельном влиянии на народ, когда он более или менее обеспечен, не в состоянии спасти его от «свободомыслящей» буржуазии, коль скоро он находится в неблагоприятных экономических условиях. Напротив, она сама разлагается в силу стремления крестьянского населения отделиться от земли, стремления, вынуждаемого этими же самыми неблагоприятными экономическими условиями».

Просматривая эту статью теперь, я не могу порою воздержаться от улыбки: так горячо и наивно убежденно высказывается в них двадцатилетний автор относительно правильности своего взгляда. Искупает в известной мере его то обстоятельство, что в статье делается все же попытка обосновать этот взгляд на анализе явлений, а не на чисто отвлеченных соображениях. Так, отрицая неизбежность разложения русской общины по абстрактным законам гегелевской триады, я отмечал факты, которые указывали на довольно значительные бреши, сделанные в ней общим ходом экономической жизни. Обращал внимание читателей на процесс капитализации нашей кустарной промышленности, сближая его с соответствующим процессом на Западе. Наконец, старался выяснить механизм образования у нас крупного торгового капитала, — как предшественника капитала индустриального, — в области международных хлебных и тому подобных операций. Выходило таким образом, что и в России капитал уже стремится подчинить себе сферы сельского хозяйства, промышленности и торговли, и как раз в тех пунктах, которые народничеством считались застрахованными от капиталистического вторжения.

Статья эта вызвала гораздо более толков среди активной интеллигенции и в революционных кружках, чем в легальной печати. Ею остался крепко недоволен претенциозный критик «Страны» Лугов (Арсений Введенский), упрекавший автора, что он лишь «затевает споры с Марксом» (?!) «ходит кругом да около», а вопроса окончательно не решает. «Новое Время», не зная, что сказать, по обыкновению позубоскалило, обрушившись на язык статьи. Она приглянулась Кривенке и Успенскому, хотя оба были не «марксисты». И о ней уже совсем хорошо отозвался в письме к Успенскому проживавший летом 1880 г. в своем имении Тургенев, которому Глеб Иванович посылал книжки начавшего тогда выходить нашего «Русского Богатства» *).

Если это письмо, данное мне Успенским и возвращенное мною ему, будет когда-нибудь найдено, то из него увидят, с каким интересом и симпатией Тургенев снова следил в последние годы своей жизни за «молодым поколением» в России. Я приписывал благоприятный отзыв о моей статье Тургенева отчасти тому обстоятельству, что он должен был сохранить обо мне более определенное впечатление, чем о других «молодых» литераторах, которые встречались с ним по его же желанию и приглашению в доме И. М. Сибирякова и на квартире Успенского зимою 1879—1880 г. Я в свое время напечатал воспоминания об этих свиданиях сначала за границей, а потом много позже, в «Былом», издававшемся в то время в России, и не думаю возвращаться к ним. Замечу лишь, что мы с Гаршиным были, как мне кажется, единственными гласными участниками из литераторов в этих попытках установить сношения между великим ветераном русской литературы и шедшим ему на смену поколением. Так или иначе, дурно или хорошо, но

*) Это письмо сыграло в моих руках даже немалую роль в моей личной жизни, помогши мне победить сопротивление браку со мной со стороны родителей девушки, которая осенью того-же 1880 г. стала моей женой. Я ограничиваюсь этими словами, твердо решив исключать из своих воспоминаний все, что касается собственно интимной жизни меня самого и моих близких и знакомых.

мы вступали в разговор с Тургеневым, высказывали наше мнение о современности, даже по юношески интерпеллировали его по поводу его взглядов, — другие почти все время безмолвствовали и вглядывались в Тургенева, который тоже вглядывался в них....

Но здесь как раз место поговорить поподробнее о человеке, которого я с первого же знакомства с ним горячо полюбил и которого я считаю до сих пор одним из величайших русских писателей, крупнее и выше многих «слав» нашей литературы: я разумею Глеба Успенского.

Курьезное у меня было с ним знакомство. Как-то летом 1879 г. я попал на Рыбацкую к Кривенке и еще в передней услышал дружный смех самого хозяина и нескольких гостей, сидевших во второй комнате за чаем. Войдя в столовую, я сейчас-же увидел, что вся компания смеялась рассказам какого-то еще не старого, рослого господина, с чисто русским лицом, крупным носом, не особенно большими, но видно не очень прихорашиваемыми русыми бородой и усами. Я его принял за служащего в банке, управляющего или просто какого-нибудь мелкопоместного дачника, тем более, что по скверной русской привычке фамилии при знакомстве произносились хозяином очень невнятно.

«Как славно, однако, рассказывает этот господин», — подумал я, невольно прислушиваясь все внимательнее и внимательнее к словам незнакомца. Теперь он говорил почти все время один. Другие только подавали реплики на его неожиданные, конечно недоуменные вопросы, или же задыхались от смеху при особенно забавных словах говорившего.

Я все больше и больше всматривался в него. Меня прежде всего поразили его глаза. Серые, переходившие то в темный, то в голубой оттенок, смотря по общему выражению его лица в данный момент, они временами начинали смотреть куда-то вдаль, словно во что-то зорко всматривались, временами-же направлялись близко на слушателей, но как-то вбок. И тогда господин, то затягиваясь неуга-

савшей папироской, то постукивая себя в обшлаг сюртука коротким жестом полусжатой в кулак руки, с выпяченным вперед и вверх большим пальцем, ронял на окружающих короткие же, но переполненные образами и картинами фразы, немного наморщивал большой выпуклый лоб и, когда все кругом неудержимо смеялись под влиянием этой ни с чем несравнимой речи, комично обращал к ним чуть-чуть улыбающуюся слегка склоненную на бок физиономию и словно спрашивал: чего вы? ведь это же все так просто, все это именно так на самом деле было...

Мне скоро показался так понятен этот двойной маневр глаз: вот-вот они устремились туда, где перед рассказчиком проходит доступная лишь его внутреннему зрению вереница лиц и событий, а теперь они возвращаются к нему, когда он описывает виденное. И, стараясь точнее передать эти видения нам, его мысль делает усилие, чтобы подобрать подходящие слова для выражения, и сбирает в складки этот вместительный лоб.

Я чувствовал, что передо мною находится незаурядный человек, но никак не мог сообразить, кто. Незнакомец говорил о самых простых вещах — отнюдь не о литературе — как он живет на даче, кого видит, о чем слышит. Но, кроме мастерского описания, в его речь вкраплялись его собственные комментарии, в которых звучал все время вопрошающий, почти тревожно-мучительный тон, и которые столь-же, по-видимому, обращались к нему самому, как и к слушателям. Удивительно подходил к его рассказу и к его комментариям его грудной, но вечно иронический, прерывающийся вечными паузами недоумения и вопрошения голос.

Втечение часа, пока он говорил при мне, он почти беспрестанно затягивался все одной, но не одной и той же папиросой. У него был особый маневр и для курения, и я с интересом следил за его выполнением. Когда папироса подходила, ну, скажем, к последней трети, он отрывал от нее мундштук, высыпал немного табаку с надорванного конца и в образовавшееся таким образом про-

странство вставлял свежую папиросу. Несколько энергичных затяжек — и снова дымилось это курильное перпетуум-мобиле, или, вернее, перпетуум-фумабиле во образе длинной бесконечно дымящейся папиросы.

— Сергей Николаич — начал вдруг после паузы интересный незнакомец, — вы не обижайтесь только, а ведь, Маркс-то проштрафился в этом году у нас в Чудове...

— Как так, Глеб Иваныч?

— Очень просто: в «Капитале» говорится, что стоимость это лишь человеческий труд. Но вот в прошлом году «стоимость» лукошка грибов была 15 копеек, а в нынешнем году бабы и за 50 копеек не отдают... А все оттого, что в прошлом году дождь все лето шел, а за это лето и трех дней хорошего дождя не было... Вот ваш Маркс дождя-то и не предусмотрел.

— Голубчик, Глеб Иванович, это вы серьезно?

— Совершенно серьезно, Сергей Николаевич, серьезно... ну вот как стасюлевичевский «Вестник».

— Вам за то и ответ будет такой же, как стасюлевичевскому «Вестнику». Представьте себе, что и дождь у Маркса предусмотрен... Да вот кстати у нас здесь имеется марксист... Николай Сергеевич, не возьметесь ли вы вместо меня ответ Глебу Ивановичу дать?

— «Меньшого брата» хотите на меня напустить? — вопрошающе промолвил незнакомец и принял комичную позу самого напряженного внимания.

А меня в то время медом не корми, дай только теорию трудовой стоимости об'яснить. Правда, знай я, что передо мной знаменитый, уже горячо любимый мною заочно Успенский, я много сбавил бы с той юношеской уверенности, которая звучала в моей импровизированной лекции. Но я не знал этого и потому думал лишь о том, чтобы яснее вышло. Сначала показал, что платят не за дождь или ведро, а за труд сбирания грибов, и что поэтому совершенно естественно в сухой год больше платить за грибы, ибо бабе приходится затратить гораздо больше труда, чтобы набрать то-же лу-

кошко. А затем перешел к более общей постановке вопроса и не без некоторой торжественности заявил, что если бы даже грибы по свой редкости стали страшно дорогими, то и это явление монопольной стоимости предусмотрено, и предусмотрено уже всей той школой классической политической экономии, к которой принадлежит Маркс, хотя бы Давидом Рикардо, начинающим свои «Основания» как раз с примеров монопольной стоимости очень дорогих вин и картин Рафаэля, каковые являются исключениями, лишь подтверждающими правило: стоимость определяется трудом.

Незнакомец слушал меня с большим вниманием и от времени до времени одобрительно покачивал головой. Я кончил. Кривенко улыбнулся мне славной улыбкой.

— Большое вам спасибо за ваши раз'яснения, Николай Сергеевич: они почти убедили меня, — скромно произнес незнакомец. — А позвольте кстати узнать вашу фамилию: я недослышал...

— Русанов.

— Русанов... Не слыхал что-то... Извините..... Позвольте кстати и мне вам представиться: Успенский... Г. Иванов «Отечественных Записок».

Обычный ураган пронесся, выражаясь романтически, под сводом моего недогадливого черепа. «Который это еще раз будет в моей жизни? Не сообразить, что Глеб Иванович ведь это и есть Г. Иванов, есть Успенский, статьями которого я зачитываюсь уже года два?.. Да кто-же другой мог бы рассказывать так, как он? И кто мог бы делать к рассказам такие комментарии?..»

Заметив, что я глядел в эту минуту далеко не триумфатором, Успенский очень мило вывел меня из затруднения, отклонив от меня внимание компании, которая не могла удержаться от добродушного переглядывания при виде моего крайнего замешательства.

— Да, знаете, Чудово и Рикардо... Там предусмотрено, а у нас не предусмотрено... И во всем так, Николай Сергеевич. Я из Парижа как-то к себе в Тулу попал, и по-

невольно пришлось вспоминать и сравнивать. Иду я в Париже по Люксембургскому саду: вижу, девочка лет шести обручик катает и все хочет с дорожки на газон перекатить, а там газон прутиками отделен железными, — но они очень хорошо под дерево подделаны. Девочка принялась сначала ломать, а потом — видит, что не идет — вытаскивать такой прутик... А ее мать, знаете, такая изящная француженка, как всплеснет руками: «Лили, Лили, милая детка, да разве можно это делать? Что если все так примутся таскать прутики? Ведь от загородки ничего не останется, да и газон весь затопчут»... Девочка потупилась, положила пальчик в рот да как расплачется: «Маман, шер маман, прости... никогда не буду»... Это, видите-ли, там, это предусмотрено... Через две недели иду я себе в Туле возле городского саду, так часов в восемь утра. С вечера начальство новые скамейки поставило. Проходит мимо одной парень, здорово выпивши, картуз набекрень, козырек лихо заломлен, в руках гармонка:

Ах, теща моя,
Доморощенная,
На тебе шубка нова,
Не понош... —

лихо отхватывает малый. Вдруг он видит новую скамью... Останавливается, словно глазам не верит, и приходит сначала в недоумение, но потом сейчас-же в негодование:

— Ах ты, сволочь этакая, и кто-жь это тебя только поставил? И кто их об этом просил!.. Погоди-жь ты!

Малый дает сильный удар по скамье. Но скамья врыта прочно. Это приводит его в ярость.

— А, так ты вот какая у нас!.. Постой, и не с такими справлялись!..

Следует ряд ударов по скамье. Малый жестоко зашибает себе ногу. Но это только придает ему более куражу. И ногами, и руками, и всем телом, гражданин, не любящий скамеек на новом месте, напирает на упрямого врага...

О, торжество: скамейка, наконец, качается и вылетает вместе с комьями земли вон... На лице малого полное удовлетворение. Он дает последний удар предмету, смутившему его веселое утреннее настроение, и быстро уходит, бросая скамье:

— То-то! Так-то дело-то будет у нас лучше!..

И гармонка снова залилась, аккомпанируя победителю:

...Доморощенная,
На тебе шубка нова,
Не поношенная.

Это — здесь, это не предусмотрено у Рикардо, Николай Сергеевич...

Сколько раз я с тех пор видел Успенского, и ни разу я не мог вдосталь наслушаться этого удивительного человека. Позже мне приходилось слышать и в России и за-границей замечательных рассказчиков, но все это лишь в слабой степени напоминало Успенского. Те, кто считаются мастерами этого дела, повторяют обыкновенно одни и те-же анекдоты, порою даже очень художественно, но искусственно, по актерски, разматывая нить рассказа. Но Успенский никогда не принимался за старый рассказ: до того-ли ему было? У него накоплялась масса новых впечатлений, новых дум над ними, и они тяготили его, и он спешил поскорее отделаться от них. Он говорил с вами о том, что было у него на душе, и, говоря, он творил, творил вместе с вами, призывая вас к участию в этом творчестве своими недоуменными вопросами, вашими неизбежными репликами, вашим смехом. Он, несомненно, еще лучше говорил, чем писал. И игра его физиономии, его умеренные, характерные жесты, самая его временами столь заметная, но удачная борьба с подходящим словом, с художественно конкретным выражением, вызывали в слушателях высокое умственное наслаждение. Когда передаешь его разговор, вечно испытываешь чувство глубокой неудовлетворенности: это все не то! Лучше других передавали характер художественной речи

Успенского Александр Иванович Иванчин-Писарев и некий полусумасшедший, но не лишенный оригинальности русский бланкист Григорьев, умерший в Париже в начале этого века.

Особенно поражало в Успенском уменье нарисовать карикатуру, видимый шарж, таким образом, что вы постепенно подготовлялись к нему разными, казалось-бы, второстепенными черточками, и финал, несмотря на его чудовищную невозможность, казался вам в этой обстановке совершенно естественным, мало того — неизбежным. Как-то мы, артельщики «Русского Богатства», очень долго ждали Глеба Ивановича для обсуждения одного важного вопроса. Делались разные предположения, высказывались даже опасения, уж не случилось ли чего с Успенским. Дело было, правда, летом 1880 г., во время лорис-меликовской «диктатуры сердца», когда полиции был дан приказ не производить обысков и арестов без толку. Но у Глеба Ивановича была всегда масса нелегальных знакомств, и его могли захватить вместе с каким-нибудь крупным революционером.

Раздался звонок, и наконец-то, к нашей радости, мы увидели в дверях раскрасневшегося, слегка отдувавшегося Успенского — день был жаркий, — с забавным, немножко торжественным выражением на лице.

— Извините, господа: государыня императрица задержала!

Мы вспомнили, действительно, что в этот день хоронили августейшую супругу Александра II, Марию Александровну. Редакция «Русского Богатства» помещалась в то время на Знаменской, возле самого Знаменья, и Успенский, который был утром на Петербургской стороне, никак не мог попасть в центр города, потому что по случаю похоронной процессии движение было приостановлено на нескольких мостах.

— Что-жь удалось что-нибудь видеть, Глеб Иванович? — послышались голоса.

— Все до капельки, весь церемониал! — и Успенский по обыкновению послал куда-то далеко свой взгляд, а затем

по обыкновению же перевел его на нас и слегка задумчиво стал рассказывать, что видел.

Мне кажется, я никогда не слышал такого художественного изображения столь простой и столь сложной вещи, как официальная процессия. Жестом, словом, двумя-тремя штрихами этот чародей вызывал перед нами картины и образы развертывавшегося шествия, всех этих духовных, военных, гражданских, придворных чинов. Шли митрополиты, архимандриты, действительные тайные и просто тайные советники, и генералы от инфантерии и от кавалерии, и обер-камергеры и гофмаршалы и церемониймейстеры, чины с ключами и без ключей, статс-дамы и камер-фрейлины, — все шли по своему, но все в глубоком трауре, все с выражением безмерной официальной печали на важных, увлажненных приличными слезами лицах...

— И, наконец, сам Государь Император... на горько рыдающем жеребце!..

Я уверен, что у всех нас, как у меня, в этот миг перед глазами совершенно отчетливо прошел, нисколько не удивляя нас, образ этого верноподданного, рыдающего коня, который должен был участвовать в этом всеобщем предписанном этикетом горе, а участвуя не мог не рыдать. Он казался таким естественным, таким необходимым, художественно-реальным существом. Без него процессия была бы неполна. Он дорисовывал своими лошадиными рыданиями всю эту картину лицемерного траурного маскарада, так как все участвовавшие в нем знали, что Александр II уже несколько лет сложил свое стареющее, но пылкое сердцем к ногам княжны Долгорукой и с нетерпением ждал, когда отбытие в лучший мир Максимилианы-Вильгельмины Гессен-Дармштадской позволит ему соединиться законными узами с предметом его царственных мечт.

Лишь через минуту опомнились мы от этой иллюзии внушения, этого коня-плакальщика, и неудержимый смех овладел нами, между тем как в коротких фразах Успенского мимо нас уже проходила своим размеренным шагом тысячей

ног пехота, двигалась, звеня бесчисленными копытами о мостовую, конница, проезжала, грохоча, артиллерия, а медные жерла духовых инструментов и полузавешенные барабаны наводняли оба берега Невы вокруг Петропавловской усыпальницы могучими волнами похоронного марша.

Успенский никогда, однако, не выискивал умышленного эффекта. Но по пословице «на ловца и зверь бежит» перед необыкновенно чутким региструющим аппаратом его оригинального ума на каждом шагу проходили курьезные и вместе наводящие на самое серьезное размышление вещи. Таких происшествий, как с ним, ни с кем, кажется, из его знакомых не бывало, или, может, они не умели схватывать их типичные проникнутые внутренним юмором черты.

Однажды я рассказал ему, какою реальною жизнью жили в нижнем этаже русановского дома все эти домовые, лешие, рочные и тому подобная нечисть.

— Да так и быть должно, Николай Сергеевич. Чорт — самая обыкновенная вещь в нашем быту. Он ближе и реальнее Бога... Вот что со мной было, когда я в ссудосберегательной кассе в Самарской губернии служил. Прислали к нам, вместо уволенного за неблагонамеренность сельского учителя, племянника становихи в учителя. Очень образованный и очень благонамеренный молодой человек был. Первый урок географии так и начал: «с тех пор, как Бог Адама и Еву из рая выгнал, люди стали очень глупы, и чем дальше, тем все глупее становились. Даже Ноев потоп и радуга не могли их от глупости отучить. Поэтому они думали, что все вокруг земли вертится. Однако, вскоре после древнего мира, нашлись умные люди, которые по математике доказали, что, наоборот, все стоит, а только одна земля вокруг всего вертится, отчего происходят разные видения на небе, фазы луны, и солнечные затмения, а также приливы и ветры от большой скорости».

— А русскому языку он обучал и того лучше, — продолжал все серьезнее и серьезнее Глеб Иванович, — «Неблагонадежный» задавал старшим ученикам сочинения

не сочинения, а так самые простые описания, и все больше из крестьянской жизни, из того, что дети видят и в чем сами принимают участие: сенокос, страда, что мужики делают в лесу летом, а что зимой... Новому же учителю было сказано держать учеников по возможности подальше от ихнего быта, так как много от этого лишних толков выходит о «политическом положении крестьянства и даже духовенства», а задавать им что-нибудь из «иностранной природы» и учить «выражаться благородными выражениями»... Вот мой умник и разжившись хрестоматиею для средних классов гимназии и давай своим ученикам оттуда самые непонятные для них вещи читать, а затем требовать от них рассказа своими словами...

— Это мне напоминает педагогов, которых я разбирал в «Новостях», — невольно вставил я.

— Вот-вот... Встречает меня как-то новый на улице и говорит: «извините, глубокоуважаемый Глеб Иванович, так как я наслышан, что вы в некотором роде известнейший сочинитель, то позвольте вас любезно просить поспособствовать мне в одном, можно сказать, экстренном деле. Скоро, видите-ли, приедут сюда инспектор народных училищ и непременный член на экзамен в нашей школе, а она ведь образцовой считается, и полный курс в четыре зимы проходится... Спросят у меня сочинения кончающих учеников им показать, а что я им покажу? На прошлой неделе читал им два отрывка из хрестоматии:—«Закат солнца в Сахаре и «Ураган на океане» и просил, кто какую вещь хочет, рассказать. И что-же бы вы думали? Голову сняли с меня, Глеб Иванович, эти разбойники, положительно сняли... Один пишет: «Заря дюже погорела, так что повсюду красно стало и предвещание сильного дождя означает». Понимаете-ли, Глеб Иванович, это в Сахаре-то сильный дождь, в Сахаре?! А другой так изображает ураган на океане: «На море на окиане поднялась ни с того ни с сего страшенная буря, волны больше полутора аршин ветер с одного берега на другой нагнал, наш паром возьми да и перевернись,

как ни тащили мы его кверху, а он подобрал нас под себя да как сразу плюхнет на дно, и очень зашипел после, потому что вроде чугунки на пару ходит, только по воде»...

— Глеб Иванович, да ведь это же лучшая сатира на всех наших педагогов...

— Вы все об Евтушевском, Николай Сергеевич... Погодите.... Я и говорю становихиному племяннику: послушайте, Матвей Гаврилович, а почему бы вам снова мальчиков на описание их быта не направить? — «Рад бы, Глеб Иванович, как перед Господом Богом, но по предписанию ничего не позволено из жизни населения касаться». — Ну, заставьте их не людей, так скотов описывать. — «Слонов или тигров?» — Да нет, зачем вам все заморских зверей надо... Пускай опишут что видят, ну, например, наших домашних животных. Я заранее уверен в успехе... — «Чувствительнейше вам признателен, Глеб Иванович».

Успенский на минуту устремил далеко взор и снова возвратился им в комнату.

— Прошло с неделю. Встречаю умника по предписанию, а он издали руками всплескивает: «Многочтимый г-н Успенский, Глеб Иванович, да что-же вы со мной сделали? Позвольте вас покорнейше просить ко мне на минуту зайти»... Вижу, человек в страшной ажитации, и как только мы вошли в его комнату, он мне сейчас целую кипу сочинений на стол вывалил и принялся читать из них выдержки. — «Вот-с вам для примеру одно сочинение: «Домашнее животное. Четвероногое. Буренушка». Второй ученик описывает, какая у него в доме Буренушка, и сколько молока дает, и когда рог один об забор обломала, и как маму одну доить к себе подпускает... Да ведь это ужас, Глеб Иванович! Он корову должен был, злодей, описать, вообще корову, понимаете, корову, которая не существует, а он — Буренушку!.. А вот этот: «Домашнее животное. Четвероногое. Лошадь». Теперь извольте прислушать: «Была у нас одна четвероногая лошадь, да тятька податев не заплатил, ее старшина и увел к становому, и самовар

совсем с угольями прихватил и дядину свиту новую, так, что у нас никакого животного, ни домашнего, ни четвероногого, не осталось для описания: уже все описали»... Каков мерзавец, прямо в социализм ударился!.. А вот это сочиненьице-с уж извольте читать сами»... Я взял тщательно, с видимою любовью и хорошим почерком написанную четвертушку бумаги. — «Это первый ученик, Глеб Иванович, на него вся надежда была на экзамене».

Мы задыхаемся от смеха. Успенский невозмутимо продолжает:

— Я взглянул прежде всего на заглавие: оно очень заинтересовало меня. «Чорт есть животное домашнее, четвероногое, но не всегда, а когда спит. Когда же ходит, то на двух ногах. Водится у нас на печке, питается углями и золой. Мы его часто видаем с бабушкой, когда лежим на полатях. Он имеет большие клыки и огненные глаза, а рога у него, как у козла. Бабушка его не боится, а как только он залезет на печку, то сама читает молитву, и я должен тоже читать: «да воскреснет Бог и расточатся враги его»... Он сейчас же и начнет расточаться. Смирным таким да хворым прикинется, а под конец и совсем в нашу черную кошку, в Машку, перекинется... На вопрос, какая польза с того животного, прямо отвечаю: «хотя он и домашнее животное, но к земледелию окончательно не годится, потому что пахать не способен»... Вот, полюбуйтесь, Глеб Иванович, на вашу эту самую, как она называется... методу сочинительства... Из простой-с жизни захотели, из повседневной... Так прежде-то, положим, ученик ни Сахары, ни океана не мог хорошо описать, потому что не видел... А теперь, радуйтесь, Глеб Иванович, чорта-с превосходно описал, потому что видел, видел-с, благодаря вашей методе-с!.. Что я теперь, позвольте вас спросить, инспектору и непременному члену покажу? Одна беда!.. Сочинение-с о чорте? «К земледелию окончательно не годится». А то, может, чертоводством занялись-бы... Прямо меня вы, господин сочинитель, под строжайший незаслу-

женный выговор подвели, а то, может, и места лишусь!.. Ну как же можно деревенскому необразованному мальчишке описывать давать, что он на самом деле видит? Одно невежество-с у них!.. Сахара далеко-с, а чорт рукой подать, на печке!..

Я оставлю Успенского, как художника-рассказчика, потому что чувствую, как слабо все это выходит под моим пером, и перехожу к нему, как к человеку, которого я едва-ли еще не больше любил. Он как-то сказал о себе, что у него сердце никогда в юности на месте не было. И это нельзя понимать только в отвлеченном смысле, в смысле абстрактной неудовлетворенности окружающими условиями. Он страдал совершенно реально за себя, а больше за других, и это несравненно чуткое сердце он донес до могилы, до ночи сознания, угасавшего в туманах трагического помешательства. Особенно это чувствовалось у него в отношениях к простому народу. Более, чем Кривенко, он был убежден, что не одна буржуазия, а и интеллигенция чересчур много зарабатывает по сравнению с трудящимся физически человеком. И тому же самому мужику, которого и любя, и ненавидя от любви, он порою изображал «свиньей», желающей только «жрать», он в личных столкновениях оказывал услуги не по силам его никогда не бывшему очень полным карману.

Конечно, с точки зрения степенного обывателя он «транжирил», он сорил деньгами, он рассовывал их, казалось, куда попало. И однако и тут можно было при любовном отношении к нему найти внутренние, глубокие причины этой «безалаберности». У него действительно было ощущение, что в деньгах заключалась огромная, неправедная сила, дававшая их собственникам власть над неимущими. И деньги жгли его руки. И он старался сбыть их тому, кто, по его мнению, в них больше нуждался. Только в этом освещении становятся понятными некоторые ходячие об Успенском и его непрактичности анекдоты. Вот хотя бы следующий.

Как-то утром он получил из конторы «Отечественных Записок» триста рублей за статью в последнем номере. Все уже у него было заранее распределено «по хозяйству» и на необходимые семейные издержки. Весь сияющий, сбегает Глеб Иванович по лестнице и для скорости, чтобы порадовать пораньше свою с нетерпением ждущую получки, ибо кругом задолжавшую за месяц, Александру Васильевну (жена Успенского: тоже интересное в своем роде существо), садится на извозчика... Проходит несколько часов, и уже пеший, смущенный, неровным, медленным шагом Успенский входит по той же лестнице, но не в контору, где уже больше получать нечего, а в редакцию, где сидит столь грозный на вид Щедрин и правит корректуру.

— Вам что, Глеб Иваныч?

— Да вот я... да, так я начинаю писать для следующей книжки... уже поллиста завтра будет, а дня через два и всю статью сдам.

— Какой вы аккуратный стали! То никак вас не дождешься, типография требует, шлешь к вам посыльного за посыльным, а вы все до последней минуты оттягиваете... А теперь вот... Похвально!.. Может, все-таки денек-то и отдохнули-бы...

— Нет, так уж лучше... Я теперь всегда аккуратный буду... Заранее писать стану.... Уж и теперь почти стал... Только вот...

Салтыков как будто уходит в чтение корректуры. Успенский оглядывается, не придет-ли откуда-нибудь неожиданная помощь, и вдруг, с видом человека, которому остается перешагнуть лишь последнюю ступень, чтобы очутиться на эшафоте под петлей, быстро-быстро и тихо-тихо роняет на наклоненную над полосой голову Щедрина несколько фраз:

— А я, Михаил Евграфович, пришел попросить у вас авансу... Я уже начал писать... Сейчас же отработаю... Очень много расходов... не рассчитал... Вот только бы сесть...

Угрюмая голова отрывается от корректуры.

— Что? Авансу? Какого авансу?.. Вы сегодня получили триста рублей?..

— Совершенно верно... Но большие, непредвиденные издержки... До дому не мог довезти... Да мне бы самый маленький авансик... Так рублей полтораста... И через три дня статья... А потом-бы еще рублей сто... Если обойдусь.

— Да что-же вы с утренними-то деньгами сделали? Пророскошествовали?

— Помилуйте, Михаил Евграфович, покупки самые необходимые... Вот только сразу пришлось — и не хватило...

— Какие-такие покупки? Ну, сказывайте, что вы купили?

— Прежде всего сапоги... Отличные сапоги... Я уже давно хотел именно такие купить... Знакомый магазин... Продавец прямо говорит: без износу... Лучше варшавских...

— Охотно верю... А еще что?

— А что-жь еще?

— Я спрашиваю: что еще купили?

— Ах, да... Еще фунт сыру... Превосходный сыр... Знаете, настоящий швейцарский... Я уже давно хотел Александру Васильевну побаловать...

— Вижу, вижу, что побаловали.. А еще что?

— А еще извозчик... Хотел поскорее домой. Знаете, расстояния эти петербургские положительно убивают... Целый день ухлопал. Сначала в Гостиный двор за сапогами, потом на Большую Морскую за сыром... А потом...

Пауза.

— А потом, вот, что я вам скажу, Глеб Иваныч: всем вашим покупкам и с извозчиком и со всей вашей теперешней словесностью — красная цена четвертной билет, а вы сегодня утром отсюда триста рублей унесли... Где-же остальные?

Успенский начинает чувствовать себя лучше. Все-таки старик разговаривает, а мог-бы прямо сказать: некогда,

корректуру правлю... И уже с облегченной наполовину душой Глеб Иванович чрезвычайно убедительно произносит:

— А сапоги-то!..

— Все не триста!

— А сыр-то!

— Далеко до счета!

— А про извозчика-то забыли, Михаил Евграфович?— уже почти укоризненно говорит все более и более смелеющий Успенский...

— Ну, сколько вам стоил извозчик? — спрашивает, наоборот, все более и более смягчающийся Салтыков.

— Да, ведь, если-бы один извозчик был, а то сыр...

— Ну, а сыр сколько?

— Но ведь еще сапоги...

— Тьфу ты пропасть! с вами, Глеб Иваныч, натощак не сговоришься! Ну что вы, как малое дитя, в трех соснах блуждаете: сыр-сыр, сапоги-сапоги, извозчик-извозчик... Вот вам ордер пока на двести рублей, а там на будущей неделе посмотрим...

Увы! Успенский принужден удовольствоваться суммой, которой еле хватит его семье на покрытие кричащих долгов.. И, паки и паки увы! Он не может сказать ни Салтыкову, ни жене, что как раз эту сумму он отдал извозчику, с которым он кстати ездил не в первый раз и который разжалобил «хорошего господина» картинным рассказом (Глеб Иванович в качестве истинного знатока наслаждался этой сочной речью) о том, как из-за пьяницы-брата у него все дуром пошло, и теперь он ездит от хозяина, а кабы снова лошадку купить, только-бы одну пока для обзаведенья, он опять бы как по веточке вверх пошел и в люди вышел!..

Успенский мучился, когда видел, что из-за денег, из-за этой мертвой, но ужасно цепкой и неприятной вещи, живые люди страдают, и без всякого колебания деньгами-же старался откупаться от этого тяжелого ощущения. Заметив, что его жену очень расстраивает торговаться всякое утро

с приходившим знакомым мясником за каждый кусок говядины, он улучил однажды минутку, когда Александра Васильевна вышла, и самым умоляющим тоном обратился к продавцу с предложением, которое тот даже не сразу понял, — так странно оно показалось ему:

— Ванечка, могу я вас просить сделать мне одно большое одолжение... не в службу, а в дружбу?

— Помилуйте, Глеб Иванович, всегда готовы вам служить, очень вами благодарны...

— Так вот что, Ванечка, вы не торгуйтесь с Александрой Васильевной, а какую она вам цену назначит, за такую и отдавайте.

— Ах, Глеб Иванович, что-что, а этого никак невозможно-с. Сами знаете, скотина привозная, страсть как вздорожала...

— Постойте, Ванечка, дайте кончить... Вы меня не поняли: вы для виду только делайте так, а там у меня с вами счеты будут особые...

— Невдомек мне, признаться, Глеб Иваныч...

— Понимаете, Ванечка, торговаться для Александры Василевны нож вострый... Вот мы с вами и положим промеж себя такое условие: покажете вы ей какой кусок и назначайте цену что ни на есть дешевую, которой в Питере и нет. Или какую Александра Васильевна вам предложит, за ту и отдавайте, а сами мне разницу с вашей ценой на листик, или еще лучше в книжечку особую запишите. Мы с вами и будем потом сосчитываться, и я вам даже буду сверх настоящей цены по пятачку с фунта приплачивать. Только, чтоб никому об этом не говорить: это наш с вами секрет будет... Согласны?

Шустрый ярославец, конечно, согласился сейчас-же на такое предложение и вышел от Глеба Ивановича, сияя: «а и славный, Господи ты мой Боже, этот господин Успенский, только чудной малость, — тоже потрафлять ему надо уметь», — рассказывал он своей жене.

Эта неизвестная политико-экономам операция длилась несколько месяцев, пока Александра Васильевна не поделилась с одной из литераторских жен своим счастием:

— Ведь, вот все говорят, что мясо очень дорожает, а я и не замечаю этого. Попался нам, знаете, добросовестный мясник, и такой славный, с таким открытым русским лицом. Совсем не запрашивает, а порою так даже с моей цены сбавляет: «только возьмите-с фунтиков пять побольше». Это такая редкость в Петербурге...

Литераторская жена, умолявшая Александру Васильевну поскорее послать к ней это сокровище, всплеснула, однако, только руками, когда пришедший на следующее же утро к ней добродетельный торговец об'явил свои цены:

— Да ведь это ужас что такое!.. Это дороже, чем в самой дорогой лавке... А мне еще Успенская говорила, что вы не только не запрашиваете, но даже против обыкновенной цены сбавляете...

Ярославец долго вертелся на разные лады, приводя всевозможные фантастические резоны, почему именно вот то мясо, какое он принес сегодня, стоит так дорого, но, задетый за живое замечаниями разочарованной дамы, что он еще хуже других «рвач», пришел в азарт и выдал секрет Глеба Ивановича:

— Зачем-же-с такую мораль на нас пущать? Не хуже других, а как другие, так и мы... Я вам настоящую цену, сударыня, назначаю, хоть всю столицу пройдите — дешевле не найдете... А чтобы в убыток себе продавать, это, конечно, никак невозможно... Сами посудите, вы — дама образованная-с, как-же мог бы я тогда свою торговлю вести?

— Но сама Александра Васильевна мне говорила... Вы Успенским все за половинную цену оставляете...

— Коли на то пошло, сударыня-с... Желательно-ли будет вашей милости тайну сохранить, чтобы кроме меня да вас никто ее не знал?

Озадаченная дама раскрыла глаза, но из любопытства дала обещание.

— Мы господам Успенским с секретом-с мясо продаем.

— С каким секретом?!

— А так, что сама Александра Васильевна настоящей цены не знает... С приплатою от господина Успенского, дай ему Бог здоровьица...

Следовало обстоятельное описание сделки. Разумеется, все, что было рассказано мясником литераторской жене, стало через несколько дней известно всей пишущей братии Петербурга, к ужасному огорчению изобретателя этой блистательной комбинации.

Враги и завистники Успенского распространяли слухи, что все-же деньги главным образом тратились им на питье, и что не будь этих постоянных очень крупных издержек, то немалых по тому времени средств, которые зарабатывал Успенский, могло бы хватать на вполне приличное существование его самого и всей семьи.

Втечение более двух лет перед моим от'ездом за границу я был дружен с Глебом Ивановичем, и, встречаясь очень часто с ним, мог приглядеться к его жизни. Успенский пил нередко, порою много, но вряд ли больше, чем большинство тогдашних русских писателей. Что могло придать вероподобность злостным слухам о якобы грандиозных «попойках» Успенского, это то, что в товарищеской компании он являлся душою общества и втягивал в сферу своего притяжения даже посторонних. Всегда удивительный рассказчик и удивительный комментатор самых, казалось бы, обыденных вещей, он под влиянием вина становился положительно гениален. Образы, рассуждения, шутки, короткие и глубокие замечания, то удивительно остроумная, то потрясающая, несмотря на свою кажущуюся простоту, жизненная сцена, — все это сменялось в его воображении капризным фейерверком, и все это он умел, благодаря своему несравненному языку, игре физиономии и всегда умеренным, но всегда типичным жестам, передать слуша-

телям. Точно Лейденская банка, он заряжал своим электричеством и других. В трактирах люди за соседними столами начинали прислушиваться к тому, что говорит этот интересный господин, и образовывали его естественную аудиторию. В вагоне с нескольких фраз пассажиры перебирались поближе к нему. Половые, извозчики, ямщики, встречные мужики и бабы, странники, люди занятые и люди праздные с огромным интересом слушали его разговор и принимались сами за реплики, а потом и за рассказы.

Я думаю, вино, как и неугасающая папироса, были необходимы ему для приведения его нервной системы в состояние, требовавшееся для художественного наблюдения и художественного творчества. Но эти же два возбуждающие средства должны были и страшно опустошать умственную энергию Успенского, довершая ту разрушительную работу, которую производил в этом необыкновенно чутком организме самый процесс литературного труда. Успенский работал тоже по особому, усугубляя и без того очень негигиеничные приемы писания большинства русских литераторов. Писанье он и любил и ненавидел вместе. Очередные статьи он дотягивал до самого конца, когда редакция требовала от него рукописи каждую минуту, типографский мальчик сидел часами у него, дожидаясь каждой новой строки, чтобы скорее снести ее в набор, а Александра Васильевна осведомлялась от времени до времени бережно, но все-же не без беспокойства, у «Глебушки», поспеет ли он к сроку, потому что разные поставщики уже стояли у нее над душой и грозились перестать отпускать в долг. И вот, придя в состояние почти панического страха, что на сей-то уж раз он непременно опоздает, Глеб Иванович садился за стол и принимался почти без перерыва втечение двух-трех суток покрывать своим характерным почерком маленькие листики почтовой бумаги, стараясь изолировать себя от внешнего мира и прежде всего от семьи. Он затворял дверь, ставил на стол кипящий самовар и работал, работал днем и ночью, зачастую заменяя еду вечно дымя-

щейся папиросой, пока не кончал свои полтора, два, а то и три листа. Он писал необыкновенно быстро, почти без помарок и все время негодуя на себя, что оставил для себя так мало времени, между тем, как воображение подавлялось массою живых образов, а в голове толпилось так много мыслей, которые могли бы уяснить читателю смысл этих явлений... Но надо было дописывать — дописывать как попало — и так до следующего месяца.

Помню один его рассказ из области этих периодических, годами длившихся мучений.

— Сижу я, знаете, вот за этим самым столом ночью и последнюю четверть листа дописываю... А там за двумя дверьми слышу, как Александра Васильевна стонет: роды с полудня начались... А у меня как на грех такое славное настроение под конец стало — это редко у меня бывает, — вижу, сам для себя итоги подвел, и остается только читателю повразумительнее их передать... Вдруг отворяется дверь: вижу, повивальная бабка. Вошла да как шваркнет какой-то сверток газет на стол: «поздравляю, Глеб Иваныч, с сыном». — Голубушка, Фиона Кузьминична, да что же вы это со мной сделали? Вы то родили уж, а я вот еще мучаюсь... А газеты как закричат. — «Сына-то поцелуйте, Глеб Иваныч», — говорит бабка и на сверток показывает. — Да зачем же вы это его в газеты завернули? — «Для теплоты, Глеб Иваныч, сверх пеленок бумага очень хорошо тепло держит, а в квартире, видите, у вас не так, чтобы жарко». — Ох, говорю, Фиона Кузьминична, плохое это предвещание: пойдет мальчик, как и я, по литературной части и будет весь век по-отцовски мучаться. — «Что это вы такое несообразное говорите, Глеб Иваныч? Поцелуйте лучше сына-то, вам говорю, и к Александре Васильевне пройдите: очень устала бедняга, теперь для нее каждое ласковое слово дорого». Поцеловал сына через газеты, иду к Александре Васильевне. Лежит, не шелохнется, чуть глаза открыла, улыбнулась и опять закрывает. Я наклонился, в лоб целую, а сам вдруг как вспомню: «но, ведь, читатель

не поймет, почему это так Петр в конце моего рассказа обрадовался! Надо бы сказать, что тут перед ним новая жизнь открывается!» И устремились, знаете, у меня мысли к главному герою... Хорошо, что Александра Васильевна от усталости сейчас же заснула. Я и пошел снова к себе в кабинет. А бабка говорит: «нужно вот за тем-то в аптеку сходить, да горничную в прачечной найти и сюда послать». И остался мой герой без призора. Прибавил я две строчки и отдал мальчику в типографию... А строгий критик, Чуйко или Евгений Марков, будет по тебе эстетическим аршином похлопывать да приговаривать: «уже не первый раз Г. Иванов портит свои вещи необоснованным, очень тенденциозным заключением». А заключение-то — у нарушителя эстетики дите родилось не во время, только и всего...

По контрасту с Успенским выплывает у меня в памяти образ другого беллетриста-народника, из-за которого временами велся даже спор, кто выше, Успенский или он: я говорю о Николае Николаевиче Златовратском. Мое знакомство с ним состоялось на первом же собрании членов предполагавшейся артели «Русского Богатства», без всяких приключений, и продолжалось до моего от'езда за границу и некоторое время после от'езда, когда в 1883 г. он прислал мне в Париж очень длинное — с печатный лист — и интересное письмо, пропавшее вместе со всем моим архивом в России, во дни столыпинской реакции.

Эта фигура была во многих отношениях противоположностью Успенскому. Среднего роста, сутуловатый, болезненный, Златовратский казался лет на пять старше Успенского, хотя на самом деле был на пять лет моложе. Его морщинистое лицо, большой утиный нос, глубоко сидящие голубые глаза, огромная лысина и рыжая окладистая борода лопатой, которую он вечно расправлял из-под шеи, придавала ему вид не то сельского священника, не то раскольничьего начетчика, на которого он смахивал и своею витиеватою книжною речью с «володимирским» говором. Его протекшая в тяжелых условиях молодость, материально

необеспеченная и порою неправильная жизнь (временами Николай Николаевич сильно пил в этот период) жестоко подорвали его видимо некрепкий организм.

Когда я познакомился с ним, он был воплощением трезвости и умеренности. Но нервы его оставались чрезвычайно расшатанными. Он даже страдал особого рода агорафобией: он не мог ехать один в открытом экипаже, — пролетке или санях, все равно. Приходилось сидеть с ним с какой-то определенной (кажется, левой) стороны и все время крепко поддерживать: ему, как и Паскалю, казалось, — только во время движения, — что с одного бока у него находится пропасть, куда он упадет. Слезая с извозчика, он сам смеялся над своей фантазиией, но для езды нуждался в товарищах. Характерна была его походка. Он передвигал ноги прямо вперед, скользя как на лыжах и словно боясь оступиться, а когда повертывался, то сразу на обоих каблуках. Очевидно у него было изрядное расстройство двигательных центров. В память мою особенно врезался страдальческий вид Златовратского, когда он взбирался, бывало, тяжело дыша и опираясь на вас, по лестнице, или когда в морозный день, утонувши головой в об'емистую барашковую шапку и закутавшись в огромный огненного цвета шарф, он целыми минутами кашлял у под'езда, дожидаясь, пока ему найдут извозчика. Не знаю, как в деревне, но в Питере он ходил вообще мало...

Родственники не чаяли в нем души, берегли его как зеницу ока и все время боялись за его здоровье. У меня до сих пор сохранился в памяти пугливый, немного птичий взгляд карих глаз его преданной, видимо тоже очень нервной жены, которая следила за малейшим движением «Николеньки», оберегая его от неприятных ощущений: «Николенька» был человек добрый, но очень впечатлительный и способный раздражаться по пустякам, а это опять таки отражалось на его здоровьи, чаще же на его речи... Речь Златовратского носила большею частью несколько книжный, иногда даже напыщенный характер. Но раздражение вкрап-

ляло в нее, совсем как у начетчика-сектанта, забавные чисто народные выражения, и слушатель оставался под несомненным впечатлением этой в общем интересной беседы. И все-таки это не была речь Успенского, как и беллетристика Златовратского сильно отличалась от беллетристики Глеба Ивановича.

Когда мне приходилось быть одновременно в обществе обоих великих антагонистов, — как считали их тогда, — я не мог отделаться в уме от чисто народного сравнения, очень распространенного в центральных местностях России, между «докой природным» и «докой ученым». Дока природный — это такой колдун, который с самого рождения обладает даром совершать удивительнейшие вещи, как на добро, так и на зло людям, и при том без усилия, без напряжения. Дока ученый — это колдун, которому много пришлось повозиться над черной наукой, и многое он может сделать, столь многое, что почти все, только доку природного побороть не может. Оттого-то в наших местах, на богатой мужицкой свадьбе, старались в мое время прежде всего обеспечить присутствие доки природного, которого и сажали на самое почетное место, под образами, рядом с посаженным отцом, а доке ученому тоже почет оказывали, но не столь большой, а в соответствии с меньшими размерами его волшебной силы. И чуть было дока ученый начнет капризничать, приводя в трепет присутствующих, сейчас-же раздается авторитетный голос доки природного:

— Ты, дядя Михеич, не очень-то кочевряжься: живо за волосы к полатям притяну, там и повиснешь. Ты, ведь, меня знаешь?..

Авгуры переглядывались, сами наполовину веря тому, что говорили. Второразрядный чародей смирялся перед высшим кудесником. Вся деревня это знала, и знали сами распорядители адскими силами: талант уступал гению.

В моих глазах Успенский был именно таким природным докой, как Златовратский докой ученым. У Златовратского

был талант, значительный талант, у Успенского если не все, то некоторые свойства гения. Замечательно, что и на живой речи обоих сказывалась та же разница, как и на их писаниях. Златовратский повествовал, ораторствовал, даже риторствовал, старался доказать, убедить, наконец просто заговорить. Успенский рисовал, показывал нарисованное с разных сторон, порою с самой неожиданной стороны, заставлял говорить больше самих людей, сами вещи, и только в недоуменном, сократическом вопросе подсказывал вам, но подсказывал со всею силою внушения, вывод, связывающий воедино рассыпанную еще за минуту перед тем груду фактов.

Порою красноречиво, порою прямо величаво было живое слово Златовратского, который и в разговоре обнаруживал немалую, и не только по беллетристике, начитанность. Но почему же от него не перескакивали на вас те электрические искры внезапного просияния, будящей мысль интуиции, которые то и дело ударяли по вас при рассказе Успенского, редко цитировавшего, редко даже упоминавшего какого-нибудь автора, а все больше свои наблюдения или и печатный, но тогда по большей части газетный сырой факт? Преимущество гения, неполного, одностороннего, идущего больше в глубь, чем в ширь, порою обрывающего нить рассуждения на полдороге, но все-же гения, над широким, гармоническим, полноводным талантом!. .

Я высказываю здесь, конечно, свое личное мнение, как высказывал его и тогда, зная, что у Златовратского были свои восторженные почитатели, ставившие его неизмеримо выше «тенденциозно-пессимистического» Успенского. На что пламенные приверженцы Успенского отвечали низведением Златовратского до степени подражателя Григоровичу, пропитывавшего свои повествования «елеем благодушного оптимизма». И мне помнится забавная стычка между двумя студентами, чуть не порвавшими многолетней дружбы из-за сравнительной оценки двух авторов:

— Хорош, мой друг, ваш Успенский, который из-за нескольких деревенских «охотников за барином» произвел весь русский народ в скоты!

— Все лучше, мой друг, вашего Златовратского, который даже снохачество идеализировал и показал, что так и должно быть, когда двадцатилетний сын надрывается над работой, а сорокалетний отец вошел в силу и отдыхает, когда хочет... И даже розовой водицей снохача окропил!..

Эта вечная борьба восторженных поклонников того и другого писателя отражалась даже на отношениях между собою Успенского и Златовратского, влияя особенно на последнего, более нервно заботившегося о своей литературной репутации. Сами по себе оба они довольно беспристрастно оценивали взамные достоинства друг друга и не подчеркивали чужих недостатков. С людьми, которые не принадлежали к категории безусловных сторонников ни того, ни другого, они говорили друг о друге даже не без симпатии. Но среди своих приверженцев, окруженные атмосферой чрезвычайного почтения, они невольно поддавались влиянию своего хвоста и в писаниях считали нужным подчеркивать свою разницу, а в частной беседе отзывались один о другом более резко, чем справедливо. Опять таки особенно Златовратский.

Явление это, конечно, старо как мир. Еще римский интересный анекдотист Авл Геллий посвятил одну из своих «Аттических ночей» той теме, что сами главы различных философских школ в Греции считались потому только врагами, что жестоко враждовали между собою их ученики. Но давность явления — плохое утешение. Во всяком случае борьба школ Успенского и Златовратского не способствовала сохранению добрых отношений между представителями двух противоположных, как казалось тогда, течений народнической беллетристики. И порою можно было наблюдать, как Успенский и Златовратский любезно, даже чересчур любезно беседуя друг с другом в общем журнале или каком-нибудь нейтральном доме, старались избегать всякого

серьезного разговора и откровенного высказывания мнений. Тем с большею внимательностью всматривались они друг в друга, а порою сосчитывались в литературе.

Однажды вышло так, что Салтыков втечение нескольких месяцев помещал в «Отечественных Записках» статьи обоих антагонистов попеременно, в одном номере одного, в следующем — другого. Златовратский, взвинченный своими друзьями, воспользовался этим обстоятельством, чтобы полемизировать каждый раз с предшествовавшей статьей Успенского, не прямо, конечно, — что было-бы несовсем удобно в одном и том же издании, — а лишь демонстративно противоставляя фактам и выводам Успенского свои как раз противоположные, пока, наконец, Щедрин не прервал этого одностороннего диалога: «что это вы, Николай Николаевич, от Успенского, как от печки, взялись танцовать? Или своего нечего сказать?» А сам Успенский на квартире Кривенки забавно жаловался, указывая на противоположную сторону «Подневского», где жил Златовратский: «и моя жизнь не слаще царской: завелся и у меня свой Кобозев (дело было после первого марта), все высматривает, куда я выеду в «Отечественных», а как только высмотрит, сейчас же взрывает подо мной... Мы вот с вами здесь чай пьем и благодушествуем, а супостат мой напротив все ходит и на пятках повертывается и думу думает: «где бы мне это Успенского залучить?» Уж всю мою статью отметками исчеркал... Теперь мину заряжает... Я отсюда вижу».

Со мной Златовратский избегал говорить об Успенском, зная, что я ужасно люблю Глеба Ивановича, а когда говорил, то поднимая при этом принципиально вопрос о судьбах нашего народничества. Летом 1880 г., когда мы усердно работали над первыми номерами нашего «Русского Богатства», Златовратский, несмотря, казалось бы, на совершенную определенность своего мировоззрения, испытывал, как и многие другие, в этот период немалые колебания. С одной стороны, он с удовольствием передавал мне черно-передельческие мнения Плеханова, который часто бывал у него

в это время, доживая свои последние месяцы в России. С другой, его привлекала политическая часть программы «Народной Воли» с ее требованиями свободы устного и печатного слова и вообще мнений, что, по его убеждению, пойдет только на пользу великому русскому народу, сохранившему свои «устои». Отголоски этого колеблющегося настроения звучали и в его немножко водянистых и чересчур витиеватых, но не безынтересных публицистических статьях, которые он помещал на страницах «Русского Богатства» под псевдонимом Н. Оранского.

Что касается меня, то мой тогдашний быстро слагавшийся, но далеко не сведший концы с концами «марксизм» удерживал меня на распутьи между «Народной Волей» и «Черным Переделом»: по совести я не мог примкнуть ни туда, ни сюда. От одного течения меня отделяло мое скептическое отношение к розовым надеждам, возлагаемым на идеализированного мужика, от другого — такое же скептическое отношение к возможности осуществить «передовую» политику на почве отсталой «экономики». Преобладающее значение я придавал в это время экономическим отношениям, и, если не ошибаюсь, впервые даже ввел в русскую литературу удобное слово «экономика» для обозначения всего общественного строя, взятого с его хозяйственной стороны. Я, однако, не мог изложить тогдашних своих взглядов на этот вопрос подробно и открыто в большой радикальной прессе. «Отечественные Записки», которые только-что возвратили мне мою первую большую статью за ее «антинароднический дух», были мне закрыты в этом отношении. И та же статья, напечатанная в «Русском Богатстве» по предложению Кривенки и Успенского, была встречена недружелюбно некоторыми из артельщиков журнала, особенно Бажиным, который, несмотря на свой ветхозаветный радикализм, принял участие в новом издании и начинал в нем играть роль, не соответствующую его тогдашнему — малому — значению в литературе. Дело в том, что в поисках издателя — операция по тому времени затруднительная —

мы должны были пригласить на этот фиктивный пост (ибо деньги были артельные) жену Бажина, Серафиму Никитишну, усердно хлопотавшую за нас при столкновениях с цензурным ведомством, и Бажин входил в журнал до известной степени, как муж своей жены.

У него был почти всегда естественный союзник в лице Павла Владимировича Засодимского, который многим, только не своей внешностью (он был худ, белокур и спицеобразен), напоминал мне его. Подобно Бажину, он был человеком редкой честности, бессребренником, не могшим даже в тисках самой большой нужды писать где попало из-за денег. Но, подобно Бажину, он закостенел на известных идеях, — на тенденциозном народничестве начала 70-х годов, как Бажин на радикализме '60-х. У Бажина был имевший в свое время успех «Степан Рулев», у Засодимского — некогда популярная «Хроника села Смурина», которою мы зачитывались при ее появлении в «Отечественных Записках» 1874 г. во дни нашего социалистического младенчества. И как Бажин совершенно искренно думал, что со времени «Рулева» русская беллетристика ничего не дала серьезного и идейного, так и Засодимский держался подобного же пессимистического взгляда, только начинал период литературного упадка несколько позже, а именно с половины 70-х годов, когда его смуринский кузнец, тоже вскормленный порохом и дробью (по выражению Глеба Успенского) совершал невероятные подвиги в роли сельского агитатора. Засодимский и Бажин всегда очень энергически возражали против моих предложений познакомить читателей «Русского Богатства» с теорией Маркса, и, не желая обострять отношений между артельщиками, я не настаивал на своих планах.

Но не мог я воспользоваться для изложения своего мировоззрения и «Делом», где Благосветлов все резче и резче высказывался по поводу всяких новшеств, допускаемых Шелгуновым, и как раз летом 1880 г., после возвращения с каникул, ужасно напал на Николая Васильевича, поместившего (может быть, действительно без достаточных оговорок)

на страницах всегда дотоле стоявшего за свободу торговли «Дела» сочувственную статью, не помню чью, об экономической политике Северо-Американских Штатов, где, мол, сами рабочие одобряют в данный момент покровительственные пошлины. Я был тут не причем, тем более, что протекционизм вовсе не вытекал из марксизма, но Благосветлов был настроен теперь к новым людям и в частности ко мне очень подозрительно...

А пока круг моих литературных знакомств быстро расширялся, тогда как мне приходилось все реже и реже встречаться с моими радикальными друзьями и знакомыми первых лет петербургской жизни. К тому времени Александр Богданович умер, Арцыбушев был выслан на север, Мурашкинцев часто уезжал в Москву, в Москве же поселилась сейчас же примкнувшая к «Народной Воле» Ашанина. Из землевольцев, оставшихся верными прежнему направлению, которое получило теперь название Черного Передела, мои знакомые Ольга Натансон, Адриан Михайлов и Сабуров-Оболешев были арестованы. Халтурин после взрыва дворца уехал по приглашению партии Народной Воли, кажется, на юг, а с его исчезновением из Питера ослабели мои связи с здешними рабочими, среди которых происходила тоже борьба между двумя течениями.

Существовало, однако, место в Петербурге, где я встречал одновременно и радикальных литераторов, и революционеров, принадлежащих по большей части к народовольческому течению. То была устроенная группой левых писателей библиотека на Невском, где библиотекарем состоял Александр Иванович Эртель, высокий, в то время худой, бледный, болезненный молодой человек, который тогда еще только подготовлялся стать беллетристом и, по его собственным в минуту откровенности наивным словам, «еще не знал, кого ему взять за образец, «пессимиста Успенского или оптимиста Златовратского», а пока что посылал довольно безуспешно в разные редакции рассказы из провинциальной жизни, напоминавшие своими мужиками и своими помещи-

ками прежние тургеневские типы, лишь слегка подправленные в соответствии с изменившейся за четверть века обстановкой. Расцвета таланта Эртеля, — таланта, по моему мнению, изрядно преувеличенного критикой злополучных 80-х годов, — я уже не дождался в России.

Когда я знал Александра Ивановича в Питере, то был услужливый, немножко грубоватый человек, действительно, «степняк» (как он удачно характеризовал себя своим псевдонимом), похвально старавшийся пополнить чтением и беседой с знающими людьми пробелы своего скудного образования. Много лет спустя я встретился с ним в Париже. Он поздоровел, сильно пополнел и, признаться, произвел на меня несовсем благоприятное впечатление тою самоуверенностью, с какою он говорил об особенностях «культурного» Запада, где он бывал налетом, и притом не зная ни одного даже из главных европейских языков. Вероятно, он считал необходимым взять этот тон со мной, чтобы поддержать свою репутацию «культурного» писателя, созданную ему все той-же снисходительной критикой. Нисколько не желая обижать неплохого, неглупого и любезного человека, я принужден был однако в самой общей форме высказать то мнение, что импровизировать себя знатоком такого сложного явления, как культура, и притом культура чужая, невозможно, и что даже люди, целыми годами дышащие здешнею атмосферою, нередко натыкаются на большие сюрпризы: французский буланжизм, английский джингоизм, культ Гогенцоллернов в Германии. Не все сплошь хорошо и на «культурном» Западе!..

Но я страшно забежал вперед и возвращаюсь к 1880-му году. В библиотеке Эртеля (смутно помнится, имевшей какое-то отношение к знаменитой во время оно черкесовской библиотеке) встречались литераторы из «Отечественных Записок», «Дела», «Слова», нашего артельного «Русского Богатства», а из революционеров — Анна Павловна Корба, Никитина, племянник Станюковича Тригони, Александр Иванович Иванчин-Писарев, Тихомиров, (последний, впро-

чем, бывал здесь редко и придет знакомиться со мной ко мне на квартиру после одной из моих статей в «Деле», о чем ниже).

В моих давнишних воспоминаниях о Тургеневе, Гаршине и Шелгунове я обрисовал фигуры некоторых из наиболее интересных представителей литературы того времени и не возвращусь к тем между ними, которые были, по моему мнению, достаточно обрисованы в этих воспоминаниях. Но мне хотелось бы коснуться здесь тех, которые раньше мною были, по разным причинам, или совсем пропущены, или охарактеризованы лишь вскользь. Среди литераторов этой категории образ Николая Федоровича Анненского особенно живо восстает в памяти.

Служа по статистике в одном из министерств, он однако нисколько не походил на классического геморроидального чиновника Петербурга, а своей плотной фигурой и здоровым розовым лицом, заросшим черной бородой, напоминал скорее купца из «образованных». Когда я его впервые увидал весною 1880 г., ему было далеко за тридцать, но своею живостью, и даже я бы сказал, некоторою бурливостью темперамента, он производил, особенно в обществе, впечатление гораздо более молодого человека. Его остроумие было неистощимо, и забавные слова, сравнения, анекдоты набегали так же естественно на его хорошо поворачивающийся язык, как пузырьки газа на поверхность бокала с шампанским. Конечно, не всегда эти остроты были одинаково удачны, — и он сам первый добродушно посмеивался над какой-нибудь своей рискованной аналогией, — но порою они взрывали, как великолепная ракета, или наоборот поражали многозначительностью, которая лишь прикрывалась шутливой формой.

Ибо Николай Федорович был не только остроумен, но и умен, чрезвычайно умен, и его ум, живой и ясный, быстро схватывал суть вопроса и повертывал его надлежащей стороной к собеседнику, читателю, аудитории. В те сравнительно молчаливые времена Анненскому приходилось редко

выступать оратором, но чувствовалось, что он лучше говорил, чем писал (составляя в этом противоположность Михайловскому, речь которого, порою очень интересная и всегда содержательная, страдала излишним лаконизмом и не давала представления об этом замечательно оригинальном и сильном писателе). Но Анненский умел и как следует писать, и некоторые его анонимные статьи, например, об экскурсиях наших дельцов в область науки, — в особенности, если не ошибаюсь, железнодорожника Блиоха, — приписывались Михайловскому. Превосходно удавались Анненскому и разборы, тоже анонимные, наших росписей и вообще финансовых вопросов, усиленно читавшиеся, если помнит читатель, Халтуриным и другими развитыми петербургскими рабочими.

Знал Анненский также хорошо экономические теории и экономические отношения Запада, и я помню, с каким живым удовольствием я проговорил при первом же знакомстве с ним целый вечер о становившемся тогда модным у нас в некоторых профессорских кругах катедер-социализме. Я резко, чисто по юношески нападал на всех этих Шмоллеров и Вагнеров, которые уже в первый период бисмарковской реакции, направленной против германских социалистов, забыли всю свою «этику», чтобы двинуться, одни больше, другие меньше, по пути бисмарковского же, прусского, бюрократического социализма. Анненский, отнюдь не отказываясь от критики этической школы, напирал больше на историческое значение нового направления, как серьезного признака крушения старого манчестерства. Я вынес из этого разговора самое приятное впечатление, а Анненский высказал Кривенке обо мне мнение, которое очень обрадовало, но больше смутило меня (Николай Федорович нашел во мне идейное сходство с тем самым крупным писателем 60-х годов, которого я напомнил и Шелгунову).

Вскоре Анненский был выслан не то в Казанскую, не то в Вятскую губернию, и это распоряжение, столь мало, казалось бы, соответствовавшее режиму «диктатуры сердца»,

наглядно свидетельствовало о том, как прав был Михайловский, характеризуя в «Листке Народной Воли» политику Лорис-Меликова картинным выражением «лисий хвост и волчьи зубы». Всемогущий диктатор был отнюдь не на высоте положения, куда его вознесла судьба и воля Александра II, совершенно потерявшего голову после взрыва дворца. Гораздо более азиатский, чем европейский политик, Лорис-Меликов воображал, что Россию можно было вывести на путь правильного прогресса под знаменем мнимо-либерального царизма, делая крошечные уступки так называемому общественному мнению и в то же время всячески преследуя революционеров, т. е. как раз тех людей, в которых наиболее ярко выражалась тяга страны к новым формам политической власти. Между тем оппозиционное настроение все усиливалось в обществе, и «Народная Воля» начинала встречать сочувствие среди левых либералов и легальных радикалов. Это сказывалось и на усилении связей между надпольной и подпольной литературой, и на учащавшемся появлении в обществе людей, которые с одной стороны принадлежали к революционным организациям, а с другой не отказывались от легальной оппозиционной деятельности.

Здесь мне хочется помянуть добрым словом человека, с которым я был одно время очень близок и с которым мне пришлось разойтись в последние годы его жизни по причинам чисто личного характера: я говорю об Александре Ивановиче Иванчине-Писареве. Те, кто видел его в эти годы помятым жизнию, людьми и обстоятельствами, с трудом узнал бы в нем Иванчина 80-х годов, тридцатилетнего, прекрасно сложенного, изящного господина с правильными чертами лица, рыжеватыми усами и бородкой, светлыми, умными глазами и огромным запасом смелости, жизнерадостности и юмора. Я познакомился с ним в библиотеке Эртеля, а первый обстоятельный разговор имел в редакции «Русского Богатства», куда после пушкинского празднества в Москве 1880 г. он принес об этом торжестве славную

статейку, напоминавшую слегка манеру Успенского, но отнюдь не являвшуюся простым подражанием ему (с Успенским, как и с Михайловским, Иванчин очень дружил).

В это время Александр Иванович жил нелегально, но я знал, кто беседует со мною под чужою фамилиею (ныне забытою мною), под которою он был известен в литературных кругах и либеральных домах Петербурга. Мне было известно, что в половине 70-х годов он был за границею, познакомился, но не очень сошелся с Лавровым и даже участвовал, если не ошибаюсь, в составлении резкого письма, написанного Петру Лавровичу Кравчинским с бунтовской точки зрения, вращался одно время среди французских коммунаров-изгнанников в Швейцарии, даже упомянувших его в одном из своих ежегодных политических альманахов, как «богатого русского помещика, который отдал свое большое состояние на дело революции». Знал я также, что одним из первых он перешел в ряды Народной Воли и что его статья в «партионной» (тогда еще не говорилось «партийной») газете, подписанная «Кудрящев», произвела значительную сенсацию в революционном мире указанием на невозможность работы в деревне при данных политических условиях.

Иванчин, участвовавший — негласно — в редакции «Слова», знакомый с редакциями «Отечественных Записок» и «Дела», а теперь старавшийся стать своим человеком в «Русском Богатстве», показался мне хорошо осведомленным относительно идейной физиономии интересовавших его литераторов, между прочим и относительно моей. Политично и издалека он стал распрашивать меня, куда лежит моя душа, как я смотрю на новое революционное течение, и насколько оно соответствует моему мировоззрению. Я ему ответил откровенным исповеданием своего тогдашнего символа веры, согласился с постановкой вопроса о деревне в «Народной Воле», но в конце концов сказал, что, не разделяя позиции чернопередельцев, я не удовлетворен обоснованием программы и у их противников. На том мы

пока и расстались. И я ждал, все ждал случая развить мои взгляды в печати.

Такой случай представился однако лишь несколько месяцев спустя. В начале ноября 1880 г. Благосветлов скоропостижно умер, впервые допустив на страницы своего журнала мою большую статью за подписью: «Штопанье мужицкой сермяги» (по поводу проекта устава земского банка мелкого земельного кредита). Смерть диктатора «Дела» вызвала большое волнение среди лиц, принимавших близкое участие в издании. Прежде всего можно было опасаться, что исчезновение старого руководителя журнала как раз перед подпиской отразится на материальной стороне: у «Дела» были давнишние читатели, которые привыкли к этому органу, отчасти даже воспитались на нем, и которые могли покинуть его как раз теперь, в виду неопределенности дальнейшей судьбы журнала, его направления и т. п. После нескольких колебаний, жена Благосветлова, становившаяся его наследницей и очень мало понимавшая в литературе, решила вверить судьбу издания Шелгунову, который делался и действительным, и формальным редактором журнала.

Человек глубоко идейный, но мягкий и покладистый, Николай Васильевич был поставлен теперь судьбой на трудный пост у руля большого журнала, курсу которого давала направление жесткая и властная рука Благосветлова. Шелгунов чувствовал потребность обновить идейно «Дело», но понимал также, что этого нельзя было осуществить сразу, в виду аудитории привычных читателей и старого состава редакции. Он решил оставить пока беллетристический отдел журнала в руках Бажина, который становился его соредактором, но в «серьезном» отделе он сейчас же принялся за реформы.

В то время он очень любил меня, и ему казалось целесообразным обратиться ко мне за содействием в его преобразовательных планах. Привлечь меня к редактированию он, однако, считал рискованным, так как и без того мои теоретические противники, в роде Бажина и других вете-

ранов «Дела», очень недружелюбно смотрели на меня и создали мне среди своих приверженцев незавидную репутицию самоуверенного всезнайки, который не обращает надлежащего внимания на заслуженных литературных деятелей и повсюду претендует на первые места (этого у меня как раз никогда не было, и враждебное отношение ко мне со стороны немножко старозаветных, но глубоко благородных людей меня сильно огорчало). За то Шелгунов «отдавал в мое полное распоряжение» какое угодно число страниц второго отдела, где я мог и в больших статьях, и в заметках, и в рецензиях высказывать совершенно свободно свои взгляды.

— Милый Н. С., — говорил мне, чуть-чуть улыбаясь своей добродушной и вместе иронической улыбкой Николай Васильевич, — попробуем общими силами освежить «Дело»: вы же все мечтали об органе, где новая теория могла-бы найти место... Вы хотите проводить идеи Маркса, — проводите, я даже иду дальше: б у д е м проводить Маркса! Не могу сказать, чтобы я целиком разделял его идеи, во всяком случае они меня не только не пугают, но многому в них я прямо сочувствую... У меня во время оно, как вы знаете, была даже статья в «Современнике» об Энгельсе... Будем только искренно, без всяких умолчаний и оглядываний в сторону, говорить в журнале о том, во что мы верим и что мы считаем истиной: читатель отзовется на слово, проникнутое убеждением.

В результате этого разговора я пережил несколько счастливейших месяцев в моей жизни, когда, поощряемый Шелгуновым, я вплотную принялся за совершенно свободное высказывание того, что «считал истиной». Ряд больших статей, масса рецензий, которые часто разростались до размеров статей, были внешним проявлением моей лихорадочной деятельности. Но я не ограничивался писанием, которое занимало у меня кстати не более недели в месяце, так как я в то время держался плохой русской привычки откладывать очередную работу до самого последнего момента, а затем

писать запоем, несколько дней сподряд, еле перехватывая пищу и просиживая с пером в руках бессонные ночи. Остальное время я читал взасос с утра до вечера, чтобы следить за текущей литературой отделов (главным образом экономического и общественного), порученных мне Шелгуновым, и, кроме того, изучать труды тех классических экономистов и социалистов, с которыми я не был знаком до сих пор или знал только из вторых рук и по изложениям.

Печатая в журнале ежемесячно более двух, порою более трех листов, пропуская массу печатного материала через голову и стараясь удержать в ней и обобщить то из него, что могло лучше обосновать мое мировоззрение, я страшно уставал, но уставал радостно. Я чувствовал, что мои писания начинают находить отзвук в читателях и пользоваться некоторым успехом, по крайней мере в революционных кругах, где всякий вопрос, хотя бы самый теоретический, расценивался с точки зрения его приложимости к действительности, которая в то время становилась все более и более мятущейся. Редакция начала получать хвалебные и ругательные письма на мое имя. Каждая из моих очередных статей рекомендовалась студентами для прочтения на тех особых табличках, которые тогда вывешивались в библиотеках университета и других высших школ и заключали заглавия вещей, заслуживающих внимания. А после одной из них ко мне пришел знакомиться Тихомиров и предложил мне участвовать в редактируемой им вместе с двумя другими товарищами «Народной Воле».

Эти-то мои статьи, писанные в конце 1880 и начале 1881 г., и внушили много лет спустя М. И. Туган-Барановскому забавную мысль сказать по поводу их в последнем издании своей работы о «Русской фабрике», что вот, мол, появился было в те сравнительно далекие времена в России интересный марксистский писатель, некий Русанов, но скоро исчез с литературной арены (я должен для ясности напомнить читателю, что втечение моей эмигрантской жизни, длившейся около четверти века, я был «нелегальным» че-

ловеком и не мог участвовать под своим именем в литературе).

Тут, пожалуй, не мешает упомянуть об этих произведениях моей юной экономической и социологической музы. Не лишена, между прочим, некоторого интереса моя критика взглядов начавшего в то время печататься в «Отечественных Записках» В. В. (Василия Павловича Воронцова). Этот оригинальный, но односторонний писатель выдвинул положение, что в России капитализм совершенно невозможен, ибо ему приходится вступать слишком поздно, когда мировой капитализм захватил уже почти все рынки, и поэтому русский капитал, не могущий развивать производство, а только обездоливающий народные массы, в случае торжества осуществил бы лишь возмутительную и невероятную картину блуждания по всей стране целых толп обезземеленных крестьян, не находящих работы на чересчур редких фабриках.

Полемике с этим утверждением и была посвящена моя статья «Против экономического оптимизма» (декабрь 1880 г.), в которой я возражал против приема опровергать возможность известных общественных явлений указанием на их возмутительность: «ужасы не бледнеют пред суб'ективной оценкой их ужасности, не исчезают из жизни ради боязни возмутить нравственное чувство наблюдателя, а назойливо выставляют вперед свою Медузину голову, как бы говоря: на, полюбуйся!» В частности я считал вполне возможным широкое распространение у нас капитализма в его, как Маркс называет, мануфактурной форме, а именно в форме эксплуатации скупщицким капиталом маленьких заведений наших кустарей-мастерков. По отношению же к сельскому хозяйству, и в частности по отношению к нашей земельной общине, я отказывался решать вопрос о судьбах последней на оснований абстрактных соображений, в роде того, например, что она должна неизбежно проходить через период разложения, согласно гегелевской триаде, но восставал и против мнения, будто с нашей исконной формой зем-

левладения можно проделывать что угодно — и все-таки она не разложится: «Мы не думаем, что община неизбежно должна пойти временно на выучку к капитализму, но не думаем также, что она неизбежно всегда и везде останется целой и невредимой в переходное время под напором капитализма». Все дело, говорил я, в окружающих условиях, а в России они становятся таковы, что общине нанесены уже во многих местах серьезные удары. Но, указывая на это положение вещей, я увещевал не складывать рук и заключал статью обращением к читателю: «Нам нужно работать, нужно бороться против капитализма, а не убаюкивать себя иллюзиями о том, что русский капитализм хил, что он у нас не разовьется». Кстати сказать, пятнадцать-двадцать лет спустя моей фразой об отрицании неизбежности «пойти на выучку к капитализму» довольно курьезно воспользуется наш тогдашний узкий марксизм, превратив ее в положительный лозунг и так-таки и утверждая, что нам *надо* «идти на выучку к капитализму».

В двух других больших статьях: «Наши катедер-экономисты» (ноябрь 1880) и «Преемственность экономических аксиом» (январь 1881), я и в полемической форме, разбирая курсы политической экономии профессоров Э. Вредена и А. Антоновича, и в положительной, оценивая общее историческое значение трудовой теории стоимости, старался на примере некоторых наиболее крупных предшественников Маркса и самого Маркса показать, как мысль об измерении (меновой) стоимости трудом, уже довольно давно высказанная в науке о народном богатстве, постепенно становилась наиболее научной теорией для об'яснения явлений менового хозяйства. Не лишено интереса, что я озаглавил свою статью гораздо более скромно: «Предшественники Маркса», а название «Преемственность экономических аксиом» ей дал Шелгунов, полагая, что оно лучше выражает содержание моего этюда, и одновременно желая дать понять мне, что в этом вопросе он вместе со мною безусловно на стороне Маркса!

Еще одна большая статья, «Экономика и политика» (март 1881), была посвящена мною, как показывает само название, социологическому вопросу о том, в чем лежит главная причина общественных явлений. В ней я становился целиком на точку зрения Маркса об основном значении отношений производства, а применительно к России, хотя и не называя ее ради цензуры, но в очень прозрачной форме, делал тот вывод, что, когда экономическое ядро не созрело в данной стране, то содрать политическую оболочку значило бы не решить социальный вопрос, а проделать лишь очень опасную операцию над общественным организмом. С другой стороны в этой статье, как и в предшествующих, я пытался доказать, что, наоборот, когда экономика достаточно продвинулась в известном обществе, то она в своем развитии увлечет и политику, и политика эта будет непременно решать назревшие экономические задачи: «стоять на почве экономических стремлений, на почве решения «вопроса желудка» вовсе не значит отказаться от политической деятельности. Экономическая борьба непременно должна выразиться в политической борьбе, и вот тут-то действительно нечего открещиваться от политики... «Борьба класса против класса есть борьба политическая» (Маркс)... Экономический процесс создает цели и предварительные условия борьбы, которая из экономической области переходит в политическую и завершается политической борьбой между классами».

Но и больших статей, казалось мне тогда, было еще недостаточно для скорейшего ознакомления русских читателей с идеями Маркса и с их приложением к нашей действительности. Я придирался к самомалейшему случаю, к появлению той или иной «новой» книги, чтобы развивать точку зрения, на которой я тогда стоял, в отделе рецензий. Так я воспользовался появлением в 1881 г. русского перевода французского «Курса политической экономии» Шторха, чтобы дать подробный разбор его определения стоимости, как «приговора суждения о годности предметов». По по-

воду сочинения И. Иванюкова «Основные положения теории экономической политики» я резко противополагал межеумочности катедер-социалистической школы определенность «анти-буржуазных мыслителей» в области политической экономии, и опять таки прежде всего Маркса. А в рецензии на пасквиль Лютостанского «Талмуд и евреи» остановился на антисемитизме Дюринга, только для того, чтобы высказать вообще решительное предпочтение мировоззрению Маркса по сравнению с «социетарной системой» берлинского философа.

Позже я узнал, что эти мои статьи и рецензии, писанные в духе марксизма, или, точнее говоря, моего тогдашнего представления об идеях Маркса, резко осуждались Михайловским, который решительно стал на сторону «Народной Воли», содействовал, насколько мог, популярности партии в обществе и от времени до времени помещал под псевдонимом Гроньяра в ее органе много читавшиеся тогда «Политические письма социалиста». Он счел даже нужным помочь фактами и идеями Тихомирову при составлении последним возражения на мою статью об «Экономике и политике». Возражение это под заглавием «К вопросу об экономике и политике» появилось в майском номере «Дела», уже после того, как удавшееся на сей раз первого марта покушение на Александра II завершило первый акт великой исторической борьбы между самодержавием и «Народной Волей»...

Но до появления возражения Тихомиров приходил ко мне знакомиться с целью сговориться о возможности моего участия в литературе партии. Мы оба не понравились друг другу. На меня произвели неприятное впечатление его постоянно бегающие из стороны в сторону глаза (я не знал, что он страдал нистагмом), его бакенбарды, тогда подстриженные á la Александр II, и его страшно неровная, я бы сказал, порожистая манера говорить, то медленно и как будто вдумчиво перебирая вместе с собеседником аргументы за и против известных положений, то вдруг прерывая об-

суждение вопроса безапеляционным, но отнюдь не убедительным логическим — лучше сказать нелогическим — декретом. Я не предчувствовал, что года два спустя, за границей, я близко сойдусь с этим человеком и ужасно полюблю его, так что еще несколько лет спустя его измена делу социализма и русской революции будет для меня тяжелым личным горем. Но об этой непростой и интересной фигуре я буду вплотную говорить во втором томе своих воспоминаний.

Тихомиров начал свой разговор с того, что стал чрезвычайно одобрять найденную им в моих статьях мысль Маркса о политической революции, которая не может не решать существенные экономические задачи: «если это марксизм, то мы, народовольцы, чистейшие марксисты, и притом марксисты не в теории только, а и на практике, на почве самой решительной деятельности. Такой марксист, как вы, может с чистым сердцем идти рука об руку с нами». Но когда мы перешли к вопросу о том, что же все-таки такое политическая революция и при каких условиях она может осуществиться, то сейчас же обнаружилось и наше расхождение во мнениях. Меня поразил в Тихомирове не его якобинизм, — ибо якобинизм продолжал мне оставаться симпатичным, — но форма его якобинизма, уверенность в том, что даже при неразвитых экономических отношениях можно произвести самую коренную социальную революцию, лишь бы существовала крепко организованная политическая партия. «Организация — это все, это краеугольный камень общежития», — все более и более жестко повторял Тихомиров, — «без организации даже наша солнечная система не сложилась-бы». (Эту мысль, но очевидно смягченную Михайловским, Тихомиров будет развивать и в своем возражении мне, уже вдвигая организацию в ряд других общественных факторов).

Меня же такая самодовлеемость принципа организации не удовлетворяла: «и в политическую организацию экономика

должна вливать известное социальное содержание, значит, основная пружина революции всегда в отношениях производства», — не без односторонности повторял и я. А главным образом меня поражало, что Тихомиров писал в «Деле» под псевдонимом И. Кольцова (этот псевдоним, как и соответствующие инициалы И. К., должны были означать «Исполнительный Комитет Народной Воли») интересные обозрения жизни и печати, — «Литературные заметки», «Неразрешенные вопросы», — где выдвигалась не узко якобинская, а широко общественная точка зрения. И я не мог путем свести во-едино взгляды сотрудника «Дела», Ивана Григорьевича Каратаева (под таким именем вращался тогда в питерских литературных кругах Тихомиров), и взгляды одного из руководителей «Народной Воли». Мы расстались холодно.

— Ну, что, Иван Григорьевич, были вы у Русанова? — спрашивал на следующий день Шелгунов пришедшего к нему члена Исполнительного Комитета.

— Да что, знаете, Николай Васильевич? Ваш Русанов все сверлит одним сверлом, своей излюбленной экономикой, и ни до чего досверлиться не может! На него приходится рукой махнуть.

— Был у вас Каратаев? — еще через день обратился ко мне с вопросом мой добрый Мефистофель.

— Ах, какое разочарование, Николай Василевич! Я был так заинтересован его статьями, а он все только «организация» да «организация» твердит... В заключение послал меня в звездное пространство для доказательства правильности народовольческой программы.

— Не сошлись: шли друг к другу навстречу, но по параллельным линиям, вот и не встретились, — промолвил несколько меланхолически Шелгунов и передал мнение обо мне Тихомирова.

XI.

Первое марта и мой душевный кризис. — Начало реакции. — Отношение общества и социалистов к Народной Воле — „Зерно". — Литературные среды. — „Устои". — Семевский, Венгеров, Станюкович. — Я уезжаю за границу.

А между тем, независимо от разговора с теоретиком народовольчества, независимо от каких бы то ни было его возражений, я шел навстречу «Народной Воле», но шел путем глубочайшего нравственного кризиса, в котором ум играл гораздо меньшую роль, чем чувство. На этом кризисе я считаю нужным остановиться, потому что он был пережит многими революционерами того времени. В центре этого огромного душевного потрясения было первое марта, т. е. насильственное устранение с политической арены главного представителя самодержавия. В моих воспоминаниях о Шелгунове, написанных десять лет спустя после убийства Александра II, я набросал картину настроений различных общественных слоев в Питере непосредственно вслед за взрывом бомбы на Екатерининском канале.

Растерянность обывателей и вместе с тем пугливо-вялое отношение их к совершившемуся. Политическая неподготовленность наших либералов, сказавшаяся, между прочим, в том, что социалисты принуждены были и прямо, и косвенно участвовать в составлении наиболее определенных заявлений либеральной печати о необходимости изменения политического строя. Очень приподнятое и оптимистическое настроение лишь среди сочувствовавших революционерам легальных писателей демократического и социалистического направления, в роде Шелгунова, Михайловского, приехавшего из-за границы Станюковича, московского Гольцева и т. п. Замешательство и перебитость взглядов на политическое положение среди так называемого общества. Пассивность, а порою и нелепые выступления, — не столько за царя, сколько против интеллигенции, — в низших слоях

столичного населения. И все это, повторенное в еще более хаотическом виде на огромном пространстве России.

Очень обдуманное и искусно составленное (главным образом Тихомировым при деятельном участии Михайловского) письмо Исполнительного Комитета к Александру III не могло произвести того политического действия, на которое расчитывала партия «Народной Воли», не могло уже потому, что предполагало сильное прогрессивное движение в стране, каковое должно было бы еще усилиться под влиянием смерти царя. Между тем такого действительно серьезного прогрессивного движения не было даже в дни расцвета Народной Воли. А теперь и то движение, которое существовало, быстро пошло на убыль как раз после удачного цареубийства.

Произошло очень любопытное явление. Несомненно, выступление боевой политической партии на арену русской жизни начало создавать немалое брожение в умах. И я выше отметил, что даже обыватель стал не без некоторого слегка жуткого любопытства вглядываться в растущую неизвестную, но грозную силу, а различные прогрессивные течения в обществе, начиная от еле-еле либеральных и кончая ярко демократическими, осязательно стали крепнуть со времени появления «Народной Воли». Но, — странный, казалось бы, парадокс, — это в широком смысле революционизирующее воздействие террористической партии шло по восходящей линии лишь до тех пор, пока партия не добилась той ближайшей и осязательной цели, которую она себе поставила: убийства царя. К этому именно времени относятся позднейшие признания ренегата Тихомирова относительно того деятельного сочувствия и денежной поддержки, какие «Народная Воля» встречала в либеральном лагере. Но как только Александр II был повержен, симпатии этих слоев к террористам сначала приостановились на одном уровне, а потом, словно отливная волна после точки прилива, неудержимо пошли на убыль.

И однако этот исторический парадокс имеет свои причины. Революционизирующее влияние «Народной Воли» за-

ключалось в том, что она пробуждала среди всех более или менее сознательных элементов общества надежды на изменение политического строя, основанного на деспотизме власти и бесправии граждан. Пока она лишь грозила правительству Дамокловым мечом ультиматума «смерть самодержавию или смерть царю», пока обстоятельства делали из нее великую именно только грозящую силу, она собирала словно в фокусе свободолюбивые стремления общества, а в то же время прямо не ударяла в забрало монархическим предрассудкам русских, в общем очень умеренных и очень непоследовательных, либералов. Но когда угроза стала действительностью, когда меч упал на голову тирана, в сердце многих из этих либералов, настроение которых Щедрин заклеймил словами «не то севрюжины, не то конституции хочется», проснулись все иррациональные чувства верноподданных, весь нелепый пиетет к Романовым, весь сумбурный мир представлений, который в первобытном обществе сливает воедино элементы колдовства, жречества и монархической власти, и который позже так мастерски анализирует Джэмс Фрэзер.

Надо было читать все эти из'явления преданности, которые полетели к подножию престола, занятого теперь глыбообразным Александром III, от городских и земских учреждений, адвокатских, профессорских и других корпораций! Как мало было во всем этом верноподданническом хаосе соболезнований, поздравлений, благословений, проклятий, лести за страх и лести за совесть, — как бесконечно мало было в нем выражений гражданских чувств, политических мыслей, дум о России, а не только о царе! Немудрено, что, поколебавшись около двух месяцев между желанием увенчать здание во вкусе пресловутой «конституции Лорис-Меликова», в которой не было ничего конституционного, и катковско-победоносцевским советом пустить на слом все «гибельные» реформы 60-х годов, новый царь заявил о своем твердом намерении защищать всяческими способами «самодержавную власть», а период диктатуры сердца сменился периодом мар-

гаринового славянофильства и шулерского народничества графа Игнатьева, «высаживания днища у интеллигенции» (согласно бессмертному выражению Глеба Успенского) и еврейских погромов.

Но это самое время начинавшейся реакции, когда лишь меньшинство между либералами осталось верным идеям свободы и прогресса, охарактеризовалось решительным движением в сторону Народной Воли в рядах социалистов других направлений. С каждым днем «Черный Передел» отказывался все более и более от своих предубеждений против конституции и даже признал террор, рекомендуя его перенесение на фабрику и в деревню. Словом, по мере того, как слабели симпатии либералов к партии решительной политической борьбы, революционная интеллигенция проникалась наоборот все большим сочувствием к террористам и устремлялась к ним с разных концов социалистического горизонта, пополняя убыль в лагере народовольцев. С кем мне ни приходилось встречаться в это время среди людей, стоявших на почве социализма, они переживали душевную ломку, приближавшую их к Народной Воле. Переживал и я ее, — с некоторыми личными осложнениями, которые об'яснялись моим мировоззрением, казавшимся мне еще недавно воплощением всей истины.

Рассуждая по чистой логике, я должен был бы сказать себе, что первое марта и последовавшие за ним события лишь подтвердили положения, высказанные мною в статье «Экономика и политика». Да, политическая оболочка была сорвана, сорвана силою, а не лопнула под напором растущего экономического ядра. И первое марта оказалось в двояком смысле кесарским сечением, произведенным чуть не на первом месяце беременности: кесарь пал, но режим кесарства, после нескольких колебаний, остался стоять, воплощаясь в монументальной фигуре императора-истукана. С другой стороны совершенный террористами акт не был даже и началом чисто политической революции. В стране не только не замечалось сильного движения к новым фор-

мам, но и то движение, которое существовало до убийства царя, спадало повсюду.

Когда я, страшно усталый физически и умственно после нескольких месяцев напряженной литературной работы и в результате начавшегося душевного кризиса, приехал весною 1881 г. на поправку в одну из деревень Калужской губернии, к своим новым родственникам, в семью моей жены, я присутствовал при любопытном зрелище, как провинция проделывала ту же самую эволюцию, т. е. пробегала те же этапы реакции, только несколько запаздывая, что и Петербург. В начале мая, когда местные либералы еще не вполне вчитались в пресловутый манифест 29 апреля, о «силе и истине» самодержавия, между ними находились люди, и даже занимавшие официальное положение, которые хотели — на словах, по крайней мере, — «кровью запечатлеть» свою верность освободительным идеалам. В конце лета те же самые люди превратились в беснующихся реакционеров и были недовольны «излишним мягкосердечием» правительства, которое не отдало приказа «жилы вымотать из убийц перед казнью».

Но вся эта картина торжествующей после первого марта реакции, вместо того, чтобы укреплять мою веру в правильность моего «марксистского» прогноза, подготовляла во мне, как и в других социалистах, почву для перехода в ряды народовольцев. Моя ответная статья Тихомирову, «Экономический принцип в социологии», которую я писал в деревне и которая появилась в октябрьской и декабрьской книжках «Дела» в конце 1881 г., отражала на себе мое тогдашнее переломное настроение. Ей недоставало той глубокой веры в преобладающее значение экономики над политикой, которою были проникнуты мои предшествующие этюды. Я не столько нападал, сколько оборонялся, и не столько защищал целиком теорию экономизма, сколько об'яснял ее приемлемость для представителей другого направления. Курьезно, что конец этой статьи, где я тоже признавал значение организации, но среди рабочих масс, об'единяемых процессом

производства, на фабриках и заводах, всполошил ветхозаветного старичка цензора, — я забыл его фамилию, — который согласился пропустить и всю статью лишь с изменениями и сокращениями. «Понятно громадное значение экономики, как почвы политической организации», — писал я. «Но мы уже потому самому нисколько не отрицаем значения политики, что она является необходимой для решения социального вопроса в том направлении, какое определяется экономикой. Не можем отрицать еще и потому, что иначе, как в форме организации и борьбы живых личностей, нельзя представить перехода экономических отношений». Ибо, «не сам гигантский молот на стале-литейном заводе дробит при известных условиях капиталистический строй, но это делают... рабочие, сгруппированные вокруг этого молота, приобретшие близ него классовое сознание».

— Ах, г. Русанов, не такое время теперь, чтобы говорить об организации... Опасная это вещь для государства, когда в нем люди начинают организоваться для какой-нибудь цели... А тут еще рабочие... Недаром государь Николай Павлович любил говорить: «а больше всего надлежит наблюдать за тем, чтобы никакого соглашения и сговора между подданными не было»!.. А вы об организации рассуждаете!..

Перелом мой на расстоянии сорока лет я приблизительно могу истолковать таким образом. Умеренный либерализм стал открещиваться после первого марта от всякой оппозиции, потому что убийство царя революционерами воспринималось им, как чудовищный акт, нарушавший законы божеские и человеческие, попросту говоря его традиционное, полубессознательное преклонение перед помазанником божиим. Между тем, возражая до сих пор против террора народовольцев, направленного на царя, я делал это лишь с политической точки зрения, с точки зрения его целесообразности. Цареубийство отнюдь не вызывало во мне нравственного возмущения: пусть читатель припомнит ту по-

зицию, на которой я стоял, когда Мурашкинцев сообщил мне план взрыва дворца, подготовлявшегося Халтуриным, и просил моего совета.

Теперь, когда я видел с одной стороны общество, метнувшееся под влиянием взрыва на Екатерининском канале далеко прочь от всякого гражданского идеала свободы и чуть не целиком заскочившее в реакционный лагерь, а с другой — героев убеждения, отдававших, не колеблясь, свои молодые жизни в жертву того, что они считали великой исторической задачей, во мне совершенно ясно возникли два противоположные чувства: чувство величайшего презрения к нашим либералам; чувство глубочайшей симпатии к деятелям «Народной Воли». О, как живо я помню до сих пор тот чудный весенний день, день, какой редко дарит нам скудная природа Севера, когда я шел, как в тяжелом кошмаре, по улицам Петербурга и думал, что в этот самый миг на Семеновском плацу руки палача набрасывают веревку на шею величайших сынов России! У меня не было духу пойти к этой Голгофе, куда шли смотреть казнь десятки тысяч любопытных, равнодушных людей. Но мое потрясенное воображение рисовало мне величавые образы героев, затмевавших своей душевной красотой всех Гармодиев и Аристогитонов древности, а рядом с ними ненавистную фигуру полу-Манилова полу-Тартюфа на троне, который из-за властолюбия, из-за чисто романовского страха перед правом и свободой, коверкал свои же реформы 60-х годов, разбивал цепи рабства на русском народе с тем только, чтобы отдать его в кабалу барину и кулаку, гноил в Сибири Чернышевского, гноил в тюрьмах и на каторге сотни людей, виновных лишь в распространении идей, предавал даже своих приближенных, обнимая Николая Милютина и кляпясь ему в своей неизменной дружбе в тот самый момент, как по настоянию реакционной клики уже решил распроститься со своим верным сотрудником...

Эти мысли, эти чувствования я унес с собой в деревню. Они продолжали в тиши полей сопровождать меня всюду,

развиваться, зреть и совершать ту внутреннюю работу разрушения еще столь недавно цельного мировоззрения, которая запрещала мне защищать теперь марксизм так убежденно, как я бы хотел этого. В Петербург я вернулся поздней осенью, поправившийся физически, но раздираемый противоречиями, или лучше сказать, одним основным противоречием: головой я еще оставался марксистом; сердце влекло меня неудержимо к «Народной Воле»...

Втечение некоторого времени у меня было единственным утешением разрабатывать чисто теоретически (для себя, а не для печати) экономическую сторону учения Маркса. И я был настолько счастлив, что встретил кружок молодых, способных людей чернопередельческого направления, которые как раз занимались тем же и обменом мыслей между собой и со мной значительно помогали взаимному выяснению некоторых «нерешенных вопросов», затронутых в первом томе «Капитала». Из этого кружка вышло между прочим то решение задачи о прибавочной стоимости и прибыли, которое я считаю до сих пор более удачным, чем об'яснение самого Маркса в последующих томах, изданных Энгельсом*).

Из членов этого кружка мне особенно припоминается подружившийся со мною кончавший в то время курс студент-юрист, Михаил Исакович, Шефтель, впоследствии крупный присяжный поверенный, и экономист Загорский, не знаю при каких обстоятельствах совсем сошедший со сцены. Шефтель был убежденным сторонником «Черного Передела» и неоднократно просил меня принять участие в газете этой партии. Не сочувствуя ее направлению, я каждый раз отказывался, но счел возможным дать краткое популярное изложение понятия о прибывочной стоимости в «Зерне», рабочем листке, издававшемся тогда чернопередельцами в Питере. По поводу этой-то статейки Г. В. Плеханов, познакомившийся со

*) См. Приложение.

мною год спустя, в Кларане, скажет, не подозревая, что говорит с ее автором: «заинтересовала меня лишь одна вещь в непрозябшем «Зерне», это — популяризация Маркса. Но как же писавший эту вещь не сообразил, что на нескольких столбцах нельзя было об'яснить сразу и марксовскую теорию стоимости, и марксовскую теорию денег? Неразрешимая задача!.. А жаль, статейка без этой ошибки удалась бы»...

Шефтель был один из немногих революционеров, который продолжал в это время защищать идеи Черного Передела. Он много расчитывал в деле развития программы этой партии на участие П. Б. Аксельрода, который, по его словам, уехал, к сожалению, как раз теперь за границу, и с которым он мне усиленно рекомендовал познакомиться, если я когда-нибудь встречусь с ним. Я же знал в то время Аксельрода лишь как автора мыслебудящих статей в «Общине» об «Итогах германской социал-демократии», и слышал о нем, как о человеке, пользовавшемся немалым авторитетом среди народников, не перешедших в лагерь террористов.

А таких людей, повторяю, становилось с каждым днем меньше. Между тем, как я переживал мучительный душевный кризис, активно настроенная интеллигенция становилась в значительной степени под знамя «Народной Воли». На моих глазах происходила любопытная расслойка. Умеренный либерализм совершенно по обывательски шарахнулся после первого марта в сторону от боевой политической партии. За то социалисты разных направлений и искренно демократические элементы среди либералов считали нужным во что бы то ни стало поддерживать Народную Волю. Они составляли меньшинство в обществе, но меньшинство, которое могло импонировать своею убежденностью и энергией. Легальная печать левого направления — насколько только могла среди усиливавшегося давления цензуры и администрации — старалась пропагандировать идеи коренного политического преобразования. Левые земцы,

левые адвокаты, левые профессора стремились об'единиться между собой и с радикальною печатью для образования решительно оппозиционного лагеря. Однако, инициатива принадлежала тут, несомненно, литературе.

В Петербурге среди радикальных писателей, как Михайловский, Кривенко, Шелгунов, возникла мысль организовать периодические непретенциозные собрания представителей демократической печати и сочувствующих ей общественных кругов. Так возникли знаменитые в свое время литературные среды, которые я отметил в своих воспоминаниях о Шелгунове и которые продолжались всю зиму 1881—1882 г. и перешли на весну (когда я уже уехал за границу). Эти собрания оказались далеко не бесполезными для установления некой равнодействующей тех практических требований, которые левое крыло общественного мнения думало пред'являть становившемуся все более реакционным правительству. И будь в тогдашней России интеллигенция вообще многочисленнее, а массы, даже в городах, не столь отсталы и инертны, кое-что положительное можно было бы отвоевать даже и у после-мартовского самодержавия, которое все больше оправлялось от удара, нанесенного Народной Волей, но далеко еще не чувствовало себя господином положения... С другой стороны, литературные среды были настоятельно необходимы для более специальной задачи обмена мнений между писателями, которые держались приблизительно одного и того же, радикального, направления, но между которыми могли происходить нежелательные, сбивающие читателей с толку недоразумения в виду тогдашнего сложного и смутного положения вещей.

Один-два примера. Я уже говорил, что Шелгунов был человеком светлого ума и золотого сердца, но поддававшимся порою влиянию лиц, которые были во всех отношениях ниже него. Когда я приехал из деревни, я нашел Николая Васильевича охладевшим ко мне. Он даже сделал мне как-то в разговоре недвусмысленный упрек в том, что я придал «Делу» чересчур марксистский характер. Он

с неудовольствием поместил теперь в «Деле» мое возражение Тихомирову, хотя, как уже знает читатель, оно было очень сдержанно и отнюдь не заключало в себе резкой полемики. Я не хотел напоминать милейшему Николаю Васильевичу, что сам же он принимал немалое участие в придании «Делу» осуждаемого им теперь отпечатка. Фраза «будем проводить Маркса» была сказана им мне в виде прямого поощрения. Но я знал, что в мое отсутствие Шелгунова старательно обрабатывали против меня, и что в данный момент говорит не столько его ум, сколько его доброе, чрезмерно доброе и порою чересчур мягкое и уступчивое сердце...

Каково же было мое удивление, и не только мое, а и удивление многих радикальных литераторов, в том числе Михайловского, у которого это чувство переходило даже в прямое негодование, когда Шелгунов в то же время напечатал в «Деле» (декабрь 1881) курьезную статейку Z., — третьестепенного писателя Ленского-Онгирского, — носившую заглавие «Интеллигенция, народ и буржуазия» и доказывавшую, что как мужику в сущности не надобны железные дороги, потому что он по бедности не ездит в них, а идет рядом с рельсами пешком, так мужику не надобна и конституционная свобода, потому что ею воспользуется буржуазия и приберет к рукам мужика. «Парламентаризм... необходимо затруднит осуществление всяких серьезных реформ на пользу народа... И, как буржуа, один, и за себя, и за народ, катался по железным дорогам, так точно он один же «обсудит и управит». Это уже выходило хуже всякого моего марксизма, ибо конституции и парламентаризма я нигде в своих статьях не отрицал, и это было как раз на руку шарлатанской «народной политике» графа Игнатьева, истолкователем которой являлся всегда державший нос по ветру Алексей Суворин и теперь в своем «Новом Времени» ужасно предостерегавший друзей русского народа не стремиться к «золотой кровати конституции», ибо на ней эгоистично разляжется сейчас же

привилегированный интеллигент и поработит все трудовое население.

На ближайшей же литературной среде Михайловский жестоко напал на Шелгунова за помещение этой чрезвычайно опасной по тому сумбурному времени статьи и в короткой, но очень саркастической речи показал, что теперь в России среди искренних и мыслящих друзей народа нет никого, кто стоял бы на такой точке зрения. Из тридцати человек, присутствовавших на обеде, ни один, действительно, не поднялся на защиту этой злополучной тезы, и Шелгунов в оправдание ссылался только на свою обремененность редакторской работой, что и вызвало, мол, плачевный недосмотр. Как раз после этого вечера мне пришлось сопровождать на извощике разогорченного и по случаю огорчения немножко выпившего и охмелевшего Николая Васильевича, и он со свойственной ему искренностью горько каялся в политической оплошности, а меня просил по прежнему работать исключительно для «Дела» (Шелгунову было известно, что во время размолвки с ним я стал отдавать рецензии в «Отечественные Записки»).

Другое недоразумение вышло у Михайловского со мной. Как-то во время происходившего тоже на одной из литературных сред сбора на Красный Крест Народной Воли Михайловский заговорил о всей нравственности мщения тиранам и счел нужным сделать по этому поводу резкий выпад по адресу русских «марксистов» и в частности меня, сидевшего как раз против него. Люди этого направления пренебрежительно, по его словами, относятся к Дюрингу и предпочитают ему Маркса, хотя именно Дюринг, обосновавший теорию справедливости на чувстве мести, здорового возмездия, гораздо больше подходит к современной русской действительности, чем Маркс, который изучает явления только об'ективно и не обладает достаточно боевым темпераментом, чтобы понимать условия русской политической борьбы.

Переживая в то время тяжелый душевный кризис, о котором я упоминал выше, я чувством был уже всецело

на стороне террористов. Но мне казалось невозможным оставить без возражения ту характеристику отношения Маркса к русским делам, которую только-что сделал Михайловский. Чрезвычайно смущенный необходимостью полемизировать с писателем, который являлся тогда блестящим выразителем лучшей части русской интеллигенции и которого я глубоко уважал, я все же считал своим нравственным долгом сделать кой-какие поправки к сказанному им и напомнить, что, по совершенно точным сведениям, приходящим в Россию от революционной эмиграции, Маркс все время с величайшею симпатиею следит за борьбою народовольцев против самодержавия, да и в экономическом отношении считает возможным для русской боевой партии сделать нашу общину исходным пунктом коммунистического развития, если только русская революция будет поддержана рабочей революцией на Западе (это мнение Маркса и Энгельса, которое они должны были высказать в предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии», было в конце 1881 г. уже известно в России благодаря Николаю — ону, — Николаю Францевичу Даниельсону, — переписывавшемуся с Марксом и передавшему его через Кривенку руководителям Народной Воли).

В результате этого обмена мнений, сильно заинтересовавшего присутствующих, я стал бывать у Михайловского, с которым совершенно искренно поделился мучившими меня сомнениями, и со мною пожелал поближе познакомиться Станюкович, решивший после истории с Ленским купить «Дело» у наследников Благосветлова и дать ему строго политическое направление «без сбоев». Характеристику Константина Михайловича Станюковича, живого, талантливого, но чересчур многопишущего и порою сильно подражавшего Щедрину романиста, я откладываю до второго тома своих воспоминаний, где я расскажу о своих встречах с ним за границей и об общем впечатлении, которое произвел на меня этот интересный, не без из'янов, но и не без некоторых положительных качеств человек.

Вообще литературные среды заставляли встречаться и обмениваться мнениями, а потом зачастую и довольно близко сходиться между собою людей, которых разделяли старые писательские и житейские разногласия и которых теперь заставляла сближаться все сильнее и сильнее ощущавшаяся внутри демократического лагеря потребность об'единения против об'единившейся реакции. Так я помню появление на этих собраниях М. А. Антоновича и Н. Я. Николадзе. Между тем Антонович всего каких-нибудь пять-шесть лет тому назад жестоко аттаковал «Отечественные Записки» на столбцах «Тифлисского Вестника», издававшегося в половине 70-х годов Николадзе... Теперь Николадзе, эффектный сорокалетний мужчина южного типа, становился сотрудником органа Щедрина и Михайловского и, повидимому, уже был на дружеской ноге с Николаем Константиновичем. И даже непримиримый Антонович, не находивший ничего хорошего в русской литературе со времени «Современника» и после коротких попыток проводить свои идеи в тогдашних радикальных журналах (в роде «Слова») удалявшийся снова и снова под кущу геологии и переводчества, считал возможным принимать участие в литературных средах и обсуждать текущие злобы дня с людьми, в которых он видел обыкновенно лишь жалких эпигонов знаменитых шестидесятников, Чернышевского и Добролюбова.

Не надо, впрочем, думать, что эти собрания, начинавшиеся обыкновенно с рублевого обеда в «Метрополе» или в «Медведе» (были, читатель, и такие дешевые времена, казавшиеся современникам дорогими!), носили строго выдержанный политический характер. На них люди сходились не только для того, чтобы обсуждать серьезные вопросы, но и просто для того, чтобы выпить в хорошей компании, поболтать и потанцовать. Последнее упражнение особенно пошло в ход с тех пор, как строгий первоначальный устав, предусматривавший допущение лишь женщин-писательниц, за малочисленностью этой категории был смягчен, и каждый член получал право вводить дам, — только не свою

жену, — после забавного диалога между двумя писателями, из коих один ужасно боялся своей жены, а другой не только не боялся своей жены, но в ее же присутствии отчаянно флиртовал с посторонними женами:

— Ох, не вводите жен! Где же мы тогда, наконец, будем свободны от них?!..

— Вы забываете, что ваша собственная супруга является чужою женою для других, и что эти другие могут как раз находить удовольствие в приятной беседе с нею!..

Но редкие комические воспоминания из последних месяцев моего пребывания в России тонут для меня лично в массе тяжелых переживаний. На меня нашло настроение подобное тому, какое я испытывал пять лет тому назад в провинции, когда, не находя в окружающих ответа на мучившие меня сомнения, я стремился в Петербург, где разрешатся все проклятые вопросы. Теперь я сидел в этом самом Петербурге, сидел с утра до ночи уже не за экономикой, а за философией и общественными науками, стараясь пополнить свои пробелы по этой части, составить себе новое, менее узкое мировоззрение и заменить им спльно пошатнувшееся старое. Но ни чтение Дюринга (как философа), Ланге, Конта, Спенсера, Тейлора, Леббока, Мэна, ни разговоры с Михайловским и Антоновичем на философские и социологические темы не давали мне никакой прочной точки опоры. Предвиделся, предчувствовался длительный кризис, и я стал неудержимо рваться за границу: там, казалось мне, не одна наука, а сама жизнь, не только книги, но люди, даже стены исторических зданий, даже камни мостовой, столько раз поливавшиеся кровью борцов за лучшее будущее, подскажут мне настоящий ответ. И я принялся расспрашивать людей, бывших за границей, о практической стороне тамошней жизни, о том, как устроиться, а вместе с тем искал средств, необходимых для поездки (тем более, что я ехал не один, а с женой).

Пособие от Литературного Фонда, устроенное Михайловским при поручительстве Шелгунова и Станюковича, и

обещанная мне в разных радикальных изданиях, преимущественно же в «Деле», работа, разрешали, повидимому, удовлетворительно материальную сторону поездки. Но до от'езда мне пришлось принять участие еще в одном литературном предприятии, организация которого сопровождалась для меня трагикомическим интермеццо и чуть было не кончилась вместо всякой поучительной экскурсии за рубеж — полицейским прикреплением к Питеру . . .

Наш артельный журнал, «Русское Богатство», постепенно обескровленный усиливающимся участием его лучших сотрудников в других больших изданиях и превратившийся в складочное место для длинных и плохих романов и никчемных вещей случайных сотрудников, хирел с каждым номером и в 1881 г. отдал богу душу. И вот у мирского человека Кривенки зародилась мысль завести новый артельный журнал, но «на совершенно новых основаниях». Предполагалось расширение числа участников, а вместе с тем и бо́льшая спетость их. Главными сотрудниками предполагались те же лица, но с условием участвовать действительно, не только именами, но и статьями. Затруднения возникли, как и всегда бывало в таких случаях, при отыскании издателя и редактора. Приглашенный на амплуа редактора Василий Иванович Семевский сначала было согласился, но вскоре принужден был отказаться. Он только что защитил свою магистерскую диссертацию «Крестьяне при Екатерине II» в Московском университете, (куда его загнал из Питера мнимо «об'ективный», окончательно ставший реакционером К. Н. Бестужев-Рюмин) и теперь усиленно готовился к чтению лекций по русской истории в качестве приват-доцента петербургского университета. Возня же с журналом, которому было дано имя «Устои» (в честь романа Златовратского?) и к которому с самого начала цензурное ведомство и вообще администрация отнеслась подозрительно, отнимала так много времени, что молодой ученый не нашел возможным редакторствовать в органе. Кстати сказать, мое знакомство с Семевским ока-

залось столь прочным, что Василий Иванович посылал мне всегда свои книги, и когда я был за границей, а по возвращении моем в Россию в 1905 г. это знакомство превратилось во взаимную крепкую дружбу, которая кончилась только внезапною смертью Василия Ивановича.

После разных поисков мы нашли редактора в лице С. А. Венгерова, который тогда еще не совсем напоминал физически ассирийского царя, точно сорвавшегося с нимрудского или хорсабадского рельефа, какого-нибудь Салманассара или Саргона, каким петербургские литераторы знали его последние годы, но который в то время, хотя и еврей, был наиболее влюбленным в русский народ, наиболее «устоистым» из всей нашей редакции «Устоев». Однако и Семен Афанасьевич, задавленный всевозможными работами, мог быть лишь отчасти редактором, главный же труд редактирования выпал на Кривенку и на меня. И вот между кривенковской и моей квартирой, расположенными одна против другой на «Подневском» проспекте, установилось своеобразное, очень деятельное почтовое сообщение при помощи кухарок, горничных, их друзей и подруг, передававших от Сергея Николаевича мне и от меня Сергею Николаевичу статьи, корректуры, различные записки, касавшиеся журнала.

По несчастию, как оказалось вскоре, за Кривенкой и за мной следили: тогдашнему главе политической полиции, пресловутому Судейкину, почему-то запало в сыщицкую душу подозрение, что мы оба сотрудничаем в Народной Воле (что было верно по отношению к Кривенке, но не ко мне). И вот высшим начальством было предписано строжайшее наблюдение за нами местному участку. А тут как на грех ко мне нанялась в кухарки добродушная, но удивительно глупая двадцатилетняя крестьянская девушка, развратить которую и превратить в шпионки ничего не стоило хитрому ярославцу, нашему старшему дворнику. Вы можете себе представить, какой полицейский роман из моей жизни стал составляться нашим участком на основании показаний ку-

харки и дворника. Все, что касалось «Устоев», все, что Кривенко посылал мне, а я ему, пересматривалось на скорую руку полицейскими специалистами по части «Бла́нки-буланки», как шутил в свое время Михайловский: «Устои» принимались нашими мудрецами за отвод глаз для печатания «Народной Воли», и участковый пристав был уверен, что вот-вот накроет типографию народовольцев. Но одной из самых удачных глав полицейской беллетристики было повествование со слов кухарки о том, как 1-го марта 1882 г. Русановы пригласили на блины всех своих знакомых «для поминок убитого государя», что означало, мол, предстоявшее покушение на нового. Щедрин в одном из своих рассказов того времени увековечил эту подробность, сообщенную ему Михайловским, изобразив, как начальство предписало, чтобы всякий обыватель, прежде чем приступить к печению пирогов, должен предварительно запастись разрешением на оное действие и запросить администрацию, входит ли сие при данных обстоятельствах в виды начальства.

Но надо всем этим мы смеялись позже, когда узнали о существовании кухонно-полицейского романа. Теперь нам было не до смеху, так как и я, и все мои знакомые недоумевали, почему мое прошение о выдаче заграничного паспорта целый месяц лежит без движения в градоначальстве, где меня кормят завтраками каждый день и ссылаются на необходимость все новых и новых справок о неимении препятствий к выезду моему за границу... Кривенко и я даже почистили у себя все на квартире в ожидании становившегося все более вероятным обыска. По счастию моей юной, но сообразительной жене удалось, напав случайно на нить этого полицейского кружева, распустить и всю плетшуюся сеть в глазах озадаченного высшего начальства, и притом распустить с такой легкостью, что даже «сам» устыдившийся глупой работы своих подчиненных Судейкин отдал приказ о немедленной выдаче нам паспорта, об'явил свое неудовольствие участковому приставу, и в тот же вечер наша кухарка валялась в ногах у «барыни» и,

заливаясь горькими слезами, умоляла простить ей соглядатайство:

— Ох, сударыня, смертушка моя приходит!... Вы всегда были такие хорошие со мной, а я, окаянная, что с вами сделала?... Все они, проклятые, полиция да дворники, меня в это дело втянули. Говорили, что как, мол, служишь ты у важных государственных преступников, то должна царя-батюшку спасти и большое награждение за то можешь получить... И грозили всем, а теперь сами же на меня поклеп взводят, что я добровольно за шпионство взялась...

Через два дня мы выезжали за границу. Я помню, как два чувства боролись в это время в моей душе. Разочарование в своей литературной деятельности, доходившее до того, что мне не хотелось больше совсем подписываться под своими статьями, и последнюю, написанную мной в России статью, — об английской свободной торговле, по поводу вышедшей тогда книги Янжула на эту тему, — Шелгунов едва упросил меня поместить в «Деле» под инициалами Н. Р. Трепетное ожидание, что, наконец-то, на Западе, я найду для себя и для других правду, ради которой только и стоит жить.

Как я искал этой правды, и что нашел на Западе, о том я расскажу после...

Берлин, октябрь 1922 — март 1923 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Я даю здесь для любителей абстрактной политической экономии это наше русское решение, не появившееся, если не ошибаюсь, до сих пор в печати. Им очень заинтересовался Лавров, предлагавший мне отправить его с рекомендательным письмом к Энгельсу. Не помню, какие обстоятельства помешали мне заняться этим делом тогда же. Затем я забыл о нем. И только вот теперь, когда я писал эти строки, мне вдруг пришла на память наша русская попытка решить вопрос, на почве которого состязались на Западе Лориа, Лексис, Конрад Шмидт и др.

Итак, имеются два капитала А и Б одинаковой величины, равной 100 единицам стоимости, но расчлененные неодинаково на постоянный и переменный капитал. Капитал А состоит из 50 единиц постоянного капитала (машины, сырой материал и т. п.) и из 50 же единиц переменного капитала (заработная плата). Капитал Б состоит из 75 единиц постоянного капитала и из 25 единиц переменного капитала. Допустим, что норма эксплуатации труда в обоих случаях одинакова и равняется 100%, т е. что рабочий, возмещая свою заработную плату, производит сверх того прибавочную стоимость, равную сумме его заработка. Тогда первый капитал в конце производства будет состоять из 50 единиц постоянной своей части (стоимость этой части по Марксу просто переходит на продукт) и $50 + 50 = 100$ единиц переменной части (рабочий, потребив 50 единиц стоимости в виде заработной платы, производит, согласно условию задачи, 100 единиц стоимости и, стало быть, отдает капиталисту тоже 50 единиц прибавочной стоимости). В результате операции владелец капитала А вместо 100 единиц стоимости, вложенных им в производство, получит $50 + 100 = 150$ единиц, т е. 50% прибавочной стоимости на весь капитал. Второй капитал будет состоять в конце операции из 75 единиц постоянной части и $25 + 25 = 50$ единиц переменной части. В результате операции владелец капитала Б получит таким образом вместо первоначальных 100 единиц стоимости $75 + 50 = 125$ единиц, т. е. 25% прибавочной стоимости на весь капитал, или вдвое меньше владельца капитала А.

Но это противоречит закону равенства прибылей, получаемых на одну и ту же величину капитала в различных предприятиях. Маркс, в изданных Энгельсом частях своего труда, разрешает это противоречие тем, что различает между прибавочною стоимостью и прибылью и показывает, что при распределении прибылей вся

прибавочная стоимость делится между отдельными капиталистами' как если бы они составляли одно целое, скажем, одно акционерное общество, без обиды для каждого, по стольку-то процентов на капитал, независимо от его расчленения на постоянную часть и часть переменную.

Наш русский ответ, нисколько не отрицая разницы между прибавочной стоимостью и выкраиваемою из нее прибылью, решает вопрос еще в сфере прибавочной стоимости. Спросим себя, действительно, отчего получается указанное выше противоречие? Оттого, что мы сделали несоответствующее самой теории Маркса предположение. Мы предположили, что норма эксплуатации труда одинакова в различных отраслях производства, несмотря на различие в них состава капитала. Между тем из Маркса же мы знаем, что там, где постоянная часть капитала сравнительно больше, где капиталист затрачивает пропорционально бо́льшую часть своего капитала на технику, машины, вообще у́лучшение способа производства, там производительность труда выше, там рабочий отраба́тывает сравнительно скорее стоимость своей заработной платы и, значит, отдает сравнительно большую прибавочную стоимость капиталисту, иначе говоря, там норма эксплуатации его труда капиталистом пропорционально выше.

Посмотрим же, какой вид по́лучает наша задача при этой существенной оговорке. Пусть условия прибавочной стоимости для капитала А, который был распределен поровну между постоянной и переменной частями, остаются неизменными: норма эксплуатации труда равна 100 и прибавочная стоимость — 50% на весь капитал. Но для капитала Б, где постоянная часть превышает в три раза своею стоимостью часть переменную, где уменьшенное число рабочих работает при усовершенствованных машинах, норма эксплуатации должна быть значительно выше. Положим, что она равняется 200, т. е. что прибавочная стоимость будет вдвое выше заработной платы. Тогда 75 единиц стоимости постоянной части перейдут просто на продукт. Но 25 единиц стоимости заработной платы дадут $25 + (25 + 25) = 75$ единиц. И весь капитал Б в конце операции будет равняться $75 + 75 = 150$, что составит, как и для капитала А, 50% прибавочной стоимости на весь капитал.

СОДЕРЖАНИЕ

К читателям 7

I. Первые впечатления. — Мой отец 9

II. Продолжение первых впечатлений. — Мои родные: старое и молодое поколение их 20

III. Купеческая среда. — Дворня и двор 47

IV. Гимназия. — Столкновение двух мировоззрений . . . 63

V. Местные кружки и местные революционеры. — Зайчневский, Арцыбушев, Ашанина 104

VI. Петербург. — Новая обстановка и новые знакомые. — Медико-хирургическая академия. — Интеллигенция и рабочие. — Осинский, Мурашкинцев, Халтурин, А. Богданович. — Я становлюсь „нелегальным“ 133

VII. „Нелегальная“ жизнь. — Выстрел Засулич. — Борьба лавристов и народников. — Каблиц и Плеханов. — Второй раз аттестат зрелости. — Конец „нелегальной“ жизни 163

VIII. Я — литератор. — Приключение в „Русской Правде“. — С. Н. Кривенко, Гирс, Нотович. — Мои фельетоны в „Новостях“. — Я перехожу в „Дело“ 208

IX. Переход к террору и народовольчеству. — Либералы, радикалы, революционеры. — „Северный союз русских рабочих“. — Покушение Соловьева. — Некультурные и культурные обыватели. — „Отечественные Записки“ и Михайловский. — „Дело“ и его редакция 231

X. Политический террор „Народной Воли“. — Взрыв царского поезда в Москве и взрыв Зимнего Дворца. — Мое участие в „Русском Богатстве“ и „Деле“. — Успенский, Златовратский, Эртель, Анненский, Иванчин-Писарев. — Моя полемика с В. В. и с Тихомировым . . . 278

XI. Первое марта и мой душевный кризис. — Начало реакции, отношение общества и социалистов к „Народной Воле“. — „Зерно“. — Литературные среды. — „Устои“. — Я уезжаю за-границу 335

Приложение 354

158